

М
О
С
К
В
А

Москва

1

1965

1965

1

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ
ДЕВЯТЫЙ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН (*главный редактор*). В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ, Ю. В. МАЛАШЕВ (*заместитель главного редактора*), Л. В. НИКУЛИН, В. И. ПАХОМОВ, С. А. САВЕЛЬЕВ (*ответственный секретарь*), Ю. С. СЕМЕНОВ, С. В. СМИРНОВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ (*заместитель главного редактора*), В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ.

Художественный редактор
Н. И. БОБКОВА

Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01.
Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше
печатного листа не возвращаются

Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи. Редакция вопросами подписки не занимается



Один из лучших строителей Москвы
Федор Федорович Дмитриев

1965 1

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗГОВОР ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

МОСКВА: ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА 3

ПРОЗА

Евг. Пермяк. ГОРБАТЫЙ МЕДВЕДЬ. Роман 14
Лев Шейнин. ПОМИЛОВАНИЕ. Повесть 110

СТИХИ

Николай Сидоренко. СЛОВО О МОСКВЕ.—ВДВОЕМ С ТОБОЙ... 13
Д. Самойлов НОВЫЕ СТИХИ 108
Андрей Алдан-Семенов. ПУЛЯ В КОЛЬЦЕ.—ТОСКА ПО РОДНИКАМ.—
О ПАВЛЕ ВАСИЛЬБЕВЕ 167
Владимир Соколов. ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 168
ПОЭТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. БРЯНСК. Илья Швец. ДВА МОСТА.—
Валентин Динабургский. РУСЬ.—Николай Иванин. У КОЛОНКИ ДЕ-
ВОЧКА С ВЕДРОМ...—Марина Юницкая. Я ЗАПИСЫВАЮ ВАШИ ГОЛОСА 183
Николай Анциферов. ГОСТЬЯ.—НЕБО.—ПРАВОСУДИЕ 185

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Алексей Абрамов. НА ВЕЧНОМ ПОСТУ 169

ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

С. Кувшинов. У СТЕН СТОЛИЦЫ 176

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ал. Михайлов. ВЕЛИКОМУ ВРЕМЕНИ —ВЕЛИКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 186
В. Панков. ПОЭМЫ НАШИХ ЛЕТ 195
ГОД РОЖДЕНИЯ 1964. Л. Аннинский. РИТМ И ПУЛЬС.—Д. Тевекелян.
ЕСЛИ ТЫ ЧЕЛОВЕК.—Г. Красухин. ОЩУЩЕНИЕ ЗЕМЛИ.—Е. Ветрова.
«...СВОЕ, СВОЕ СКАЗАТЬ...»—Евг. Леваковская. ПЕРВЫЙ ШАГ 206

ИСКУССТВО

Герман Черемушкин. Текст Ник. Нечаева. Стихи Вал. Тура. ДЕНЬ,
ОДИН ИЗ МНОГИХ 215

МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Юрий Федосюк. МОСКВА СТО ЛЕТ НАЗАД 219

ЮМОР-65

Ришард Лисковацкий. ТВОРЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА.—М. Азов, Вл. Тих-
винский. БАСНИ С ПРОПИСНЫМИ МОРАЛЯМИ.—Д. Демин. ЧАЙНИК. ПЕРЕ-
СТРАХОВЩИК.—В. Нырко. ВЕСЬ В ПРОШЛОМ. О ВКУСАХ. ПИСАТЕЛИ-
ПРИЯТЕЛИ.—...И НЕ ОСПОРИВАЙ ГЛУПЦА. (Изречения, пословицы, поговорки).
Собрал А. Фюрстенберг 222

На нашей вклейке:

С ВЫСТАВКИ «МОСКВА — СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ»,
РАБОТЫ Валентина Серова. (К 100-летию со дня рождения)

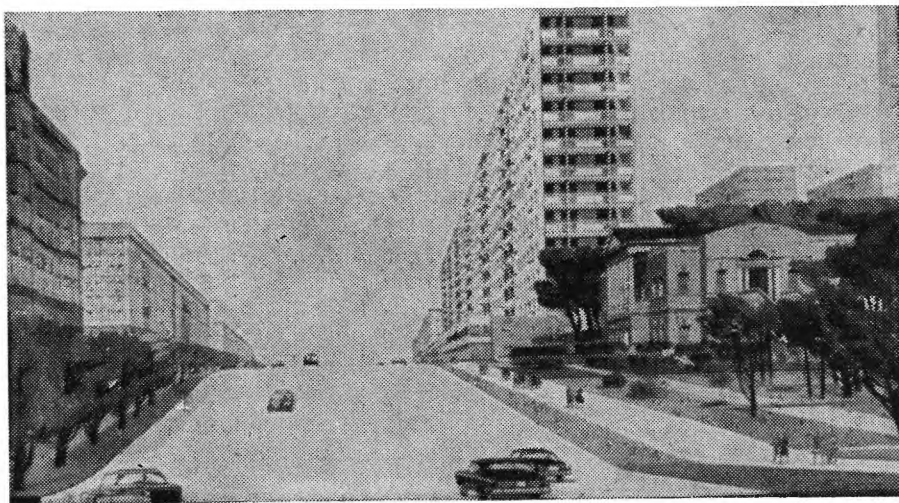
Москва:

ПРОБЛЕМЫ

БОЛЬШОГО ГОРОДА

...И снова работники редакции нашего журнала и его авторы, продолжая традицию «Москвы», собрались за круглым столом, чтобы повести со сведущими людьми разговор о насущных проблемах столицы. Только на этот раз хозяева круглого стола — «москвичи» — оказались в роли гостей. И встреча состоялась не в стенах редакции и не в Доме литераторов, а в здании Московского Совета, в кабинете председателя исполкома Владимира Федоровича Промыслова.

Владимир Федорович только что вместе с архитекторами рассматривал план реконструкции магистрали улица Горького — Ленинградский проспект — Ленинградское шоссе и другие вопросы застройки города. Там, за стеной кабинета, в зале заседаний исполкома Моссовета, совершался поистине творческий акт — там, в обсуждении, в спорах, рождалось будущее столицы. До нас отчетливо доносился гул голосов, горячие восклицания, врывающиеся в напряженную тишину...



Так будет выглядеть улица Чкалова возле Сыромятников, когда закончится монтаж первого 12-этажного жилого дома из вибропрокатных панелей, изготовленных на станах системы Героя Социалистического Труда Н. Козлова. В доме этом будет 321 квартира удобной планировки, многие из них — с лоджиями...

Естественно, что разговор за круглым столом и начался с центральной темы: как строится Москва сегодня, как она будет строиться завтра.

Беседу начал

В. Ф. ПРОМЫСЛОВ. Вы знаете, что партия и правительство придают особое значение улучшению жилищных условий трудящихся. Эти вопросы находятся в центре внимания партийных и советских организаций столицы. За шесть лет семилетки в Москве построено около девятнадцати с половиной миллионов квадратных метров жилой площади — 620 тысяч квартир. Сотни тысяч москвичей отпраздновали новоселье.

Должен вам сказать, что в последние два-три года совершенно неправданно было допущено снижение государственных вложений в жилищное строительство. Сейчас это исправлено. В 1965 году мы будем строить более трех с половиной миллионов квадратных метров жилой площади. В следующее пятилетие намечается еще несколько увеличить темпы жилищного строительства с тем, чтобы в 1970 году завершить переселение москвичей из бараков, ветхих домов, подвалов, переуплотненных домов в благоустроенные квартиры.

Такой размах жилищного строительства стал возможен в результате его индустриализации.

Индустриальные методы строительства позволили на 40 процентов сократить трудоемкость возведения жилых зданий из крупных панелей — затрату рабочей силы на заводское производство деталей и на монтаж их на строительной площадке. На десять — пятнадцать процентов снизилась стоимость жилищного строительства.

Конечно, как во всяком новом деле, в индустриальном строительстве, особенно на стадии его становления, выявились и недостатки, и прежде всего те, которые сказывались на качестве новых жилых домов.

У панельных зданий было уязвимое место: стыки стеновых панелей.

В чем тут дело? А вот в чем. Хорошие дома из железобетона должны стоять лет полтора — двести. Панели вполне послужат такой срок. Но чтобы дом в целом «жил» столько времени, нужно, чтобы все его конструкции были, как говорят инженеры, равнопрочными. Иначе дом будет жить лишь столько, сколько «проработает» его самое слабое звено. А слабое звено — стык. До 1963 года панели соединяли методом сварки стальных пластин. К пластинам мог проникнуть воздух и подвергнуть их коррозии, а в квартиры — влага.

Долго не удавалось решить эту проблему. Но — решили.

Вот уже около полутора лет сварка стыков запрещена. Нынче мы применяем замоноличенные стыки, уплотняя их специальными герметиками. Эти герметики производит новый завод в Бабушкине. На 1965 год все московское массовое строительство будет полностью ими обеспечено. Так мы устранили существенный порок панельных домов.

Борьба за дальнейшее повышение качества строительства по-прежнему является нашей важнейшей задачей. У нас нет никаких объективных причин, мешающих строить хорошо. В этом деле все зависит от качества проектов, строительных деталей и материалов, от умелой и правильной организации работы строителей и оплаты их труда. Успешное решение всех этих вопросов — в наших силах и возможностях, и мы должны их решить в интересах нашего народа, нашего государства.

— Скажите, как будет решаться проблема этажности домов?

— Это очень серьезный вопрос, и решать его надо с учетом различных факторов — и градостроительных, и экономических.

В последние годы нам настойчиво рекомендовалось при застройке города сооружать в основном пятиэтажные дома. Жизнь показала, что эти рекомендации являются неоправданными, не основанными на экономическом расчете. При пятиэтажном строительстве нерационально использовались дорогостоящие городские земли — ведь освоение каж-

дого их гектара обходится в 150—200 тысяч рублей, город неизбежно разрастался, растягивались его коммуникации — транспорт, линии связи, водопровода, канализации. Теперь мы переходим к массовому строительству панельных домов повышенной этажности — в девять, двенадцать, шестнадцать, и каркасно-панельных — более шестнадцати этажей.

Доля пятиэтажных домов в новой застройке будет неуклонно снижаться: с восьмидесяти процентов в 1964 году, сорока пяти — в этом и до двадцати пяти процентов в будущем.

Но мы не собираемся бросаться в другую крайность и строить только «небоскребы». Будем создавать жилые районы, сочетая в различных вариантах пяти-, девяти-, двенадцати-, шестнадцатизэтажные и еще более высокие здания. Такая смешанная застройка — самая разумная и самая гармоничная. Она способна отвечать требованиям, которые предъявляют к современному большому городу все его строгие судьи — от экономики до эстетики.

Мы проверили в экспериментальном порядке полносборные индустриальные здания различных конструкций и, обобщив опыт, самые лучшие из них с точки зрения эксплуатационных качеств, расхода материалов и трудовых затрат будем применять в массовом строительстве.

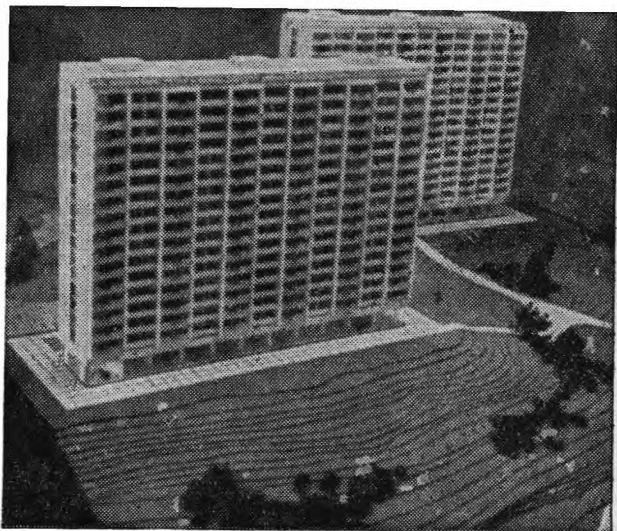
В новых сериях крупнопанельных жилых домов предусмотрен большой «набор» квартир для различных по численности и возрастному составу семей.

Мы думаем и над тем, чтобы устранить монотонность архитектурного «пейзажа». Помимо того, что дома будут отличаться по этажности, их фасады разнообразятся расцветкой облицовки, лоджиями, балконами, оформлением подъездов и т. д.

Хотелось бы рассказать вам и о московском эксперименте по сооружению крупнопанельных домов повышенной этажности. Я имею в виду жилые дома, монтируемые из вибропрокатных панелей, изготовляемых на станах СКБ «Прокатдеталь», возглавляемого Героем Социалистического Труда инженером Н. Я. Козловым. Первый девятиэтажный 180-квартирный дом из таких панелей смонтирован в проезде Ольминского в рекордно короткий срок: строительные работы начались в первых числах ноября 1963 года, а к 1 мая корпус был готов к приему новоселов.

Строительство это заинтересовало не только москвичей, но и наших зарубежных гостей. Все, кто побывал здесь, дали высокую оценку новому зданию — первенцу советского прокатного домостроения.

Сейчас строители возводят в районе Курского вокзала двенадцати-



17-этажные панельно-каркасные дома, спроектированные группой архитекторов и инженеров 10-й мастерской «Моспроекта» под руководством архитектора Я. Белопольского. (Макет).

этажный дом на 321 квартиру из таких же панелей, а на очереди — дом в шестнадцать этажей на проспекте Мира.

— Многие новоселы недовольны планировкой квартир. Предполагается ли совершенствовать ее?

— Конечно! Не только предполагается, но уже немало сделано.

В крупнопанельных домах новых типовых серий, в том числе и в доме по проезду Ольминского, по-новому решена и планировка квартир. В них — изолированные комнаты, несколько увеличена площадь кухонь и передних, раздельный санитарный узел, встроенные шкафы.

— Владимир Федорович, вы только что рассматривали проект дальнейшего обновления улицы Горького и Ленинградского проспекта. Не расскажете ли о нем?

— С удовольствием, хотя тут еще не все окончательно определено. Этот проект решает часть общей задачи — реконструкции центра.

Я уже говорил, что одна из сложнейших проблем большого города — сделать его более компактным, удобным для населения. Но одним лишь повышением этажности зданий проблемы этой не решить. Помешать городу распозаться в стороны — вот что необходимо. А значит — нужно строить и в центре.

До сих пор главное наше внимание было обращено на новые районы. Это естественно: ведь в центре нужно сносить старые дома и, следовательно, переселять множество людей. Сейчас, в связи с переходом на многоэтажное строительство — и с экономической точки зрения, и с точки зрения реконструкции города, — целесообразно на месте ветхих домов построить дома в девять, шестнадцать и более этажей.

Не подумайте, однако, что мы начнем подряд сносить устаревшие городские кварталы. Конечно, нет! Даже первоочередные задачи будем решать постепенно. Ибо желание — это одно, а реальные возможности — другое. Надо считать, считать и считать, чтобы не замахиваться слишком широко, не по силам. Точно определить, что начинать сегодня, что — завтра, а что — послезавтра.

На улице Горького намечается несколько участков застройки. Так, рядом с гостиницей «Националь» будет возведен высотный корпус для этого отеля. На Пушкинской площади, возле «Известий», намечено соорудить многоэтажный Дом печати. Много ветхих домиков в районе улицы Фучика. На их месте вырастет современный красивый жилой микрорайон. Немало предстоит построить и на Ленинградском проспекте — обо всем не расскажешь.

Но вот несколько слов о Калининском проспекте. О нем писали много, и вам, конечно, все, что писали, известно. Я хочу сказать только о том, что совершенствование проекта продолжается.

По левой стороне, если ехать от центра, на всем 900-метровом протяжении проспекта от ресторана «Прага» до Садового кольца, будет возведен четырехэтажный стилобат — два этажа подземных, два — надземных. Надземные — сплошь магазины, кафе и рестораны, под землей — склады. В кафе и ресторанах — около 6 тысяч мест, в магазинах — свыше тысячи продавцов. Здесь будет и самый большой в столице кинотеатр на три тысячи мест. На Арбатской площади, на месте кинотеатра «Художественный» и старой станции метро, вырастет новое здание Дома дружбы с народами зарубежных стран, оборудованное залом на полторы тысячи мест.

Работы на Калининском проспекте развернулись широким фронтом. Недавно был заслушан наш доклад о строительстве этой магистрали и принято к сведению наше обязательство завершить работы в 1966 году. Сооружение нового проспекта, одной из самых красивых и современных

магистралей столицы, станет еще одним свидетельством зрелости советского индустриального строительства, послужит отличной школой для наших строителей.

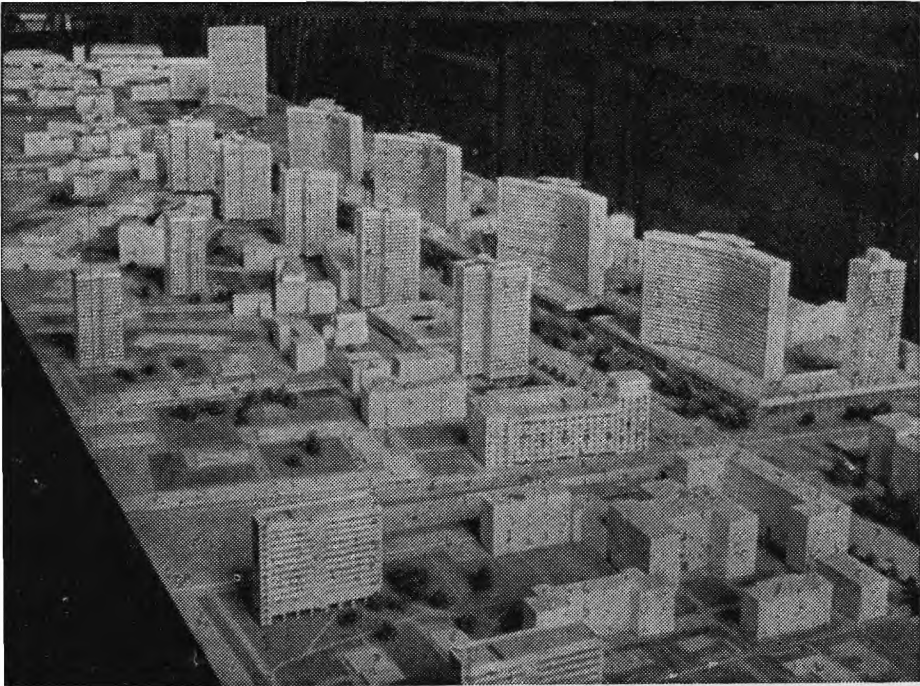
— Владимир Федорович, Вы говорили о необходимости ограничить рост площади Москвы. Это правильно. Но ведь наш город уже и теперь чрезвычайно велик, и одна из самых существенных его проблем — это транспорт. Она затрагивает интересы буквально каждого москвича. Нашим читателям интересно узнать, каковы перспективы развития московского городского транспорта.

— Вы правы. Транспорт столицы перевозит одиннадцать миллионов пассажиров в сутки. Каждый москвич в среднем совершает около двух поездок по городу. Треть пассажиров ездит в метро, остальные две трети — на троллейбусах, в автобусах, трамваях, такси.

Город наш действительно велик, и на дорогу от дома до места работы москвич тратит много времени. Мы хотим сократить это время вдвое.

Каким образом?

Для этого строятся новые линии метрополитена. В 1964 году Горьковский радиус метрополитена продлен от станции «Сокол» до Речного вокзала в Химках. В 1965 году вступят в строй участки Кировского радиуса от Сокольников до Преображенской заставы и Арбатского радиуса — от станции «Пионерская» до Кунцева. В 1966 году поезда метро пойдут по новому Ждановскому радиусу.



Вдоль всего Калининского проспекта, с обеих сторон, тянутся заборы. За ними высятся подъемные краны. Из-за оград доносится шум большой стройки. Все более широким фронтом идут работы на этой новой столичной магистрали. Пройдет два года — и Калининский проспект станет таким, каким вы видите его на этом макете — последнем варианте проекта: изящные высотные здания на сплошном стилобате, рестораны, магазины, кино и — масса зелени... Проект 1-й мастерской «Моспроекта» № 2, руководитель — архитектор А. Мндоянц

Когда закончится строительство Большого железнодорожного кольца вокруг Москвы, в арсенал наших транспортных средств войдет и старая Окружная дорога. По ней пойдут пассажирские электропоезда. Можно полагать, что Окружная дорога разгрузит и кольцевую, и радиальные линии метро.

В связи с ростом транспорта и усилением интенсивности его движения с каждым годом все большее значение приобретает организация движения в городе.

В настоящее время разработана генеральная схема организации движения транспорта в Москве. Она предусматривает меры, которые обезопасят пешеходов на улицах, повысят скорости городского транспорта. Будет разработана и наиболее удобная для населения маршрутная сеть.

Некоторые из этих мер уже проведены в жизнь. Продолжается сооружение подземных переходов и транспортных пересечений в разных уровнях.

Внедряются и новые, более совершенные, технические средства регулирования уличного движения. На ряде магистралей центра введено одностороннее движение транспорта. В условиях все возрастающих транспортных перевозок это стало необходимым. Так мы ликвидируем перегрузки магистралей и площадей, избегаем транспортных пробок, аварий, свойственных большинству крупных городов капиталистического мира — Нью-Йорку, Парижу, Лондону.

— *Расскажите, пожалуйста, о том, что намечается сделать для улучшения культурного и бытового обслуживания москвичей.*

— Скажу о самом основном. Вы знаете, что по мере роста материального и культурного уровня жизни народа растут запросы и потребности людей. Это естественно. А удовлетворяем ли мы их? Еще далеко не достаточно! Но мы стараемся делать все для того, чтобы запросы москвичей с каждым годом удовлетворялись все полнее и полнее.

Не могу не сказать о тех новых сооружениях, которые скоро появятся в Москве.

В настоящее время ведется строительство нового общесоюзного телевизионного центра в Останкине.

На проспекте Вернадского началось строительство цирка на 3 000 мест. Новый московский цирк будет одним из крупнейших в Европе.

Мы уже привыкли, что МХАТовская чайка живет в проезде Художественного театра. Но скоро она переменит свою резиденцию. Для прославленного театра на Тверском бульваре будет возведено новое здание, оснащенное по последнему слову техники, со зрительным залом на 1 800 мест.

На площади Маяковского заканчивается реконструкция старинного здания, которое раньше занимал Театр оперетты, а теперь — Театр сатиры. Оно изменится не только внешне, но и внутренне. Рациональная планировка, современное оборудование сцены, оригинально решенный зрительный зал — все это поставит здание Театра сатиры в ряд лучших в столице.

Если говорить о театрах-новоселах, то надо назвать и еще один — Центральный театр кукол, которым руководит народный артист СССР Сергей Образцов. Для этого театра в 1965 году начнется реконструкция здания на Садово-Каретной улице.

Не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами широко известна наша Третьяковская галерея, собрание бесценных сокровищ русского искусства. Старинный особняк в Лаврушинском переулке уже не в состоянии вместить потоки москвичей и гостей столицы.

На Крымской набережной будет возведено великолепное здание Государственной картинной галереи СССР. Здесь будет полтора десятка экспозиционных залов, лекторий, выставочный зал Союза художников СССР.

Мы строим и будем строить много кинотеатров. У англичан существует мнение, что кинотеатры бесперспективны, потому что кино, мол, не в силах конкурировать с телевидением. Мы считаем, что это вопрос спорный. А если, пацаче чаяния, опасения наших английских коллег оправдаются,— что будет плохого, если эти «лишние» кинотеатры мы превратим затем в хорошие клубы и дворцы культуры?

К услугам москвичей ежегодно открываются сотни новых магазинов, предприятий общественного питания, бытовых предприятий.

Так будет и в 1965 году.

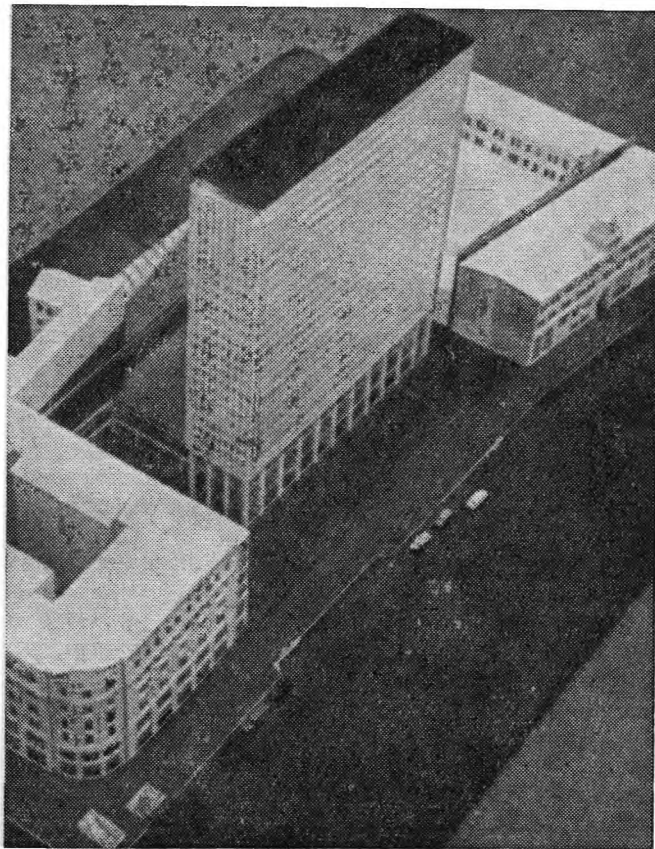
Наряду с обычными магазинами мы сооружаем так называемые торговые центры — своеобразные комплексы, в которых сосредоточены продовольственные и промтоварные магазины, различные ателье, парикмахерские и т. д.

На Октябрьской площади будет построено большое здание для ресторана на 1500 мест и «Гастронома» на 200 рабочих мест. В Москве, особенно в центре города, пока еще недостаточно ресторанов и кафе. Но этот пробел мы устраняем.

Вместительный ресторан появился в недавно открывшейся на улице Горького новой гостинице «Минск». Будет реконструирован и значительно расширен ресторан «София» на площади Маяковского. В нем будет 2200 мест. Откроется новый крупный ресторан на Кузнецком мосту.

В центре города сооружаются 40 вместительных кафе. Кстати, о кафе.

Вот пример. После рабочего дня прохожу по улице Горького, мимо кафе-мороженое «Север». И вижу — вечно там очередь. Главным образом — молодежь. Разве это дело? Рядом — галантерейный магазин.



Улица Горького. Гостиница «Националь». Новый корпус ее спроектирован в 5-й мастерской «Моспроекта», которой руководит архитектор В. Воскресенский

А их достаточно в соседних кварталах. Магазин мы перевели в другое место, и за его счет вдвое увеличили кафе. Решили мы переселить и магазин «Академкнига», чтобы расширить кафе «Ракета».

Молодые москвички часто сетуют на то, что не хватает парикмахерских. В ближайшее время, как мы надеемся, оснований к таким сетованиям не будет. Строящиеся специальные салоны-парикмахерские в каждом районе города вполне удовлетворят запросы женской половины столичного населения.

Есть у нас, товарищи, еще три больших проблемы. Я имею в виду детсады и ясли, школы, больницы.

Кто-то из иностранных гостей — не помню, кто именно, — побывав в СССР, бросил крылатую фразу: «В России создан новый привилегированный класс. Этот класс — дети».

Ну что ж, не будем спорить. Все мы знаем, как заботятся у нас о подрастающем поколении. В Москве две трети малышей воспитывается в дошкольных учреждениях. Но этого мало. Мы хотим, чтобы наши дети были еще более привилегированным классом, и намерены в два-три года обеспечить детскими садами и яслями всех маленьких москвичей.

Для этого нужно ежегодно открывать садов и яслей на тридцать тысяч мест.

Что касается школ, то задача заключается в том, чтобы в Москве перейти на односменные занятия. Покуда три школы из каждых десяти занимают еще в две смены. Необходимо каждую осень открывать двери примерно сорока новых школ. На таком уровне мы и идем. В 1964 году построили сорок три новых школы.

Но тут есть еще одна — внутренняя, что ли, — проблема. Разве можно допустить, чтобы великолепные школьные здания были заняты всего шесть часов в сутки?! Прямой долг учителей, комсомольцев, органов народного образования развивать институт классов продленного дня, шире организовать внешкольную работу, ребячий досуг.

Наконец, больницы. Продолжительность жизни в стране растет, смертность сокращается, заболеваемость уменьшается. Казалось бы, зачем из года в год расширять строительство лечебных учреждений? Именно затем, что советские люди живут дольше, чем раньше. Коль скоро все больше становится у нас граждан старших возрастов, требуется и все более широкий масштаб медицинского обслуживания. И не только лечебного, но и профилактического.

— *Владимир Федорович, есть у нас в Москве «узкое место» — телефон. Каковы перспективы?*

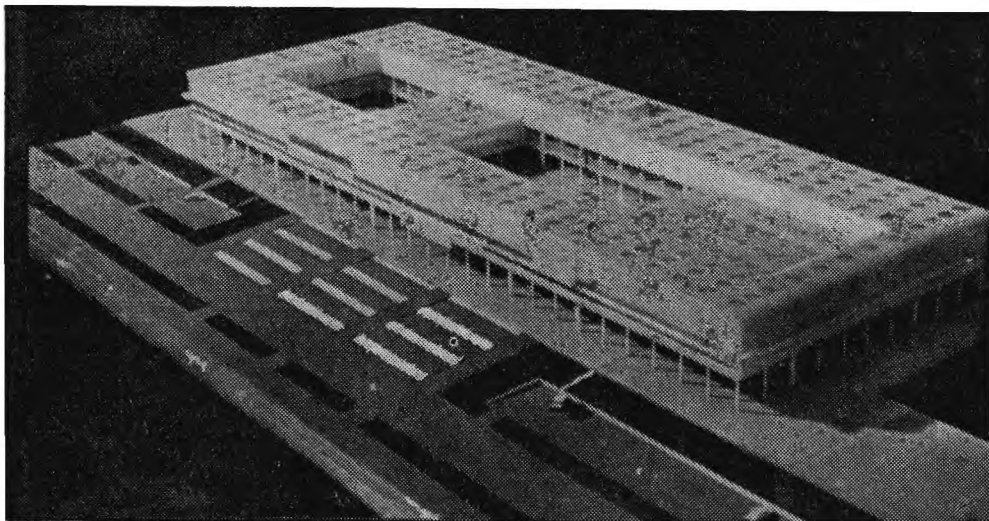
— Мы наметили колоссальную программу. В 1964 году смонтировали станции почти на 70 тысяч номеров. В этом году предполагаем дать еще 113 тысяч телефонов. А за пять следующих лет телефонная сеть вырастет на 700 тысяч номеров.

— *И все же маловато. Нельзя ли больше? Следовало бы считать телефон такой же первоочередной принадлежностью жилья, как водопровод и канализация.*

— В принципе вы правы. Но — в принципе. А нужно считаться с ресурсами, материальными и денежными. Программа, которую мы наметили, повторяю, колоссальна: 900 тысяч номеров за семь лет!

Еще одна чрезвычайно важная проблема — строительство гостиниц.

У нас в стране чудесные природные условия, не счесть и достопримечательностей, памятников культуры. В нашу страну, и прежде всего в ее столицу — Москву, с каждым годом приезжает все больше и больше иностранных туристов, зарубежных гостей. Поэтому строительство гостиниц — проблема не только коммунальная, хозяйственная, но — про-



Национальная художественная галерея СССР. Она поднимется напротив главного входа в Центральный парк культуры и отдыха имени А. М. Горького среди сплошной зелени. Спроектировал это легкое и удобное здание, в котором предусмотрены наилучшие условия для экспозиции, коллектив мастерской центра имени академика Жолтовского, руководимой архитектором Ю. Шевердяевым

блема культурного обмена, расширения и укрепления дружеских связей с народами зарубежных стран, а также развития внутреннего туризма.

Прежде всего в этой связи надо сказать о гостинице «Россия» в Зарядье. Это поистине грандиозное сооружение. В двенадцатиэтажной гостинице будет 3 182 номера на 6 тысяч мест, рестораны и кафе на 4 250 мест, двухзальный широкоэкранный кинотеатр на 1 500 мест, универсальный киноконцертный зал на 3 тысячи мест. Высотная часть гостиницы будет соперничать по высоте с колокольней Ивана Великого. Всячески будем форсировать строительство этого отеля-гиганта. Срок завершения его — 1966 год.

Мы приступаем к возведению в столице еще нескольких крупных гостиниц. В наших планах — новый высотный корпус гостиницы «Националь».

Скоро строители придут на площадку второй очереди гостиницы «Москва». В новом корпусе будет больше тысячи номеров. Две гостиницы у въезда на Бородинский мост прибавят еще полторы тысячи номеров.

Есть проект возведения гостиниц возле Курского и Белорусского вокзалов.

Вот, пожалуй, все, о чем мне хотелось рассказать вам сегодня. Думаю, вам интересно заглянуть в зал заседаний Исполкома Моссовета, где выставлены некоторые проекты реконструкции города. Знаете, как говорится: чем трижды услышать, лучше однажды увидеть.

* * *

Мы подробно знакомимся с самыми значительными и интересными проектами, макетами, фотографиями, часть которых вы видите на страницах этого номера журнала.

Мы поблагодарили Владимира Федоровича Промыслова за обстоятельный рассказ о жгучих проблемах столицы и о том, как Московский Совет решает эти проблемы,— поблагодарили от своего имени и от имени наших читателей, москвичей и немосквичей. Мы сказали, что и раньше, конечно, знали, как велики масштабы деятельности Моссовета, но после этой беседы получили еще более полное и живое о них представление.

— Да,— сказал в заключение В. Ф. Промыслов,— работа, которую ведет Моссовет, все его отделы, управления, депутаты, постоянные комиссии,— обширна и многообразна. Наш город — гигантский живой организм, и Моссовет полновластно управляет им по мандату шести с половиной миллионов москвичей. В отличие от муниципалитета любой капиталистической столицы Московский Совет депутатов трудящихся — полноправный хозяин города. И он выполняет свои нелегкие, но высокие и почетные обязанности, исходя из интересов всего города и каждого москвича.



Слово о Москве

Ты от края до края сгорала;
Не подняться, казалось, из тьмы,
Но сыновьи мечи и орала
Возводили тебя на холмы.

Ты жила нелегко, непокойно,
Мед в застолье бывал не всегда.
Подступали и с запада войны,
И с востока вривалась беда.

Деревенькой себя вспоминаешь?
А давно высока и светла.
Ты с народной душою сверяешь
И раздумья свои и дела.

Шли снега и звенели капли.
Проплывали века, как ладьи...

Революции трубы запели —
И откликнулись им соловьи.

Налетали и кобчик и коршун —
Соловьи не дались никому.
Были годы и слаще и горше —
Все сходились к крыльцу твоему.

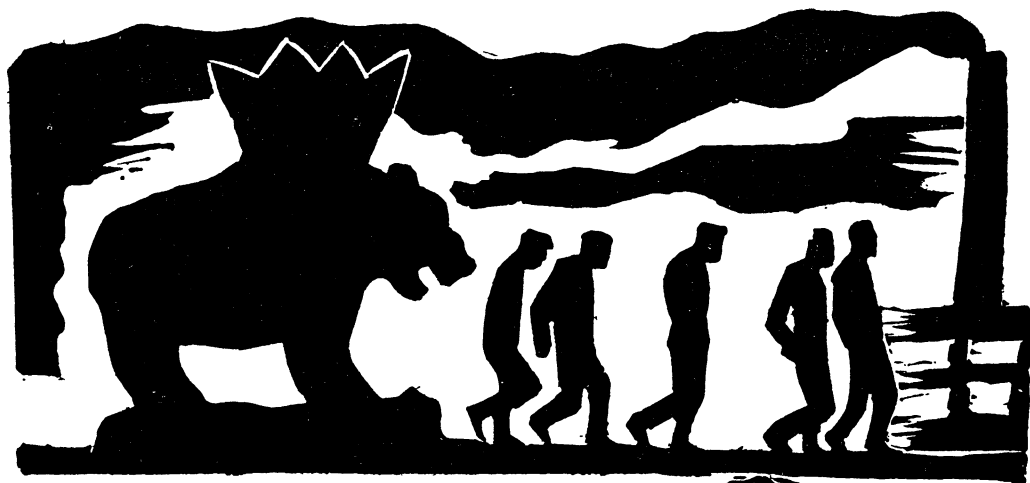
Сквозь свинцовые ливни косые
Ты прозрела зарю торжества,—
И Москву отстояла Россия,
Заслонила Россию Москва.

Я люблю площадями твоими
На зеленом рассвете идти.
Мне твое материнское имя
В трудный час помогает в пути.

Вдвоем с тобой...

Вдвоем с тобой, у лампы тихой,
Когда отворено окно,
С дневной покончено шумихой
И дом уснул давным-давно,—
Читать Есенина и Блока
И слушать, как летит листва,
Смотреть на взморье издалека
И на приокские жнива;
Смотреть на крыши и на звезды
И принимать ночную высь,
Вдыхать сырой осенний воздух,
О подоконник опершись.
Безмолвно города громада
Глядится в чернь Москвы-реки...
Как длинны ночи листопада,
Как строки Блока коротки!





Линогравюра Ю. Иванова.

ГОРБАТЫЙ МЕДВЕДЬ

РОМАН

Часть первая

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

Рано начинаются зимние сумерки в сырой квартире с двумя маленькими окошками, которые выходят на тесный двор высокого дома. Скучно сидеть в полумраке восьмилетнему Маврику и смотреть на стрелки будильника. Еще целых два круга нужно пройти большой стрелке, и только тогда вернется мама, если ее, конечно, не задержат в магазине Зингера, где она служит кассиршей. Она зажжет керосиновую лампу и затопит печь, остывшую за день.

Маврик мог бы ее растопить сам и зажечь лампу. Спички так и просятся:

— Возьми нас... Не бойся. Чиркни!

— Нет, нет,— отвечает им Маврик, не открывая рта.— Я дал маме честное слово не прикасаться к вам. А разве вы не знаете, что обмануть свою маму — это самое страшное из всех самых страшных преступлений. Для этого нужно перестать быть порядочным человеком.

Но и «порядочному человеку», выучившему все уроки, невесело коротать время с мышами. Опять хлопнула мышеловка. И опять пришлось вздрогнуть. Маврик не трус, он просто немножко нервный. В прошлом году он испугался громкого пароходного свистка и стал после этого заикаться. Мышеловка тоже хлопает слишком сильно.

Нужно посмотреть, кто попался. И он лезет под кровать. Попалась очень скромная, тихая мышка. Не бьется, не бегаёт, не старается улизнуть. Среди таких мышей и бывают заколдованные феи, добрые волшебницы. А вдруг как раз эта — не простая мышь. Стоит только ее пожалеть, и жалость снимет с нее злые чары. Пока этого еще не случилось, но может случиться. Выпущенная мышь превратится в красавицу и скажет:

— Спасибо, Маврик. Ты пожалел меня, и твоя жалость сняла страшное колдовство. Проси, что захочешь, и я все сделаю для тебя.

И Маврик скажет ей:

— Пожалуйста, сделайте так, чтобы я сейчас же очутился в Мильвенском заводе, в дедушкином доме, где светло горят лампы и топят печи, где не нужно смотреть на часы и сидеть одному в темной комнате.

— Только-то и всего,— скажет волшебница,— а я думала, ты попросишь лошадку пони, а то и две: одну себе, а другую для Санчика. Вдвоем куда интереснее скакать по улицам Мильвенского завода...

Скажет так и тут же исчезнет, а Маврик окажется в дедушкином доме, и на дворе будут тоненько ржать две маленькие лошадки пони. Феи любят нежадных.

Размечтавшийся мальчик открывает мышеловку и осторожно выпускает из нее серую пленницу. Мышь не торопится убежать в свою норку. Она оглядывается на Маврика, раздумывает о чем-то... И вот-вот, кажется, начнет превращаться в фею, но не превращается...

На свете очень редко встречаются добрые феи. Маврик знает только одну, да и то не фею, а тетю Катю.

«Тетечка Катечка, а почему бы тебе не стать хоть на немножечко, хоть на одну минуточку феей? Милая тетечка Катечка, ты не знаешь, как трудно сидеть без лампы и ждать, когда мама вернется от Зингера и затопит печь. Милая тетечка и милая бабушка, мне плохо, мне холодно, а мамы все нет и нет...»

От слез Маврику становится еще холоднее, и больше нет никакой возможности терпеть, он должен написать письмо тете Кате, пусть она возьмет его к себе, в Мильвенский завод, в теплый дедушкин дом...

II

В тот вечер Маврику не удалось написать письмо. Мама вернулась раньше, чем всегда. С мамой пришли свет и тепло. Загорелась под потолком лампа и затрещали в печи дрова. Мама принесла очень свежие сосиски, которые так любил Маврик. Она получила прибавку. Рубль. Рубль — это очень много. Воз дров. Пусть небольшой, но все же воз.

Мама не забыла купить и любимые царьградские яблоки. Мама любит Маврика. И он любит ее, хотя все реже и реже сидит у нее на коленях. Наверно, вырос. А может быть, теперь маме нужно любить не одного Маврика, потому что появился папа. Второй папа. Первый умер. Маврику тогда было три с половиной года.

Первый папа похоронен на старом кладбище против тюрьмы, где сидят «политические». На папином кресте написано: Андрей Иванович Толлин. Маврик тоже Толлин. Тетя Катя не советовала ему менять фамилию. И второй папа ничуть не обиделся на это. Наверно, он понимал, что нехорошо отказываться от фамилии настоящего отца. И, кроме этого, тетя Катя сказала, что быть мещанином города Перми Мавриkiem Андреевичем Толлиным лучше, чем сыном крестьянина деревни Омутихи Завозненской волости Мавриkiem Герасимовичем Непреловым.

Мещанин — это мещанин, да еще такого города! А крестьянин — это совсем другое. Хотя его новый папа совсем не похож на крестьянина и он не носит лаптей, но все равно... Мама стала теперь Непреловой. Для нее перестать быть Толлиной ничего не значит, потому что это тоже не ее фамилия, а папина. У мамы настоящая фамилия Зашейна, как и у дедушки и у тети Кати.

Но мама со всякой фамилией остается мамой. Правда, не очень приятно объяснять в школе, почему он Толлин, а не Непрелов. Но что же делать! Он же сам согласился на нового папу и венчался вместе с ним и мамой в церкви на Слудке. И священник не запретил Маврику ходить вокруг аналоя, когда мама была папиной невестой, а папа — ее женихом. Значит, Маврик тоже повенчанный со своим новым отцом. Они втроем праздновали свадьбу, и Маврик пил шипучее вино, разбавленное лимонадом. Оно шипело и щекотало в носу. Папа в этот день подарил Маврику волшебный фонарь, которым можно показывать на стене туманные картины. Очень хороший фонарь, только мало картин. Шесть стекол. Осталось пять — одно разбилось.

Папа и теперь каждый раз, как только получит жалованье, покупает ему подарки. Хотя и не такие, как волшебный фонарь, но тоже интересные. Он и сегодня принес подарок. Электрический фонарик с кнопкой.

Стоит нажать эту кнопку — и под увеличительным стеклом, на боку фонарика, зажигается лампочка. Маврик был очень рад.

— Теперь я не буду сидеть в темноте.

Но папа сказал, что батарейки хватает только на два часа, если фонарик держать все время зажженным.

— Как мало! — удивился Маврик.

— Что же делать, — сказал папа и, погладив Маврика по голове, пообещал в следующее жалованье купить еще две батарейки.

Не попросить ли Маврику денег у тети Кати?

Нет. Он этого не сделает. Да и много ли изменится в его жизни, если у него будет двадцать или тридцать батареек? От этого будет, конечно, светлее в комнате, но не там, не внутри, где душа, где сердце, где спрятано самое главное, о чем нельзя рассказать ни папе, ни маме и никому, кроме тети Кати и бабушки.

В комнате стало очень тепло, и мама была так ласкова, а царьградские яблоки оказались еще вкуснее, чем всегда, но письмо в Мильвенский завод не выходило из головы Маврика. Оно и не могло выйти, потому что мама опять задала Маврику тот же вопрос. Она спросила:

— А не веселее ли будет тебе, если мы купим на Черном рынке маленького братца или маленькую сестричку?..

Мама всегда советовалась с Мавриком, и Маврик всегда отвечал то, что ей хотелось. Теперь ей хотелось мальчика или девочку. И Маврик не мог запретить ей хотеть этого. И если бы он сказал «нет», то мама все равно бы добилась от него «да». И он ответил:

— Да.

Мама была очень рада. Папа пообещал, не дожидаясь жалованья, завтра же купить еще три батарейки и постараться разыскать к волшебному фонарю новые стекла с новыми картинками.

Маврик молчал и краснел. Мама и папа, наверно, думали, что он краснеет от удовольствия. А он краснел от стыда. Ему было очень стыдно говорить неправду и еще стыднее слушать ее. Покупка братика или сестрицы на Черном рынке, где будто бы купили и его, это неправда. Он родился в Мильве, в дедушкином доме, в большой комнате, в пять часов утра восемнадцатого октября, и его принимал доктор Овечкин. Это правда. А то, что старый цыган привозит на рынок полный короб плачущих ребятишек, которых продает как цыплят, это ложь. Но в нее приходится верить. Делать вид, что веришь. Потому что нельзя сказать матери, что она... что она сочиняет. Этого сказать невозможно, но невозможно и прикидываться дурачком, хотя бы в угоду матери. Это значит тоже лгать.

Если бы у него были деньги, он завтра же послал бы длинную-предлинную телеграмму в Мильвенский завод. И, может быть, он это делает. Его первый папа когда-то служил на почте, и у него там остался товарищ. Телеграфист. Этот телеграфист всегда здороваётся



Евгений Андреевич Пермяк родился в 1902 году на Урале, где прожил до тридцати лет. После окончания Пермского университета стал профессиональным литератором. Началом литературной деятельности Е. Пермяка была драматургия (пьесы «Лес шумит», «Иван да Марья», «Ясное солнышко», «Золотая сорока» и др.). Многие годы Е. А. Пермяк пишет для детей. Наиболее известны книги рассказов и сказок: «Дедушкина копилка», «Тонкая струна», «Торопливый ножик», «Чужая калитка», «Смородинка», «Замок без ключа» и др.

Последние работы Е. Пермяка — романы «Сказка о Сером волке», «Старая ведьма», «Последние заморозки»; рассказы «Саламата», «Шоша Шерстобит», «Дочь Луны» и др.

Некоторые из этих произведений печатались в журнале «Москва».

Мавриком и рассказывает ему о папе. Может быть, он пошлет телеграмму без денег или в долг?

Нет. Об этом узнает мама. Телеграфист может рассказать ей. Только письмо. Прошито нитками и запечатанное сургучом...

III

Маврик уснул рано. Электрический фонарик лежал у него под подушкой. Мальчик улыбался во сне, и мать была рада, что ее сын так сладко спит. Теперь никто не мешал поговорить и помечтать вслух.

— Ты знаешь, Люба,— сказал Мавриковой маме его отчим,— бумаги уже находятся на подписи. Наверно, на той неделе я буду чиновником, и тебя никто не посмеет упрекнуть за меня...

Герасиму Петровичу очень хотелось получить первый чин — коллежского регистратора — и надеть чиновничью форму. Сделавшись чиновником, он переставал быть крестьянином, что так важно для счастья Любочки и его счастья.

Ради этого он покинул Мильвенский завод, где мог занять очень хорошее место доверенного товарищества «Пиво и воды» и получать не двадцать три, а семьдесят рублей при готовой квартире с отоплением и освещением за счет фирмы. Но все равно бы все говорили, что писаная красotka Любочка выскочила замуж за мужика из Омутихи. И ей нечего было на это ответить. А теперь, извините, она чиновница, жена коллежского регистратора.

— Я так счастлива, Герочка, я так счастлива, милый мой,— говорила Любовь Матвеевна и плакала на плече мужа, который станет ее гордостью на той неделе, и она заложит в городской ломбард плюшевую шубу на лисьем меху, и тогда хватит денег, чтобы заказать настоящую диагональную форму коллежского регистратора. А потом ему прибавят жалованье... А летом не нужно будет покупать дров и платить за обучение Маврика в школе Зотовой.

— Все будет хорошо,— шептала, засыпая, Любовь Матвеевна.

И Герасим Петрович верил этому.

Розовый свет трехлинейного ночника озарял уснувших надеждами. Каждый лелеял свои желания, и они очень часто сбывались во сне. Этот бескорыстный обманчик не жалел красок, рисуя спящим людям и то, что наяву не могло выдумать самое пылкое воображение.

Герасим Петрович видел себя фермером. Фермер — это новое слово, которое появилось несколько лет тому назад. Ферма Герасима Петровича снилась ему не слишком большой. Тридцать коров. Дом в три комнаты. Хорошие лошади. Пролетка на резиновых шинах. Не большое, но и не маленькое рубленое помещение молочного завода, где будет стоять ведерный сепаратор и бочка для взбивания сливок. Пресс. Пресс прессует фунтовые кружки сливочного масла, а на кружках — рельефное изображение породистой коровы и надпись: «Ферма бр. Непреловых». Его брат — Федор Непрелов, умный и хозяйственный, но малограмотный мужик — тоже войдет в компанию. И вообще вся деревня Омутиха будет кормиться, и хорошо кормиться, возле фермы. Кто — сбывать масло, кто — работать на молочном заводе, кто — ходить за скотом.

Лучшего сна нельзя и хотеть. Однако же, если бы этот фермерский сон вместе с Герасимом Петровичем могла видеть и Любовь Матвеевна, то им, наверно, пришлось бы скоро проснуться. Любовь Матвеевна ни при каких обстоятельствах не будет жить в деревне. Потому что «это ужасно и невыносимо и, одним словом, — кошмар».

Любовь Матвеевна видит себя женой доверенного фирмы «Пиво и воды». Квартира на втором этаже. Варшавские кровати с никелирован-

ными спинками. Ковры на полу и на стенах. Большой столовый стол с двенадцатью венскими стульями. Четверги или пятницы, когда собираются гости. Преферанс и лото. Пельмени. Шуба на беличьем меху. Оренбургская шаль, которая легко продевается в обручальное кольцо, и смиренная вороная лошадь. Как у Дудаковых в Мильве.

И это она отчетливо видит во сне. Видит и знает, что этот сон будет явью. Любовь Матвеевна не позволит себя обманывать даже сном. Она видит только то, что будет или по крайней мере может быть.

А мещанин города Перми Маврикий Андреевич Толлин по малолетству позволяет снам властвовать над собой и показывать невозможное.

Невозможное заключалось в том, что телеграфист согласился передать Маврика по телеграфу в Мильвенский завод с доставкой в собственные руки Екатерине Матвеевне Зашеиной.

И когда Маврика доставили, запечатанного в телеграмму, тетя Катя была страшно рада, а бабушка сразу же помолодела на много лет, а собака Мальчик, которой еще нет, но которая будет, зазвенела будильником...

Началось утро. Обыкновенное зимнее утро, когда заглушают будильник, когда гасят ночник с розовым стеклянным абажурчиком, зажигают лампу и разогревают вчерашний ужин или просто пьют чай с почерствевшим за ночь хлебом...

IV

Маврик мог бы и не просыпаться так рано. В школе Зотовой занятия начинаются в девять часов утра. А до школы — пять минут. Но Маврика нужно накормить, а потом погасить лампу. Ему этого делать тоже не разрешено. И Маврику приходится уходить из дому на полтора часа раньше, когда уходят его родители. Ничего не поделаешь — они тоже не виноваты.

Маврик обычно заходит в Богородскую церковь. Там тепло, и его знает церковный сторож. Но что делать в церкви? Смотреть на иконы? Он уже насмотрелся на них. Замаливать грехи? Какие?

Иногда Маврик заходит в булочную. Булочная открывается очень рано. Но в булочной можно постоять очень недолго. Там обязательно спросят: «Что тебе?» Не ответишь же: «Мне ничего не надо, я просто так».

Утром очень трудно проболтаться час. Раньше он заходил к сапожнику Ивану Макаровичу, который с удовольствием разговаривал с ним. Но мама запретила заходить к нему, потому что у сапожника он может набраться скверных слов. У Ивана Макаровича были только хорошие слова. Он любил Маврика. Он называл его «барашей-кудряшей». Он рассказывал ему множество интересных историй, но Маврик дал маме честное слово не заходить больше к Ивану Макаровичу, и заходить стало некуда.

Другое дело после школы. Можно пойти в городской музей. Правда, он там бывал раз сорок и знает все — от чучел зверей до двухголового ребенка, заспиртованного в банке. Но все равно, когда некуда деваться, можно пойти в музей. Там его знают...

Иногда он проводит время у бабушки Толлиной. Но бабушка живет в богадельне, и не одна. В ее комнате еще шесть других бабушек. Там нужно сидеть на одном месте и разговаривать шепотом. А это очень трудно. Да и бабушка начинает спрашивать, как он живет, что делает, любит ли его новый отец, тепло ли в квартире, почему мама давно не была... На эти вопросы ему не очень легко отвечать. Если Маврик скажет правду, то получится, что он жалуется на свою маму, а ничего не говорить тоже нельзя. Бабушка требует рассказывать все.

— Я же твоя родная бабушка,— говорит она,— ты ничего не должен скрывать от меня. Если что, я сумею постоять за тебя...

Если бабушка на самом деле хочет «постоять» за него, так пусть приходит после школы и посидит с ним хоть полчаса. А бабушка этого не делает. Но и ее нельзя обвинять. Наверно, ей неприятно видеть вместе с мамой другого папу. Да и папе, наверно, тоже не хочется встречаться с бабушкой, которая ему никто, а «одни только напоминания». Хватит ему и того, что Маврикий Андреевич Толлин напоминает и лицом и фамилией первого папу, а тут еще «старая свекровка Толлиниха». Так ее называет Маврикова мама.

Вот и приходится заходить в богадельню к бабушке очень редко, когда совсем некуда деться.

Если бы Маврик учился в обыкновенной школе, то у него были бы обыкновенные товарищи. Как он. И Маврик мог бы приходиться к ним, а они к нему. И было бы хорошо. Но в школе у Александры Ивановны Зотовой учатся мальчишки, которых привозят и увозят на лошадях или приводят и уводят горничные. Не всех, но многих. А те, которые ходят сами, все равно не кассиршины дети. У них папы не служат переписчиками в судах. У них папы — господа или купцы, а мамы — купчихи или барыни... И все они живут в своих больших домах или в квартирах, где много комнат, и туда нельзя приходиться, как к сапожнику.

Впрочем, Маврика однажды пригласил к себе школьный товарищ Володя Морин, но потом перестал приглашать. Перестал приглашать потому, что Володя побывал в квартире у Маврика и увидел, что у него вместо столика для уроков стоит ящик из-под зингеровской машины, покрытый клеенкой. Увидел, что стульев только три, и все разные, а комнат — одна. Увидел и рассказал об этом всем остальным в первом классе. И все заметно переменялось. Правда, Александра Ивановна Зотова разговаривала с классом и сказала, что «бедность не порок», но все же от этого Маврик не стал богаче, а несчастнее стал. Его при всех назвала бедным сама Александра Ивановна. А быть бедным среди богатых еще хуже, чем сидеть одному в темноте...

V

Маврик любил приезжать в Пермь. Белый город начинался дымным Мотовилихинским заводом, чем-то похожим на родной Мильвенский завод. В городе Маврика ждал жареный миндаль в «фунтиках», вафли трубочками, горячие жареные пирожки, фонтан в театральном саду, извозчики, у которых лошади так хорошо выколачивают копытами «ток-ток-ток».

Да разве можно с чем-нибудь сравнить Пермь летом? Что может быть лучше, чем стоять в набережном саду, который почему-то называется Козьим загоном, хотя там нет никаких коз. Стоять в Козьем загоне и любоваться пароходами. Сколько их тут!.. Любимовские, каменские, кашинские, русинские... А буксирных? А барж? А плотов? Про лодки нечего и говорить. На них можно и не смотреть.

Маврик многое увидел, узнал и понял в Перми. Но мог ли он увидеть больше и понять увиденное лучше, чем он мог?

И помехой этому были не только его малые годы, но и глаза, которые могли видеть окружающее и понимать его только так, как видели и понимали мама, папа, тетя Катя и две бабушки.

Недавно бабушка Пелагея Ефимовна Толлина внушала внуку:

— Кому как написано на веку, тот так и живет. К примеру: булочник торгует булками, мужики сеют рожь, судьи судят, рабочие работают, губернатор губернаторствует, школьники учатся, нищие просят милостыньку, а царь царствует над всеми. Понял?

— Понял.

Бабушка Толлиниха не исключение, и ее убеждения вовсе не убогая частность. Так тщится думать и сам господин губернатор. Губернатор, приближенные к нему и все те, кто живет за счет порабощения, находили правильным и единственно возможным общественный строй, при котором одни трудятся, а другие наживаются, одни нуждаются, а другие роскошествуют. Наступившая после разгрома революции девятьсот пятого года тишина как бы подтверждала незыблемость течения жизни, неизбежность краха всего, что возмущает это течение. И некоторые из тех, кто боролся в рядах угнетенных, теперь разуверились, разоружились, опустили руки, примирились, поверив, что плетью обуха не перешибешь.

Самодержавие пожинает плоды кровавого разгрома. Давно разогнана Вторая государственная дума. Задушена революционная печать. Брошены в тюрьмы, отправлены на каторгу революционеры. Екатеринбургская партийная организация, одна из самых сильных на Урале, объединявшая свыше тысячи членов партии, сохранила только четверть. Не издаются более газеты «Уральский рабочий», «Крестьянская газета», «Солдатская газета». Запрещены собрания, манифестации. Свиристует жандармерия. Усиливается приток иностранного капитала. Уже многие уральские предприятия принадлежат хозяевам, живущим за пределами Российской империи. Купцы расширяют торговлю. Пароходчики готовы пустить новые пароходы. Фабриканты и заводчики благодарят бога и прославляют царя за промышленный подъем, начавшийся в тысяча девятьсот десятом, тихом, году. Но это тишина порохового погреба. Это молчание вулкана.

Ушедшая в подполье партия большевиков, хотя и казалась не существующей, но только тем, кто, самоутешаясь, желаемое принимал за действительное. Революция изменили все партии, крикливо звавшие за собой и капитулировавшие в черные годы реакции. Зато партия, созданная Лениным, партия, вооруженная самой передовой наукой переустройства жизни, закалялась, и в поражениях накапливала свои силы.

Революцию уже невозможно было покорить, потому что она не просто оставила глубокий след в сознании народа — революционные идеи стали неотделимы от чаяний поработенных. И особенно здесь, на Урале, когда вновь был восстановлен десяти-одиннадцатичасовой рабочий день. Благородные традиции, заложенные популярнейшим организатором большевистских ячеек на Урале Яковом Михайловичем Свердловым, сказались теперь в годы подпольной работы. Использовались все легальные возможности разоблачения ухищрений либерально-буржуазных проповедников, убаюкивающих народ медовыми речами.

Большевики не только надеялись на лучшее, они верили в его неизбежность. Листовка этих лет Екатеринбургского партийного комитета объявляла: «Миновала пора могильной реакции, и зарождается новая, быть может еще более могучая, чем предшествующая, волна народного революционного движения...»

Это было правдой. Не пройдет и года, как наиболее сильная партийная организация Екатеринбурга превратится в окружной комитет и будет помогать большевикам Невьянска, Нижнего Тагила, Кыштыма, Тюмени, Каслинского завода. Наладятся связи с Кунгуром, Уфой, Златоустом. Через Надежду Константиновну Крупскую уральцы установят переписку с Владимиром Ильичем. Ленин, сам Ленин, в такое трудное время найдет возможности инструктировать уральцев. Больше приходит политической, пропагандистской литературы, отпечатанной за границей. Чаше приезжают посланцы Центрального Комитета. Революция наращивает свои силы.

Теперь не так просто пермским жандармам распознать большевика.

Не то время. Не те и большевики. Иди разгляди подпольщика в почтенном чиновнике, едущем с дочкой в поезде в Надеждинский завод. Осмелься вскрыть его чемоданы. А в чемоданах тысяча партийных брошюр.

Кто заподозрит встреченного на сибирской улице франта с холеными усиками и увидит в нем бежавшего с каторги организатора студенческих волнений? И не подумаешь, что девушка, так похожая на бедную швейку, везет в футляре не швейную машину, а шрифты для восстанавливаемой в Екатеринбурге партийной типографии. И уж конечно никому не придет в голову, что сапожник Иван Макарович Бархатов вовсе не сапожник, а один из организаторов большевистского подполья. Распрощавшись с Сибирью, он уже не мог вернуться в Петербург, где его знают на многих заводах, открыл мастерскую малого ремонта обуви, воспользовавшись приобретенной в Сибири профессией сапожника. Чинит он медленно, поэтому у него мало клиентов и множество свободного времени. Ко многим заводам Урала тянутся невидимые нити из подвала, где Иван Макарович Бархатов в перепачканном варом фартуке ставит заплатки, подбивает косячки на сношенные каблукки.

Дорого бы дали в жандармском управлении за этого сапожника, ставшего профессиональным революционером, выросшего из рядового, ничем не приметного слесаря-механика в талантливого вожака, замеченного Владимиром Ильичем Лениным, связанного с Яковом Михайловичем Свердловым.

Если бы знали супруги Непреловы, бабушка Толлина, как предан Маврик Ивану Макаровичу и как он, бездетный вдовец, любит мальчика! Если бы они знали, какое счастье для Маврика поселиться в большой пламенной душе отличного человека и стойкого борца! Если бы знал Маврик, что его Иван Макарович... Хотя пусть лучше мальчик не знает того, что невозможно понять и оценить в его годы. Пусть он лучше верит в силу своего письма тетке и пока живет счастливыми надеждами на переезд в Мильвенский завод.

VI

Когда пришло письмо, прошитое нитками, с печатью из хлебного мякиша вместо сургуча, Екатерина Матвеевна Зашеина, распечатывая конверт, дрожащим голосом сказала:

— Мамочка, от Маврушечки письмо, — и принялась читать вслух: — «Дорогие родители, тетя Катя и бабушка!..»

Этих слов было достаточно, чтобы высокая полная женщина с умным лицом, в очках, которые ей придавали особую солидность, прослезилась вместе с маленькой старушкой, сидевшей на низенькой кровати, покрытой лоскутным сатиновым одеялом.

Написав без единой ошибки первую строку, уместив буквы в линейки листка, вырванного из тетради, Маврик уже не заботился о грамматике и каллиграфии. До них ли ему, когда нужно было рассказать самое главное. О том, как «плохо ему живецца», как поздно приходит мать, как ему «нечего делать в богородцкой церкви»... Маврик знал, как тетя Катя боится, чтобы он не простудился, и особенно выразительно написал про холод в квартире: «А вечеромъ холотно здесь и зуббы нипирастають чакадь одинъ обь другой».

Платок был мокр. Екатерина Матвеевна утиралась кухонным полотенцем.

— Что же это, что это, мамочка?..

Буквы письма вылезали из строк, прыгали, скакали, будто им тоже было холодно и от них отскакивали палочки и крючки.

Маврик умолял: «Не дожидайса когда пройдет лёть на каме, а прииздьяй на делижанцовых лошадах». И далее: «Буду ждать тибя днем и

ночью». И, наконец, подпись: «Учен. 1-го класса Маврикий Толлинъ».

Валерьяновых капель оказалось недостаточно. Пришлось нюхать на-шатырный спирт.

Один план за другим строит Екатерина Матвеевна и не может придумать ничего путного. Она не может даже потребовать в письме, чтобы в корне изменить жизнь Маврика. Тогда «ей и ему» будет известно, что ребенок жаловался своей тете Кате, и от этого Маврушеньке будет только хуже.

Но утро, которое не только в сказках бывает мудренее вечера, подсказало хорошее решение. Утром пришло второе письмо из Перми. От Пелагеи Ефимовны Толлиной. И она посоветовала «принанять старушонку, которая бы могла доглядывать за Мавриком и сидеть с ним часок до школы и часа четыре после уроков».

Как все оказалось легко и просто. Понадобятся какие-то пять рублей в месяц. Ну пусть семь, и мальчик будет не один в эти месяцы, а потом она перевезет его сюда, в Мильву.

Через неделю в Пермь пришло обдуманное, хорошо взвешенное письмо и перевод на двадцать пять рублей.

«Дорогая Любочка,— писала Екатерина Матвеевна,— мы знаем из письма Пелагеи Ефимовны, как тебе трудно, поэтому просим тебя...»

Далее подробно, на двух четырехстраничных листах, указывалось, какой должна быть нанятая старушка, что должна была делать она по уходу за Мавриком. Но в конце письма Екатерина Матвеевна не удержалась и приписала: «Если же ты, Любовь, эти деньги измотаешь на другое, тогда запомни раз и навсегда, что не получишь от меня никогда ни одной копейки, ни одного лоскутка, и я вымолю у бога кару на твою голову...»

Старуха была нанята. Лампа зажигалась засветло. Купили три воза дров. Топили дважды, и стало тепло. Но веселее от этого Маврику не стало. Зато сбывалась сказка бабушки Толлинихи о Весне-Красне.

VII

Бабушкина сказка сбывалась...

Царевна Весна-Красна шла и шла в своем солнечном платье. И это платье было столь широко, что нет на свете меры измерить его ширину. А жаркий царевнин подол протянулся далеко за Казань, до теплых морей, за лазоревые крымские горы. И пока его край, отороченный кружевом, сплетенным из золотых лучей, сметает последние снега с древних киевских земель, пока расковывает ото льда преславный Дон и священный Днепр, Весна-Красна ступает на камские берега, держит путь через Пермь в Мильву, в соленые земли и дальше на Вишеру, Колву, где стоит старая Чердынь — бабка всех городов и селений, малохоженого, мелкокопаного, плохознаемого лесного, гористого царства скрытых руд, невиданных самоцветов, ненайденной черной огненной воды, неслыханных кладов, позапрятанных на дне самого ветхого из всех морей — Пермского моря...

Весна-Красна в этом году рано накрыла своим голубым подолом холодную пермскую землю. Если бы не ночные заморозки, то посиневший камский лед треснул бы, тронулся и пошел бы шелестеть, скрежещать, жаловаться на раннее таяние.

Тетя Катя снилась теперь Маврику каждую ночь. Каждую ночь она увозила его на пароходе в Мильвенский завод, но всегда что-нибудь случалось, и он просыпался.

А сегодня тетя Катя снилась так, что Маврик слышал ее голос и боялся открыть глаза. Маврик слышал, как тетя Катя говорила:

— Уже десятый час, и цветику-самоцветику пора открыть свои голубые глазоньки.

Но только когда знакомая рука, от которой пахло как ни от какой другой, потрепала его по щеке, он решил открыть один глаз. Только один, чтобы другим удержать сон.

— Деточка моя,— услышал он,— голубочек мой...

Это была она, и он завизжал от радости, обнял ее и заикаясь стал спрашивать:

— Ты не во сне? Ты не во сне, тетечка Катечка?

— Да что ты, да что ты, проснись, моя худышечка... Боже мой, какие у тебя остренькие лопатки... И ребрышки можно пересчитать... Я ведь еще вчера приехала... С первым. Ты уже спал. Не хотела будить тебя...

Маврику так много нужно было рассказать, и ему никто не мешал. Мама и папа давно уже ушли на службу. На будильнике половина десятого. И он говорит, то и дело трогая тетю Катю, проверяет на всякий случай, не во сне ли это, не исчезнет ли она так же, как вчера?

Екатерина Матвеевна не знает этого и очень боится за «умственное состояние» племянника. Скоро она его увезет, и мальчик снова окажется в хорошей обстановке. От заикания не останется следа. А теперь нужно как можно скорее пойти в город по магазинам, чтобы он знал, как она любит его, и что ей не жаль для него ничего, и она готова истратить все десять рублей, которые отложены только для прихотей Маврика.

Прихотей оказалось не так много. Нужно было купить фунт мягкой вишневой пастилы беззубому сторожу богородской церкви. Затем побольше колбасных обрезков, чтобы «чайные» и «рябчиковые» съесть без хлеба самому, а остальными досыта накормить ласковую собачонку из соседнего двора и мышей. И, наконец, нужно было купить жареного миндаля и батареек.

Как он повзрослел за эту зиму! Не прибавив, к огорчению Екатерины Матвеевны, и одного вершка в росте, Маврик очень часто рассуждал не по годам и задумывался над тем, что не должно бы беспокоить его на девятом году жизни.

Когда жареного миндаля было куплено два фунта, потому что его не найдешь и днем с огнем в Мильве, Маврик очень серьезно спросил:

— А останутся ли у нас, тетя Катя, деньги на билеты? — и наставительно, точь-в-точь как это делала бабушка Толлиниха, сказал: — Их нынче надо тратить с умом. Золотые корабли к нам не приплывут.

Тетя Катя испуганно посмотрела на Маврика, вздохнула и ответила:

— Это верно, Маврушечка, но нельзя же отказывать себе в самом необходимом,— и попросила татарина-лавочника взвесить еще фунт жареного миндаля на дорогу.

Они поедут послезавтра. В одноместной каюте второго класса на пароходе с негромким свистком. Как хорошо, что они поедут во втором классе! Пассажиру второго класса не нужно просить разрешения у толстого капитана побыть немножечко на верхней палубе и потом благодарить его, вежливо шаркая ножкой. Во втором классе можно попросить в каюту телячьи ножки, поджаренные с сухарными крошками и с зеленым горошком, вкуснее которого никогда и ничего не едал Маврик. Разве только пельмени. Но это домашняя, а не пароходная еда.

Как знает тетя Катя все его желания! Какая начнется теперь у него жизнь! Маврик приникает к тете Кате и громко, не обращая внимания на лавочника, на покупателей, признается ей в своей любви:

— Я люблю тебя со всю Пермь, со всю Мотовилиху, со всю землю и со все небо... А им тоже хорошо будет жить без меня, с другим мальчиком или с другой девочкой.

Екатерине Матвеевне, солидной женщине в очках с золотой оправой, никак не годилось давать волю слезам в бакалейной лавке, а они текли.

VIII

Все уже было готово к отъезду, нужно было только сходить к бабушке Пелагее Ефимовне Толлиной. Маврик вчера побывал на папиной могилке, и тетя Катя велела обложить ее новым дерном. Это сделали тут же при ней и при Маврике, а потом отслужили панихиду. Мама хотя и знала, что нужно следить за могилкой, служить панихиды, насыпать зерен и крошек птицам, но ей было некогда. А у тети Кати было время. Она не забывала первого папу Маврика и привезла три крашенных яйца. Одно из них она положила на могилу и сказала папе, как живому:

— Христос воскрес, милый Андрей Иванович, здравствуйте!

Маврику тоже нужно было поздороваться с папой и положить второе яйцо на могилку, а третье положить на другую — на дяди Володину могилу. Он тоже умер скоростижно и преждевременно. И тоже от скоротечной чахотки, поэтому Маврику нужно беречь свое горло и носить шарф даже в теплую погоду.

Зашли проститься и к сапожнику Ивану Макаровичу Бархатову, в подвал с крутой лестницей, и тетя Катя очень боялась оступиться. Но все равно она спустилась туда, потому что «безнравственно забывать старых друзей». Маврик хотя и не знал, что значит это слово, но понимал, что поступать «безнравственно» — это плохо. Почти бессовестно.

Тетя Катя поднесла Ивану Макаровичу штоф с водкой и сказала:

— Спасибо вам, Иван Макарович, за все, за все,— и поклонилась.

— Что вы, зачем же это? — волнуясь, говорил заметно смутившийся Иван Макарович.— Я же не за это любил и люблю вашего мальчишка... Мне, конечно, трудно объяснить вам, но вообще-то спасибо, поскольку это от чистой души. Когда-нибудь я сумею отблагодарить вас... И вообще... — не досказал Иван Макарович и смущенно улыбнулся.

А что он мог досказать ей? Что она произвела на него очень хорошее впечатление. Что по счастливой случайности он знает о ней куда больше, чем рассказывал Маврик. Что ее мильвенский сосед Артемий Кулемин познакомился с ним в ссылке. Что, рассказывая о своем заводе, говорил и о Зашейных. А теперь, когда было решено создавать подпольную типографию нового типа в Мильвенском заводе, то этот же Кулемин, которому было поручено подыскать помещение для типографии, указал на зашейнский дом, как на самый подходящий во всех отношениях.

Ничего этого не мог сказать Иван Макарович. И он ограничился тем, что узнал о дне отъезда, названии парохода, на котором она отправится с Мавриком. Этого было вполне достаточно, чтобы с ней познакомился организатор задумываемой в Мильве типографии, который поедет на том же пароходе и «случайно» разговорится о сдаче квартиры.

— Желаю вам, Екатерина Матвеевна, и вашему племяннику всяческого благополучия в Мильве. Я слышал, что это очень хороший и тихий завод.

— Да, да,— подтвердила Екатерина Матвеевна и протянула Ивану Макаровичу руку в черной плетеной перчатке.— Желаю и вам благополучия в вашей работе. Прощайся, Маврушенька, с Иваном Макаровичем.

Иван Макарович поцеловал мальчишка и, не заметя того, глубоко вздохнул.

А бабушка Толлина, прощаясь с Мавриком, благословляла и наставляла внука. Тетя Катя подарила бабушке черную косынку. А бабушка ничего не подарила ей. И Маврику тоже ничего.

Как оказалось, Пелагея Ефимовна не сумеет прийти на пристань, чтобы проводить Маврика. Она сказала:

— Во-первых, дальние проводы — лишние слезы, а во-вторых, умер купец Кунгуров, и меня звали читать. За это дадут никак не меньше трешницы. При моем положении, Катенька, три рубля — большой капитал...

— Конечно, конечно, — согласилась тетя Катя и велела Маврику поцеловать бабушку.

Потом бабушка взяла толстую книгу — псалтырь, напечатанную церковными буквами, по которой она будет читать у купца Кунгурова, и сказала:

— Я провожу вас до уголка.

На углу бабушка в последний раз поцеловала Маврика и пошла от живого внука к мертвому купцу, чтобы обогатить новыми рублями свою пуховую копилку-подушку, завещанную Маврику, которого она видит в последний раз. И это прощальное свидание с ним, с единственным человеком, которым она как-то продолжится и останется жить на земле после своей смерти, и есть самое дорогое и самое яркое в этом ее последнем году. И никто, и даже тот, кого она называла «всемогушим, всезнающим и живущим в ней», не подсказал ей: «Вернись и проводи с сыном твоего сына все эти часы и наслались ими, потому что впереди у тебя одиночество богадельни, а за ним вечное безмолвие и забвение. Остановись, многогрешная, в скардности своей и запечатлись в его памяти доброй улыбкой и не рассказанной еще тобою сказкой про обманную злодейку Суету-Сует и прекрасную княжну Щедроту-Щедрот...»

Пелагея Ефимовна остановилась. Оглянулась. Она возвращается. Может быть, она что-то поняла?

Нет. Она подошла к Маврику, сунула в карман его куртки двухкопеечную монетку, затем сказала:

— Это тебе на сахарное мороженое.

Сказала так и ушла. Ушла навсегда...

IX

На пристани боцман сказал:

— Четвертак — невелики деньги, зато загодя будете чин чином сидеть в своей каютке.

Тетя Катя с радостью согласилась, и они очутились в беленькой, пахнущей краской каюте. Теперь можно было пробежаться по палубе, ощупать спасательные круги или запереть багаж в каюте и отправиться на берег, где множество лавчонок, ларьков, лотков, где торгуют пирогами, пирожками, жареным мясом, копченой рыбой, вяленой воблой, кислыми щами, овсяной бражкой, тыквенными семечками, живыми раками, печеными яйцами, красным топленым молоком... Где торговки кричат, зазывают, ссорятся из-за покупателей, сбивают цену, обсчитывают, где мазурики шарят по карманам, шарманщики предлагают купить на счастье билетик, который вынимает из ящика общипанный попугай, где свистят полицейские и забирают воришек, где кишмя кишит народ, куда бы ни за что не пошла тетя Катя, если б не надо было ей отвлечь Маврика.

— Батюшки-матушки, как это мы забыли с тобой купить пеклеванного хлеба и вчерашней «четырешки» для чаек.

И они идут через пристань по мосткам, навстречу потоку крючников-грузчиков с большими кулями. То и дело слышится: «Эй, поберегись!» С грохотом катятся тачки с ящиками, с тележными колесами... Пахнет весенней рекой, смолой, воблой. Множество запахов. Тьма людей. Славно журчит под мостками Кама, а на берегу еще веселей.

Екатерина Матвеевна покупает свежий пеклеванный хлеб, потом вче-

рашнюю «четырешку» вместо четырех копеек фунт — по три. Тетя Катя не жадная, а бережливая. Чайкам все равно. Чайки не разбирают: вчерашний или сегодняшний хлеб им бросают.

Думая о чайках, Маврик безразлично смотрел, как взвешивается хлеб, как расплачивается тетя Катя.

— Хорошо бы,— мечтательно сказал он,— наловить чаек корзины две, увезти с собой в Мильвенский завод... Прикармливать каждый день, и развелись бы у нас в Мильве чайки.

Екатерина Матвеевна хотела было одобрить затею, но послышался голос:

— А я тоже еду в Мильвенский завод...

Маврик и Екатерина Матвеевна оглянулись. Перед ними стоял темноволосяный мальчик с огромными черными глазами.

— Ты кто? — спросил Маврик.

— Я Иль!

— Такое имя?

— Да. Так зовет меня папа, а мама — Илюшей. А тебя как зовут?

— Мавриком. А на каком пароходе ты едешь, Иль?

— На том же, что и ты.

— А в каком классе?

— Мама, я и Фаня во втором, а папа в третьем.

На мальчике была хотя и старенькая, но чистая, тщательно заштопанная куртка. Смугловатое личико, уши, нос тоже были безупречно чисты, и густая шевелюра, отливающая на солнышке, кажется, тоже была вполне в приличном состоянии. Кроме того, он едет во втором классе. И самое главное, мальчик поможет Маврику скоротать время до отвала парохода. И Екатерина Матвеевна сказала:

— Сейчас мы выйдем из толчи и начнем знакомиться...

И они втроем направились к Козьему загону. Черноглазый веселый Илюша понравился Маврику, а Маврик — ему. Они сдружились и выяснили все друг о друге, не сделав и ста шагов. Маврик будет учиться во втором классе — и Илюша во втором. Маврику было трудно жить в Перми. И Илюше нелегко. Разве этого недостаточно?

Но Екатерине Матвеевне хотелось знать больше, и она спросила:

— Кто твой папа, Илюша?

— Мой папа штемпельщик. Он умеет делать очень хорошие штемпеля и печати. Вот посмотрите.

В доказательство мальчик вынул из кармана куртки небольшой штемпель, подышал на него, затем отпечатал им на своей руке — «Илья Киришбаум».

— Какая прелесть,— похвалила Екатерина Матвеевна прочитанный оттиск.— Только зачем же руку-то пачкать?

— А на чем же я мог показать?

Видя, что довод неотразим, Илюша лизнул напечатанное на руке и стер рукавом, доказывая этим, что только так, а не иначе он мог поступить.

— А кто твоя мама, Илюша?

— Она теперь просто мама. Нас же двое у нее. Фаня еще ничего, а меня приходится воспитывать. А вообще-то мама наборщик первой руки. Но что ей платили за глотание свинцовой пыли? Жалкие гроши. Папа тоже зарабатывал мало у своего хозяина. Зато хозяин неплохо зарабатывал на папе.

Екатерина Матвеевна, внимательно слушая, отлично понимала, чьи слова повторяет маленький говорун.

— И вы решили переехать в Мильву?

— Не в Екатеринбург же нам ехать! — снова серьезно принялся рассуждать мальчик.— В Екатеринбурге штемпельщиков больше, чем кло-

пов в ночлежном доме. А в Мильве папа будет один. Ну, пусть два. Типография Халдеева тоже пробует делать штемпеля и печати, но это же не печати, а сырые блины.

Выговорившись и расположив к себе Екатерину Матвеевну, Илюша попросил разрешения побегать с Мавриком по Козьему загону.

— Я буду козлом, а ты будешь меня загонять.

Козлом Илюша оказался преотличнейшим. Он бегал на четвереньках, подымался и кричал: «Ме-е-ке-ке». Требовал афиш, заявлял, что афиши его самый вкусный обед.

Сидя на лавочке Козьего загона, Екатерина Матвеевна любовалась племянником и совершенно чужим Илюшей, так запросто шагнущим в ее сердце.

Х

Илюша и его сестра Фаня знали не больше, чем им нужно было знать и рассказывать другим, если их спросят.

Отец Илюши Григорий Савельевич Киришбаум и был тем организатором подпольной типографии, которого Иван Макарович Бархатов хотел поселить в зашеинском доме. По замыслу Ивана Макаровича знакомство должно было состояться на пароходе. Анна Семеновна — жена Киришбаума — должна была разговаривать с Екатериной Матвеевной, но все оказалось проще, естественнее и быстрее.

Киришбаум не знал в лицо Екатерину Матвеевну, но узнал ее по приметам. Очки в золотой оправе. Черная кружевная косынка. Степенна в походке, взгляде и разговоре. Родимое пятно на подбородке. И, наконец, самая безошибочная примета — кудрявый, голубоглазый мальчик в бархатном костюмчике с белым кружевным воротником. И когда Киришбаум увидел Маврика на мостках вместе с его теткой, он сказал сыну:

— Иль, не лучше ли чем сидеть на багаже, познакомиться с этим мальчиком. Вам же вместе ехать...

И тогда Илюша пошел за Мавриком и его теткой. А теперь они возвращались втроем. Екатерина Матвеевна вела за руки по шумным мосткам обоих мальчиков.

— А это, тетя Катя, моя мама, мой папа и моя сестра,— сказал Илюша, подводя Екатерину Матвеевну к своей семье, сидящей на багаже.

— Илья, ты с ума сошел,— остановил его отец.— Может быть, госпожа, которую ты так невежливо называешь тетей Катей, и не желает знакомиться с нами...

— Ну, как вы можете так,— смущенно сказала Екатерина Матвеевна, протягивая руку.

— Бараша-кудряша!

Маврик оглянулся. Ну, конечно, это он, сапожник Иван Макарович Бархатов.

— Как вы любезны,— сказала ему Екатерина Матвеевна.

А он:

— Как на шиле сидел все это время. Дай, думаю, сбегаю на пристань. Невелико время полчаса, а помнить не один год будешь.

Иван Макарович Бархатов на пристани оставался недолго. Ему нужно было, чтобы Киришбаум увидел его разговаривавшим с Зашейной и Мавриком. Бархатов нарочно громко называл Екатерину Матвеевну, а Киришбаум, проходя в это время на пароход, тоже громко сообщал своей жене:

— Теперь я вижу, что не только ты считаешь меня пентюхом, но и другие...

Бархатов понял, что его опасения были напрасны. Он мог бы и не

приходить на пристань. Ему очень хотелось сказать Маврику об Илюше — «какой хороший у тебя новый знакомый», но большая конспирация не терпит и малых промахов. Поэтому Киршбаум и Бархатов на прощанье даже не обменялись взглядами.

Иван Макарович не стал дожидаться второго свистка.

— Прости, дружок, тороплюсь. Не забывай меня...

— До свидания, Екатерина Матвеевна, — сказал Бархатов и поцеловал ей руку.

«Бывают же и среди сапожников обходительные люди, — думала она. — Конечно, может быть, он зашел по пути, но все равно нужно быть благодарной ему. Хоть один человек, да проводил Маврика. Пусть не до третьего свистка, но проводил».

Маврик в кармане своей куртки обнаружил надувного чертика и пачку с множеством пленок для волшебного фонаря.

— Ты смотри, тетя Катя, — радовался мальчик, — папа не сумел разыскать их, а он разыскал...

Это были картинки к сказкам: «Конек-горбунок», «Про братца Иванушку и про сестрицу Аленушку» и особый пакетик с картинками к рассказу Л. Н. Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет».

— Как это хорошо, как это хорошо с его стороны, — твердила Екатерина Матвеевна и в первый раз в жизни подумала, что за такого человека она, может быть, и могла бы выйти замуж. Правда, у него не очень чистые руки... Они, кажется, в дратвенном вару. Но зато сам он чистый и безусловно честный человек.

XI

Третий свисток раздался скорее, чем думал Маврик. Пароход постоял еще с полминуточки, потом убрали сходни. Послышалась команда: «Отдать носовую» — и зашлепали плищи колес.

Потом отдали кормовой канат с большой петлей. Петля шлепнулась в воду и стала ползти на пароход.

Маврик смотрит на похорошевшую и ожившую в мае Пермь, жалеет и не жалеет ее. Все меньше и меньше становится высокий кафедральный собор, недалеко от которого мама получает деньги за иголки, за нитки, за масло для швейных машин. Стоит спуститься с горы, потом пройти немного еще, и... зингеровский магазин.

Вспомнив о маме, Маврик вспоминает о копейке, которую она дала ему, чтобы подарить ее Каме. Маврик находит в кармане монетку и бросает ее в воду. Чайки кидаются за ней, думают, что это хлеб, но монетка тонет в сероватой воде, и птицы остаются ни с чем. Это смешит Маврика, но ненадолго. Он снова думает о маме, о папе, о бабушке, о серой осиротевшей мыши, забыв, что рядом с ним стоит тетя Катя и что от нее нельзя ничего спрятать. Она знает, о чем он думает. Если бы было не так, разве бы она сказала ему:

— Мой мальчик, не нужно вспоминать обо всем этом. Пусть это все остается за кормой парохода. — Она махнула рукой на берег: — Пойдем лучше на нос и будем смотреть вперед.

Екатерина Матвеевна увела племянника на нос парохода, проходившего мимо длинного-предлинного Мотовилихинского завода.

Нелегко пароходу бороться с могучей вешней водой. Наверно, кочегары сейчас подбрасывают и подбрасывают в котлы большие поленья, чтобы пароход, идущий против течения, хоть как-то ускорил свой ход.

Деревья выше колен в воде, а некоторые — даже по макушку. Низкие берега залиты далеко-далеко, а высокие зажимают Каму так, что река не течет, а мчится.

Скоро будет видно впадение в Каму очень красивой реки Чусовой.

И вообще есть на что смотреть с парохода. Берега становятся выше и круче. У каждого из них свой цвет. Попадаются встречные буксиры, плоты и баржи. Разглядывать их тоже интересно, а Пермь все равно стоит перед глазами, хотя она и далеко за кормой парохода, за многими поворотами реки.

Конечно, нужно смотреть вперед, но не оглядываться тоже невозможно. Потому что человек не пароход. У него ничего не остается за кормой, все находится в нем и с ним. В нем и с ним хорошее и плохое. И ничего нельзя выгрузить, оставить на какой-либо из пристаней и забыть. Но...

Но все-таки нужно смотреть вперед...

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

От Камской пристани до Мильвенского завода не так далеко, но и не близко. Екатерина Матвеевна перед отъездом сговорила с кузнецом Яковом Кумыниным, чтобы он подал свою смирную Буланиху, а потом послала ему телеграмму, какого числа и во сколько придет пароход. Она могла бы нанять крестьянскую лошадь и не платить Кумынину за прогон на пристань и обратно, да еще поденщину за потерянный на заводе день. Однако же Яков Евсеевич повезет не трянув, захватит одеяла и подушку для Маврика, постелет в коробок свежего сена, прихватит на случай ненастной погоды большую старую клеенку.

Киришбаумы наняли крестьянских лошадей. Они еле разместились со своим багажом на двух телегах. Илюша, допоздна просидевший со своим новым товарищем на палубе, теперь сладко спал подле матери. Маврика, тоже сонного, уложили в коробок, где он, укрытый теплым стеганным одеялом, проспал всю дорогу до Мертвой горы, с которой открывался вид на Мильву.

Очень не хотелось будить его на горе, но это было ему обещано, а не сдержать обещание невозможно. Правдивость и в мелочах для Екатерины Матвеевны была «святая святых» в воспитании Маврика.

На вершине горы Буланихе было сказано «тпру», и она, довольная, остановилась, а Екатерина Матвеевна сказала:

— Мавреночек, я сдержала свое обещание, но если не хочешь, можешь не просыпаться. Мы потом сходим с тобой на Мертвую гору, когда пойдем навещать дедушку.

Маврик встрепенулся, широко раскрыл глаза, сбросил одеяло, выскочил из коробка и громко крикнул:

— Мильва!.. Мильва!..

Ему хотелось крикнуть что-то еще, может быть, «милая», или «здравствуй», или «как я истосковался по тебе», но не хватило воздуха. Он задохнулся, увидев огромный пруд, освещенный солнцем, разноцветные дымы заводских труб, дома и улицы, начинающие зеленеть деревья и все, что называлось таким дорогим словом «Мильва» или даже «Мильвочка».

Редкий человек, приезжая в Мильву, знающий ее или видящий впервые, не останавливается на этой горе и не любит панорамой Мильвенского казенного завода.

Сам завод находится в глубине большой зеленой долины ниже плотины пруда. Так ставились почти все старые уральские и приуральские заводы, где падающая вода была главной силой, приводящей в движение плющильные и прокатные станы, меха доменных печей и все, что было не по силам коням и людям,

Теперь пар потеснил воду, но все же не заменил ее полностью. Могучий Мильвенский пруд и по сей день отдает свои силы многим цехам завода. Заводом здесь называют не одни лишь фабричные корпуса, но и самый заводской поселок. Завод в понятии мильвенцев — это не село и не город, а нечто стоящее между ними.

И впрямь, Мильва, как и Нижний Тагил, как и Кушва, Юго-Камск или Очер,— не города и не села, но их родные дети, как и заводские жители.

В центре Мильвы плавают сталь, прокатывают и куют железо, изготовляют корпуса судов, а по улицам бредут стада коров и овец, в конюшнях ржут лошади, на дворах гогочут гуси, квохчут куры и хрюкают свиньи. У Мильвы свой запах. Она пахнет и фабричным дымом, и прелой унавоженной землей огородов. И тот же Яков Евсеевич Кумынин на заводе кузнец, а дома сельский житель. У него богатый огород, корова, буланая лошадь, две овцы, свинья, гуси и курицы, а он не мужик, не крестьянин, а мастеровой человек, как в большинстве жители Мильвы, которых «кормит завод-батюшка, а подкармливает земля-матушка».

Маврику сейчас важнее всего увидеть дедушкин дом, а он не может его найти среди множества домов, сгрудившихся в низине.

— Да вон же он, вон,— указывает Яков Евсеевич,— с красной железной крышей, возле тополей.

Теперь можно ехать.

Под гору Буланихе легко бежать. Она, чуя близость скорой кормежки, весело помахивает хвостом. Маврику хочется пересечь на козлы, но из коробка тоже неплохо видно, как начинается Мильвенский завод. Он начинается необжитыми еще «концами» улиц. Здесь не все дома достроены. Некоторые из них стоят непокрытыми срубами. Нет изгородей. Нет сараюшек.

Чем ближе к центру, тем больше и чернее деревянные дома. Каменные начнутся в самом центре. Их не так много, и все они двухэтажные, но есть один трехэтажный дом — это дом Чураковых. В нижнем этаже магазин, а в двух верхних живет нотариус Шульгин с женой и дочерью Ниночкой, которая хочет и пока не может выйти замуж. Большой дом и у провизора Мерцаева. У него своя аптека и сын Игорь. За домом Чураковых Буланиха сама свернет влево на Большой Кривуль, и Маврик знает это. На углу Большого Кривуля и Скворцовой улицы — дедушкин дом. И вот эта улица, вот этот дом...

— Ба-буш-ка-а-а... Я приеха-а-ал!

Маврик закричал так громко, что о его возвращении узнали все соседи и, конечно, Санчик, проснувшийся с солнышком. Оказывается, он сидел на воротах, чтобы первым увидеть Маврика, но задремал.

— Санчик!

— Маврик!

Мальчики обнялись.

Из окна краснобаевского дома послышался женский голос:

— Вызвали Маврикия Андреевича? С приездом, Екатерина Матвеевна! Здравствуйте...

— Здравствуйте,— ответил Маврик, наскоро раскланявшись, и побежал вместе с Санчиком к бабушке.

— Бабушка... Я приехал, бабушка... Навсегда. На всю жизнь.

— Дитятко мое,— обнимает его старушка.— Мой маленький Матвей Романович, зашеинская кровушка, дедушкина кудрявая головушка, бабушкины глаза... Дождалась, дожילה!

— И я дожил, бабушка... Где велосипед?..

Как жаль, что тетя Катя не могла сдать Киршбаумам низ дома. Туда переедут мама и папа Маврика. Но тетя Катя сказала:

— Я видела Григория Савельевича. Они пока устроились в концах Замильвья, а будут жить, наверно, у тети Лары во флигеле. Это куда лучше. В нижнем этаже будет мастерская, наверху — квартира. И вы можете встречаться в любое время.

Значит, все хорошо. Плохо только то, что флигель нужно ремонтировать, а ремонты никогда не бывают скорыми. Плохо и то, что Илья будет учиться в другой школе, которая ближе к Песчаной улице. Им бы лучше учиться вместе и сидеть на одной парте. Ну да ничего, они все равно будут видеться.

Киршбаумы нашли временное пристанище в Гольяниках. Так, по имени старой деревни, слившейся с Мильвой, называлась окраина Замильвья, где тосковал Илюша, требующий отвести его на Скворцовую улицу. Но Киршбаумам было не до встреч Маврика и Илюши. Не состоялись более важные встречи. Киршбаум, конечно, мог бы в поисках квартиры забрести в дом Артемия Кулемина. Мог бы через него встретиться со своим питерским другом Тихомировым, сосланным в Мильву. Здесь, в благополучной Мильве, слежка не так строга, как в Перми. Тихомиров мог бы с главой подполья стариком Матушкиным оказаться на весенней охоте и встретиться с ним в лесу, на болоте. Однако Киршбаум свято хранит истину, преподанную ему Иваном Макаровичем: «Никогда не думай, что ты самый хитрый».

Рисковать было нельзя. Давно известно, что большие дела чаще всего проваливаются на мелочах.

Во всех случаях Киршбаум должен был побывать у пристава. Без разрешения пристава он не мог открыть своего заведения. И, не теряя времени, он отправился к приставу.

Пристав Вишневецкий был в самом хорошем расположении духа. Вчера он получил от губернатора благодарственное письмо за преуспевание в многотрудных делах блюстителя нравственности и спокойствия, а вместе с этим обещание быть представленным к награждению в этом году, если «искусство мягкого умиротворения сословий и впредь будет основой твердости и непреклонности в управлении».

Какие изумительные слова! Можно без конца читать и перечитывать их и находить новое. «Искусство мягкого умиротворения». Именно, «мягкого»... Именно «умиротворения»... И одновременно «твердости», черт побери... и «непреклонность в управлении». Какое изящество слога... Уж наверно сам диктовал чиновнику особых поручений, а может быть, и собственноручно начертил черновик и велел перебить его ремингтонисту.

Счастливый пристав расхаживал по своему кабинету, заново меблированному купцом Чураковым заказной вятской мебелью из карельской березы, любуясь новым мундиром, сшитым другим дельцом, владельцем магазина готового платья, и радуясь солнечному дню, обещающему веселый пикник в ознаменование губернаторского письма.

— Адъютант! — крикнул за дверь пристав. — Кто ко мне?

«Адъютантом» на этот раз был неуклюжий толстый дежурный урядник Ериков. Он вошел и, стараясь казаться молодцеватым, каким он не был и в давние молодые годы, доложил:

— Имею честь, ваше благородье... господин из Варшавы.

— Проси.

Григорий Савельевич Киршбаум еще не знал, как себя вести с приставом. Взять ли на себя роль гонимого судьбой и желающего устроить свою жизнь, или воспользоваться испытанной маской неунывающего местечкового искателя грошového счастья. Но увидев блистательного Виш-

невещкого, а до этого услышав его грассирующий голос, Киришбаум сразу же нашел нужный тон. Почтительно поклонившись и задержав голову склоненной, затем, дождавшись приглашения сесть, он сказал:

— Я и не думал, ваше высокое благородие, что сумею так легко и просто представиться вам. Я действительно из Варшавы, хотя и приехал из Перми. Моя одежда не позволяет мне назваться тем, кто я есть. А я предприниматель, хотя и мелкий. Но если вашему высокому благородию будет угодно отнестись ко мне также благосклонно, как ко всем другим, кто живет в Мильвенском заводе и кто приезжает в него, то ваш покорный слуга может стать на твердые ноги.

— К вашим услугам,— ответил Вишневецкий, памятуя слова из губернского письма об «искусстве мягкого умиротворения». — Чем я могу быть вам полезен?.. Пожалуйста... «Ю-Ю», короткая курка, длинный мундштук.

Поблагодарив за предложенную дорогую папиросу «Ю-Ю» и отказавшись от нее, Киришбаум коротко рассказал о себе, начиная с Варшавы, где он родился, где бедность не позволила ему закончить пятого класса гимназии, после чего он вынужден был искать счастья в Петербурге. Не забыв обронить очень важную подробность о своем деде, «николаевском солдате», потомкам которого разрешалось проживать беспрепятственно во всех городах Российской империи, Киришбаум подтвердил все это предъявленным паспортом.

— Так какой черт, досточтимый Григорий Савельевич,— удивился Вишневецкий, читая паспорт,— заставил вас покинуть столицу и приехать в Мильву?

— Нужда, ваше высокое благородие, господин пристав. Нужда. Наверно, вы слышали о существовании этой неприятной дамы. Став типографским наборщиком, я стал на ноги. Но женившись, я снова оказался если не на коленях, то в полусогнутом виде. А потом, когда появилась на свет дочь, а за ней сын... мне стало ясно, что, набирая с утра до вечера колонки газеты «Биржевые ведомости», я занимаюсь не набором, а разбором того, что удалось скопить до женитьбы, и поехал искать город, где квартиры дешевле и руки дороже. Так я приехал в Пермь. Приехал и доучился на штемпельщика. Хозяин штемпельной мастерской, хотя и молился тому же богу, что и я, но не обращался со мной по-божески. Тогда я услышал, что есть на свете счастливая Мильва. Мильва, где царит благополучие, где каждый имеет свой кусок хлеба, Мильва, где тихая, но процветающая жизнь, где есть женская гимназия и где будет строиться электрический синематограф «Прогресс», где имеется свое любительское драматическое общество, где казенный, императорский, а не какой-то другой, завод, где нет беспорядков и, конечно, не может быть погромов и где нет, но может быть мастерская штемпелей и печатей «Киришбаум и сын». А в скобках — из Варшавы. Теперь скажите мне, ваше высокое благородие, назвали бы вы меня ослом и даже хуже, если б я не бросил все и не приехал сюда.

— И прелотлично сделали, — одобрил пристав, — в таком большом, по сути дела, городе Мильвенске нужна такая мастерская. «Киришбаум и сын» да еще «из Варшавы» — превосходная вывеска. Положим, господин Халдеев пробует делать печати, но это же ужас... Полюбуйтесь...

Вишневецкий показал круглую аляповатую печать. И Киришбаум сказал:

— Если бы я не относился с уважением к господину Халдееву, то эту печать я бы назвал сырым блином. — И спросил: — А не будет ли недоволен господин Халдеев, что я в некотором роде...

— Он будет благодарен вам, господин Киришбаум. Он вынужденно занимается штемпелями, потому что ими не занимается никто. Благо-

словляю! — Пристав простер руки, снисходительно улыбнулся и поблагодарил за удовольствие, доставленное остроумнейшим разговором.

— Надеюсь, что внук почтеннейшего солдата его величества государя императора Николая Первого вольно или невольно не доставит лишних хлопот полиции.

— Я уже это сделал, ваше высокоблагородие... И не могу поручиться, что не сделаю еще... В губернии — губернатор, а здесь — вы. К кому же я приду, если госпожа судьба снова не захочет улыбнуться вашему покорному слуге.

После ухода Киришаума Вишневецкий принялся выстукивать пальцами по столу и напевать вполголоса: «Эх, тумба-тумба-тумба, Мадрид и Лиссабон», затем решил запросить Пермь, а пока установить проверочный надзор за приезжим, казавшимся слишком безупречным и на редкость благонадежным, что должно вызвать неминуемую настороженность всякого пристава и особенно пристава, замечаемого самим губернатором.

А Киришаум, великолепно понимая, как это будет, и зная, что слова пристава не могут соответствовать его мыслям, примет все меры, чтобы облегчить полиции проверку.

III

Дом прокатчика Самовольникова, где нашли временное пристанище Киришаумы, представлял собой типичное жилище мильвенского рабочего. Это изба-пятистенка, которую называют домом, а горницу предпочитают именовать залом. В зале-то и разместились Киришаумы, платя рубль в неделю за постой, чему Самовольниковы, как видно, были очень рады. Недавно построив свой дом, эта рабочая семья дорожила каждой копейкой. Ефиму Петровичу Самовольникову и особенно его жене Дарье хотелось, чтобы приезжие пожили у них подольше. Они покупали молоко, первые овощи, а самое главное, для них выпекался хлеб, что тоже давало лишнюю копейку старательной хозяйке Дарье Сергеевне.

Узнавая все ближе Самовольниковых, Киришаум задумывался, как много нужно сделать, чтобы вывести хорошего человека Ефима Самовольникова из круга его интересов, огороженных жалкой оградой в одну жердь. И по эту сторону ограды обожествляется все, начиная с огородных грядок и кончая маленькой, похожей на козу коровенкой. Здесь все приносило радость: и появившийся на окне горшок с геранью, и подаренная на новоселье рябая курица.

Далекая от этого уклада жизни, Анна Семеновна говорила Киришауму:

— А все-таки я верю, что такие, как Самовольниковы, однажды открыв глаза, увидят, как ничтожно то, чему они молятся, и, проснувшись, окажутся в наших рядах. И сколько таких! Усыпленных. Ослепленных. Замороженных.

— Да, конечно, — соглашался с женой Киришаум, желая узнать, была ли она у Матушкиных. — Как твои зубы? — спросил он иносказательно.

— Я думаю, они будут болеть не менее недели, — так же иносказательно ответила Анна Семеновна, потому что разговор происходил при Фане, девочке, думающей и понимающей более, чем хотелось бы ее родителям.

Зубы у Анны Семеновны заболели вскоре после ее приезда. Зубная боль была единственным мотивированным поводом для встречи с Матушкиными.

Старик Емельян Кузьмич Матушкин в свое время ходил в колдунах по выплавке инструментальных сталей. Хорошо зарабатывая, он позабо-

тился о детях. Сын выучился на инженера по строительству железных дорог. Одна дочь, Елена,— учительница. Вторая, Варвара,— зубной врач. К ней-то и нужно попасть Анне Семеновне. Попасть умно. Обоснованно. Не просто завязала щеку, и «здрасьте, Варвара Емельяновна, я из Перми, партийная кличка «Елена», давайте знакомиться».

Так не могла явиться осторожная подпольщица, жена дважды осторожного Григория Савельевича. И она, «маясь зубами», дождалась, когда хозяйка Дарья Сергеевна сочувственно сказала:

— К доктору бы тебе, девка, надо.

А та, держась за щеку:

— А разве они у вас есть?

— Вот те на! Целых три. Один много берет и плохо лечит. Другой мало берет, но только дергает. А третья— душа-человек, Варвара Емельяновна Матушкина, самая дешевая и самая толковая. За малое леченье даже вовсе не берет. Желает, сведу?

Этого-то и надо было Анне Семеновне.

— Сведи, Дарья Сергеевна. Куда же я одна в чужом городе.

И вскоре Анна Семеновна мотивированно, так сказать, не по собственной инициативе, а по рекомендации хозяйки квартиры, была доставлена к Варваре Емельяновне.

— А я вас давно жду, товарищ Елена,— сказала Матушкина, разглядывая Анну Семеновну.

Так началось знакомство и установилась связь Киришбаумов с мильвенским подпольем. Зубоврачебный кабинет соединялся второй дверью с жилыми комнатами Матушкиных. Анна Семеновна получила возможность встретиться с «самим».

«Сам» походил на кого угодно, только не на подпольщика, да еще большевика. Его можно было принять за церковного старосту, волостного старшину, лабазника, за удачливого земского деятеля, вышедшего на покой, и даже пристав назвал бы болваном всякого, кто бы заподозрил в этом бородатом, розовощеком, пузатом старике внутреннего врага Российской империи.

Емельян Кузьмич Матушкин был человеком вне подозрения. И если он был в чем-то замечен, то разве только в неразборчивом гостеприимстве и неумеренном хлебосольстве.

Мильвенское подполье пополнилось двумя большевиками.

И в те дни, когда Анна Семеновна лечила «затянувшееся воспаление надкостницы», встречаясь с подпольщиками, новоявленный предприниматель штемпельщик Киришбаум налаживал коммерческие знакомства, избегая ходить по тем улицам, где жили люди, которые будут создавать вместе с ним подпольную типографию.

Между тем в полицию поступали самые приятные для Киришбаума сведения, чему он способствовал на каждом шагу, помогая не очень хорошо маскирующимся агентам. Одному из них он пообещал выбить зубы, если он еще раз посмеет сказать при нем хотя бы одно плохое слово о господине Вишневецком Ростиславе Робертовиче, который непременно будет вице-губернатором. Потому что Вишневецкий Ростислав Робертович не просто большой ум, но и большое сердце настоящего русского дворянина, умеющее чувствовать и барина, и мужика, и даже такого, как бездомный штемпельщик Киришбаум. Такие губернаторы, и только такие, как господин Вишневецкий, нужны русскому и всякому народу великой империи.

Пристав Вишневецкий трижды перечитывал донесение, в котором он прочился на пост вице-губернатора.

— Хватит искать чертей в кадилнице, у нас есть поважнее дела,— сказал пристав своему помощнику по негласному надзору и принялся распекать его за «нераскушенный орешек», за Валерия Всеволодовича

Тихомирова, высланного из Петербурга в Мильву. Уже полгода — и ни одного дельного донесения, ни одной зацепки.

Помощник пристава по негласному надзору молчал, опустив голову. Иного ему и не оставалось.

Тихомиров, юрист по образованию, столбовой дворянин по происхождению, опасный, но не уличенный враг империи, жил в доме своего отца — генерал-лейтенанта в отставке, тоже подозреваемого в неверности государю, жил, не давая полиции даже самых малейших поводов подозревать его в причастности к политической деятельности. И даже сам отец протоиерей, бывавший в доме у генерала Тихомирова, отзывался о его сыне Валерии, как о человеке, «пострадавшем по облыжному доносу завистников его уму и простоте, свойственной настоящим сынам высшего сословия». А между тем Валерий Всеволодович уже дважды «пломбировав» здоровый зуб в те же дни и часы, когда Анна Киршбаум лечила «затянувшееся воспаление надкостницы» в зубоврачебном кабинете Варвары Емельяновны Матушкиной.

Впрочем, у Валерия Всеволодовича были основания посещать Матушкиных не только по зубным недугам. Младшая Елена Матушкина называлась досужими языками невестой Тихомирова задолго до того, как он понял, что любит ее и что только она будет его женой.

IV

А рабочая Мильва жила своей трудовой жизнью по заводскому свистку. Первый свисток — просыпайся, второй — беги на завод, третий — начинай работу. С третьим свистком закрываются ворота проходных и ящики, куда рабочие бросают свои номера. Эти железные бляхи с выбитыми на них цифрами все еще остаются главными «документами» рабочего на право входа в завод и на выдачу инструментов. Получить номера — это значит поступить на завод, лишиться их — значит потерять работу.

Ранним утром оживают улицы Мильвы, особенно те, что ведут к заводу. По ним проходит много рабочих. Если большие заказы в этом году — завод берет на работу из ближних деревень и пришлых издалека. А если мало заказов — увольняют и коренных, местных.

Скворцовая улица и Большой Кривуль, на углу которых стоит приземистый двухэтажный зашеинский дом, особенно шумны в этот утренний час. На них сливаются людские потоки со всех улиц, текут шумной лавиной к главной проходной.

Екатерина Матвеевна прикрывает окна, чтобы гулкое топание ног по звонким деревянным тротуарам и голоса рабочих не разбудили Маврика. Но стекла окон не предохраняют от шумного говора, Маврик сквозь сон, не просыпаясь, слышит это с детства привычное оживление.

Вчера он вместе с ребятами тоже решил поступить на завод, как только подрастет. Коля Краснобаев сказал, что после окончания городского училища, а затем технического будет техником. Федя, его брат, пойдет к отцу в механический цех и станет токарем на самоточке. А Маврик и Санчик пойдут в судовой цех и начнут нагревать заклепки, а потом будут строить шаланды, землечерпалки, а может быть, заводу дадут заказ на большой пароход. Давали же. И Коля Краснобаев уверен, что дадут.

Жить Маврик будет по свистку, как все, и если он просыпается теперь в восемь часов, то только чтобы не огорчать тетю Катю.

Уже около восьми. Санчик сидит во дворе на рундуке наружной лестницы, и краснобаевские ребята тоже давно проснулись. Они ждут Маврика у себя на дворе. Наконец открывается окно.

— Санчик, ну что же ты? — приглашает Маврик.

— Иди, иди,— подтверждает Екатерина Матвеевна.— Поешь.

Санчика Екатерина Матвеевна про себя считает «мальчиком для аппетита». Вместе с ним Маврик ест все и самое простое, а самое простое — самое полезное для организма, поэтому экономной Екатерине Матвеевне ничуть не обременителен лишний рот, лишь бы единственный и бесценный племянничек проглотил лишний кусок. И как только Маврик перестает есть, Санчик делает то же самое. Видя это, тетя Катя говорит обычно:

— Так что же ты, Мавруша, хочешь, чтобы товарищ вышел голодным из-за стола, ведь он же никогда ни на одну крошечку не съест больше тебя.

Вот и сегодня Маврик, наскоро умывшись и помолившись «раз-два-три», отбывает самую трудную утреннюю повинность еды. Маврик уже закормлен, а Санчик никогда не отказывается от еды. Правда, теперь он сытно и часто ест, но все равно его тельце тоще, руки худы, щеки впалы. Когда он был младенцем, у его матери не хватало молока, а потом, когда подросток и сел за общий стол, семье не хватало и всего остального, даже хлеба. Но зачем вспоминать об этом сегодня, когда на столе белая молочная лапша, когда в чашку чая кладется два куса пиленого сахара, когда чай пахнет чаем, а не прелым сеном, а хлеб, как тополиный пух, мягок и бел. Как вкусно и как хорошо есть досыта, и будто нет другого стола, где в этот же час сидит Санчикова семья и мать со вздохом режет ржаной хлеб и думает, как всегда, где и что раздобыть на обед. А здесь уже топится печь, и в глиняной латке-жаровне лежит утка, аккуратно обложенная кружками картофеля, дожидаясь, когда сгорят дрова, а угли загребут в загнетку, чтобы ей, утке, томиться в вольном жару при закрытой заслонке и начать пахнуть нестерпимо вкусно, а потом появиться на обеденном столе и отдать одно крылышко Маврику, а другое — ему, Санчику.

— А у нас,— говорит он,— в прошлом году тоже была утка. Не целая, а хватило всем.

Этим он как бы показывает, что и они живут вовсе уж не так плохо.

С завтраком покончено. Маврик вскакивает. Санчик бежит вслед за ним, дожевывая хрустящую хлебную корочку. На дворе ждет, виляя хвостом, счастливый Мальчик. Щенку выносятся вымоченный в молоке хлеб, и день начинается.

В парокход играть уже не хочется. Манит улица. Ее-то и боится Екатерина Матвеевна. Боится, но знает, что рано или поздно придется открыть Маврику ворота.

Она уже разрешила ему перелезть через краснобаевский забор. Маврик доволен и этим. У Краснобаевых совсем другая жизнь. Засаженный, а не пустующий огород. Куры, которых можно кормить. Но самое интересное — лазить по закоулкам большого лабаза и собирать яйца. А еще интереснее спускаться в подвал краснобаевского дома. Там почти завод. Там множество инструментов, которыми разрешается работать. Не всеми, но некоторыми.

V

Коля и Федя Краснобаевы многое умеют делать сами. Ружья. Сви-стульки. Мечи и щиты. Ветряные мельницы с хвостом, которые сами поворачиваются против ветра. У Маврика такой нет, но будет. Она уже начата, и Федя поможет доделать ее, а потом, наверно завтра, Маврику и Санчику помогут сделать щиты и мечи. Тогда они могут быть приняты в славную дружину храбрых воинов.

Медленно вытесывается из сухой липовой доски лезвие меча. Тяже-

ловат для Маврика непослушный маленький топор. Боязно иметь с ним дело. Можно оказаться и без пальца или посесть ногу.

— А ты не бойся его, не бойся,— наставляет Федя Маврика.— Пусть он тебя боится. Вот так, вот так...

И Маврик тешет: «вот так... вот так...» Мало-помалу, мало-помалу топор оказывается легче, удары точнее, щепки ровнее...

— Вот так... Вот так,— приговаривает вышедшая на двор бабушка Краснобаиха и нахваливает: — Ух ты, какие ровные щепочки начали отлетать, видать, понятливая у тебя рука, тетечкин кормилец-поилец... Сдружайся с топором. От него всякий струмент пошел: и долотья, и пилы, и струги, сверла, а потом станки-машины. Все они топорю доводятся детками, внуками, внучками, правнучками... Сдружайся с топором. С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяхах ходит. А таким ли тебе расти, коренное молодое дерево, от старого дуба сильный росток...

Наговаривает-приговаривает так Краснобаиха, а топор все легче и послушнее становится в слабой и тонкой руке Маврика. Рука уже побаливает в локте. Пусть болит. «С топора всякий дельный человек начинается, а без топора и головастый грамотей в безруких растяхах ходит». Боли рука, не отвалишься...

Как мало еще сделано, а уже свистит свисток на обед. И снова шумные, хотя и меньшие, потоки текут по улице. Не все рабочие обедают дома, а только те, кто близко живет. Игнатий Тимофеевич Краснобаев обедает дома. За стол садится большая семья. Отец, мать, три сына и четыре дочери. Девять человек. Едят простое, но сытное. Не привередничают. Уписывают за милую душу сваренные в большом чугуне картофелины, не оставляют в тарелках щип. Краснобаевы — не бедные люди. Игнатий Тимофеевич не просто рабочий, а почти что техник. Только без образования, но все равно получает не меньше. Иначе как бы он мог купить этот двухэтажный деревянный дом.

У Маврика нет дружеских отношений с Игнатием Тимофеевичем Краснобаевым. Это не то что Артемий Гаврилович Кулемин — ясный, солнечный, мягкий, как июнь. Игнатий Тимофеевич Краснобаев похож на март: когда как. В нем нет устойчивой теплоты даже к своим детям. Он может и поколотить. Поэтому дети побаиваются его. А Никиша Кулемин почитает своего отца за товарища. За старшего, конечно, как Маврик тетю Катю, но с которым можно говорить обо всем.

В Мильве встречаются люди, похожие на этот месяц март, которым хотя и можно верить, но не во всем.

Вот и сейчас Маврик не знает, как понять Игнатия Тимофеевича, когда он, приглашая к столу, говорит:

— Садись обедать, жених, рядом с невестой.

Невеста — это Тоня Краснобаева. Ей семь лет. Она нравится Маврику больше всех краснобаевских дочерей. И он уже подарил ей клоуна, который, если нажимать ему деревяшечку в животе, начинает бить в медные тарелки, прикрепленные на гвоздики к его рукам. И вообще-то говоря, на Тоне можно жениться. Она очень серьезная девочка. И тетя Катя любит ее и гладит по голове. Но зачем Игнатию Тимофеевичу понадобилось говорить об этом при всех? Ведь еще же ничего не решено. Разве бы так сказал умный Артемий Гаврилович Кулемин!

— Спасибо, Игнатий Тимофеевич, нас ждут дома,— отказывается от обеда Маврик. Он, может быть, и остался бы, но ведь Краснобаев не пригласил Санчика.

Плохо, когда человек — март.

VI

Продолжая «отвлекать» Маврика, Екатерина Матвеевна делает все от нее зависящее. Нужно красить — крась. Вот тебе кисть и краска. Хочешь засадить свой огород — пожалуйста.

Был куплен и опаснейший из опаснейших инструментов — маленький топор. «От судьбы не уйдешь». И если уж суждено поранить руку или ногу, этого не избежишь. Но все же «береженого бог бережет». И Екатерина Матвеевна, купив топор, попросила точильщика чуточку притупить его на своем колесе.

Новым топором пользоваться было нельзя. Он годился только для колки, но не для рубки и тески. Маврик, тяжело вздохнув, отложил топор и решил поиграть с горя в пермскую тюрьму. И тетя Катя поддержала эти намерения. Чем не тюрьма старая баня. Сиди там с Санчиком и пой:

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно...
Днем и ночью часовые
Стерегут мое окно.

А потом можно выставить гнилую раму и бежать на волю. Только тетя Катя не советует мальчикам называть себя «политическими». Лучше сидеть за поджог или безвинно, как сидел дедушка в девятьсот пятом году заложником, и с каким почетом его встречали потом рабочие.

Екатерина Матвеевна придумывает игры, только бы как можно дольше удержать Маврика дома.

На улице его может переехать телега, мальчишки выбьют ему глаз или его искушает бешеная собака. Мог Маврик подцепить и чесотку, на его руки могли пересесть и «цыпки». Мало ли какими болезнями хворают мальчишки, бегающие по Скворцовой улице. И все же пришлось уступить.

Федя и Коля дали честное слово, что они будут следить за Мавриком и не дадут его в обиду. Им можно было верить. Да и умный сосед Артемий Гаврилович Кулемин сказал про Маврика:

— В школе-то ему так и так придется учиться с этими ребятами. Так пусть он с ними сдружается сейчас, летом.

А Терентий Николаевич вставил свое:

— Дома и молоко киснет. Проквасишь ты, Катенька, парня, и вырастет он безногим, безруким Неумеем Незнаевичем.

Это тоже страшно. И она решилась. Сначала было разрешено играть в своем квартале, напротив окон. Потом было позволено ходить по соседним улицам, и однажды он выпросился сходить за краснобаевской коровой, отбившейся от стада.

И когда все обходилось благополучно и жизнь показала, что Маврик здоровеет, лучше ест, крепче спит, было позволено невероятное. Маврик получил разрешение ходить купаться и бегать босиком.

Началась настоящая жизнь. Теперь у него было одно прозвище: «зашеинский внук». Так он часто слышит за спиной, как говорят: «Это идет зашеинский внук»! Иногда его так называют в глаза. Здравуются с ним незнакомые люди и говорят:

— А ну-ка, покажись, каков ты, зашеинский внук...

Или:

— Зашеинский-то внук весь в деда. Бровь в бровь, глаз в глаз и нос его.

В Перми никто не обращал на него внимания, когда он проходил по улицам. А здесь редкий не оглядывается на него, не останавливает его:

— Ну-кась, давай поздороваемся.

Говорят с ним и на далеких улицах. Откуда о нем знают? Почему

называют Катенькой и Любонькой его тетку и его маму? Почему имя Матвея Романовича произносится с уважением?

— Потому,— отвечает бабушка,— что дед твой не порознь с народом жизнь прожил, не как другие прочие мастера.

Маврик помнил дедушку седым, кудрявым. Он сажал Маврика на колени, ласкал его, угощал сладкими пирогами, приносил маковые конфеты. Помнит он, как дедушка щепал лучину для растопки печи. Пучки лучины сохранились и теперь на чердаке дома. Помнит он похороны. Их перенесли на воскресенье, потому что заводское начальство боялось, что многие рабочие не выйдут на работу, чтобы проводить старика Зашейна на кладбище. И в самом деле, на похороны пришло много народа. Гроб пришлось выносить на улицу, чтобы не устраивать дома давки и дать попрощаться с Матвеем Романовичем всем, кто хочет.

Подходил к гробу и сам управитель завода. Он возложил венок с лентами. Гроб несли только почтенные рабочие, да и те ссорились — кому нести. Маврика тоже несли на руках. Чтобы ему было все видно. Это хорошо помнит Маврик.

Знает Маврик, что после дедушки остался наградной кафтан с золотыми полосками на вороте и на руках. Это «царский жалованный кафтан». Им очень гордились бабушка и тетя Катя, но Терентий Николаевич Лосев называл этот кафтан «пылью в глаза».

Нужно же, наконец, узнать, кто такой был дедушка, если из-за него так много людей знают Маврика.

И ему снова рассказывают о дедушке тетя Катя, Терентий Николаевич, бабушка, и снова многого не может понять Маврик, и ему говорят: — Подрастешь — поймешь все.

Наверно, они правы, но мы не должны переносить знакомства с дедом Маврика на дальние главы романа. В истории, связанной с Матвеем Романовичем Зашейным, лежит ключ к пониманию жизни рабочих таких заводов, как Мильва, и тех особенностей, которые нередко вынуждали старое патриархальное и консервативное предпочитать передовому и новому. И эти мелкопоместные, мелкособственнические особенности переходили печальным, а иногда и трагическим наследством к сыновьям и внукам.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

I

Зашейнский дом принадлежал к тем старым строениям, которые возводили на Урале и в Приуралье удачливые мастера, счастливые старатели, колдуны доменного и сталеплавильного дела и все те, кто нашел свой фарт в ремесле, знал свое дело лучше, чем самого себя, и поднялся в верхний слой перваков. От них во многом зависел успех заводского дела: добыча руд, выплавка чугунов и сталей и все, чем славен этот старый и молодой край.

Нелегко выбиться в перваки, не всегда этому помогают золотые руки, умная голова, долгие годы тяжелого труда. Выходили в первый ряд и наушники, прижимщики, обмерщики, обвесчики и прочие плуты, любящие ездить на чужой шее и карабкаться по спинам товарищей к достатку и сытости, к своему домку не на три окна с одной трубой — как у всех, — а о двух этажах с пятью-шестью горницами, теплыми голландками, с резными наличниками, под железной крышей, крашенной стойким суриком, с «паратыным» крыльцом на улицу. Ну, а уж сараюшки, погребушки, белая банька, крытый колодец — само собой. Без теплой конюшни, без хорошего коровника тоже нельзя. Не Питер, не Москва, не другой какой город, где рабочий народ живет по чужим «фатерам» или

в заводских казармах и пьет жидкое покупное молоко, ходит на базар за капустой, за огурцами и прочей «овощью». «Картошь» и та у них не своя, на чужом возу привезенная. А здесь разве так?

В стародавние времена было заведено на Урале и Каме жить рабочему человеку в своей избе, а при избе огород и двор. А при дворе коровенка, свинья, курица, а если есть чем кормить, то и гусь с уткой не будут лишними. Лес рядом. А в лесу дрова, грибы, ягоды. Были бы руки. Покос от завода дается каждому, особенно если ты коренной рабочий человек.

С коренным-то легче начальству дело иметь. Никуда от своего домка не денется, от своей коровки не убежит. Он при заводе, завод при нем. Оттого и зовут его коренным, что корнями он в этой земле сидит с давних времен, когда приписали его к заводу царским указом, а потом привязали коровьим хвостом и всякой прочей оседлой рухлядью.

С умом заводчики и казна ставили здешние заводы. Не одни пруды прудили, не об одной даровой силе воды думали, но и о дешевых рабочих руках заботились и делали все, чтобы эти руки не только лишь заводское или рудничное дело справляли, но и сами себя подкармливали помимо завода.

Не от широкой же души, не от барских щедрот наделяли они рабочих покосами, нарезали им большие огороды, помогали обзавестись своим домишечком. Все это делалось с дальним проглядом. Лишь бы кол вбил рабочий, поставил хоть совсем плевую избушечку-малушечку, а потом ему и куренка купить захочется, боровка завести... А когда «свое да мое» разьест ноздри, тогда из него хоть веревки вей, хоть рогожи тки. Из сил выбиваться начнет, вечера прихватывать, чтобы лишнюю копейку добыть, лишнюю хохлатку на двор пустить, в перваки выйти, полной чашей зажить. А полная чаша — живой пример. На одной и той же улице мастеровые живут, у которых и на кенгуровом меху шубы случаются и своя полукровка в конюшне ржет.

Худо ли о рождестве или о масленице жену, ребят в кошевку посадить и катнуть через плотину, скажем, к теще на блины. А кроме всего прочего при своей лошади и дрова из леса, и сено с покоса свезешь, да еще и безлошадному соседу поможешь — опять деньги в дом. А заводу или заводчику — что. Тянись. Замахивайся хоть на каменный дом с мощеным двором. Пожалуйста. От завода никуда не денешься. И все твое благополучие в нем. Значит, трудись, добивайся, чтобы твои руки дороже стоили. Ловчись, ищи, придумывай, находи. От этого хоть казне, хоть хозяину только прибыль. Нет спора — казна и хозяева не знают сытости, но не жалеют рубля, коли твоя смекалка чеканит им сотни, а то и тысячи золотых.

К таким-то рабочим людям, чья голова и чьи руки ценились большим рублем, принадлежал дедушка Маврика — судовой мастер Матвей Романович Зашенин.

Зашенны на этой земле живут очень давно.

Всякое случалось в их роду. Есть слух о том, что фамилия Зашенны пошла от дальнего родича-смутьяна, подвешенного на заводской плотине за шею. Этому не хотят верить Зашенны. Мало ли что плетет молва. Да если бы такое и было, то зачем помнить об этом?

Зашенны чужого хлеба не ели, а своим делились. Ни старик Роман, ни сын его Матвей выморщенной копейкой не жили, не мздоимствовали, хотя и могли бы. Под Романом хаживало до двух десятков судовых рабочих, а под началом Матвея Романовича до ста их работало. И никто не может сказать хоть про самый малый побор. Красенькая, скажем, за прием на работу или свиная туша. Брали мастера и по четвертному билету. Корову со двора сводили, только прими в цех. От мастера зависело все. Он царь и бог. Захочет — возьмет, захочет — выгонит. Случа-

лись и такие, что брали от каждого десятой заработанной рубль. И платили. Платили и молчали. Да и как не молчать. Лучше десятую долю отдать, чем все потерять.

Честным трудом Роман Зашеин не нажил себе каменных палат. В трехконной избе прожил свой век. И ту еле-еле срубил. Земля много силы взяла. Ему дали заболоченный пустырь на углу Скворцовой улицы и Большого Кривуля. Никто не брал эту лягушину топь. А Роман Зашеин взял. От завода близко. И если рассудить, то всякое болото можно засыпать. И засыпал. Чуть не на себе песок, гальку, камни возил. И смекалка помогла. Спусковой колодец вырыл — вся вода ушла.

Знатное место получилось. На этом-то месте и стоит теперь большой зашеинский дом, который ставил Матвей Романович. Он поудачливее отца был. Грамоте знал и думать не боялся. Не только молот, но и циркуль умел в руках держать. Чертежу верил, инженеров, техников уважал, а свой разум тоже в сапог не прятал. Любил говорить:

— Коли ваша честь меня мастером держит, так дозвоьте уж мне не быть, чем щи хлебают.

Перед тем как заложить новый корпус судна, он не только сам, но и со всеми подначальными держал совет. Говорил, как лучше, как скорей. И чужой голос умел слушать, если даже это был последний клёпаль. День-два потеряют на счетах-подсчетах, а выгадают не одну неделю. Пароход же строится. И если даже баржа, так ведь и ей при скором рождении долгую жизнь нужно дать.

За это и любили Матвея Романовича. Не «ором» брал, а толковым внушением. Поблажки не давал, но и обидеть не позволял своего товарища.

Не всякому так дозволялось. Не каждый мог рот на заводе открывать. А Зашеин мог. Мастер. Сам управитель его по имени и отчеству величал. Никогда зашеинские корпуса не браковались, хоть и делались скорее других. А почему? Секрет простой. Каждый свое малое дело знал, и знал хорошо. А работали сдельно. С корпуса. И заводу ведомо, во что ему корпус вскочит, и зашеинская сотня тоже прикидывает, какие щи можно варить, сколько должать купцам, какое приданое готовить старшей дочери.

Счастливой была жизнь Матвея Романовича. Женился он на круглой сироте, у которой из приданого было все, что на ней да в ней. А на ней добра было столько, что и самый завистливый кашеев глаз не позавидовал бы. Зато в ней тепла-светла было не меньше, чем на небе в летний день, а уж про честность, верность говорить нечего. Ее сама матушка-Правда удочерить могла. Ну, а об остальном прочем умалчивал Матвей Романович и даже под хмельком боялся хвастливым словом запятнать ее стыдливую красоту и безоблачную любовь.

И завод не обижал Матвея Романовича. Тоже не от доброй души, а по расчету. Матвею Романовичу было на что честно свой дом поднять, надворные постройки поставить, дочерям грамоту дать, хоть и не столь великую, но достаточную для того, чтобы шляпки носить и руки в перчатки от загара прятать. Сумел Матвей Романович и рубли отложить для средней дочери, для Катеньки, оставшейся в девичестве при отце с матерью.

II

Казенный Мильвенский завод редкий год сводил концы с концами. Частый «прогар» завода старики объясняли тем, что «казна она и есть казна, и мало кому до нее дела». И в этом была какая-то правда. Казенный, как бы никому не принадлежавший завод находился в руках

лиц, которых не беспокоила его судьба. Это чаще всего были «пришлые господа». Приезжали сюда все, за малым исключением, с единственной целью «отбыть» здесь пять — десять лет, нажить деньги и вернуться в большие города. А нажиться на казенном заводе инженеру или обедневшему барину было легче, чем где-либо. Безнаказанное взяточничество, сделки с поставщиками и заказчиками, которыми были частные предприниматели, давали немалые доходы. Не часто в Мильве появлялся заботливый управитель. Таких было два-три. При них от заказов не было отбоя. А когда большие заказы, — возрастает и спрос на рабочую силу. Платят не по часам, а по выработке. Но такие «красные» годы процветания можно было пересчитать по пальцам. Чаще случались «серые» годы, когда работал завод «так на так» и ничего не давал казне, но и не требовал от нее «доклада» капиталов. А выдавались и «черные беззаказные» годы, когда работали поочередно — неделю одна смена, неделю другая, чтобы не останавливать завод.

«Черными беззаказными» годами начинался новый двадцатый век. Пошли разговоры о закрытии завода. Слишком высокая была стоимость судов, мостов, машин и котлов, изготавливаемых в Мильве. Предпринимчивые заводчики подставляли ногу казенным заводам, где давали знать себя отголоски крепостничества.

В старые годы управляющий заводом, называемый барин, и был им. Разница состояла в том, что управляемые им мужики не пахали, не сеяли, не выращивали скот, а работали на заводе. А барин оставался барин. У него была своя псарня, свои егеря, гонщики, если он был охотником. Во всех случаях при барине — управляющем заводом — состояла орава слуг: кучеров, поваров, садовников, лакеев, казачков, вплоть до банщиков и придверников, оплачиваемых заводом.

Удельный князь едва ли мог жить с такой роскошью, как управитель казенного уральского завода. С меньшей роскошью, но достаточно широко жили его сатрапы — начальники цехов, мастерских, служб, различные смотрители, надзиратели, уставщики. Они тоже обходились заводу в большие суммы. При этом заводским начальством чаще всего назначались люди, не знавшие заводского дела, но умевшие расположить к себе барина. Пригланулся барину или барыне иноземный гувернер, а то и просто бродяга в камзоле — как не пригреть его, кто запретит поставить рядного болвана верховодить над цехом. Все равно там все дела правят мастера, а ты ходи да помахивай хлыстиком, а для того чтобы знали, какой ты есть большой начальник, — дай одному-другому по зубам или вели выпороть по своему усмотрению.

В начале двадцатого века управляющий уже не мог самодурствовать. С него требовали прибыли. Нужна была коренная перестройка завода, начиная с оборудования и кончая разгоном сановитого начальства.

Но когда дело дошло до закрытия Мильвенского завода, пришлось задуматься всем — от поденщика до мастера. От заводского фельдшера до богатого купца Чуракова. Жизнь каждого из них зависела от завода. На что духовные отцы не касались заводских дел, но и те понимали, что с закрытием завода оскудеют их приходы. Теряли работу тысячи коренных рабочих, для которых завод хотя и был добровольной каторгой, но каторгой, кормившей их. А теперь?

Что теперь? Голод? Смерть?

В каждом доме просыпались и ложились, спрашивая друг друга: что будет с нами? Думали все. Каждый предлагал свое.

Одни говорили, что нужно поднять бунт и свернуть шею заживевшим начальникам. Другие надеялись, что завод перейдет в частные руки, и тогда сами собой слетят безрукие, безмозглые заводские чиновники. А хозяин-заводчик будет знать, кого миловать, кого жаловать. Пораз-

гонит лишних зрителей-надзирателей-прихлебателей. Уполовинит конторских дармоедов и будет мерить человека рублем. Дашь пользу — рубль, нет — бывай здоров. И от этого дешевле станет баржа, мост, котел и всякая прочая машина, изготовляемая на Мильвенском заводе.

Находились головы, которые предлагали подать царю всенародное прошение о передаче завода на выкуп рабочему люду. Рабочий люд наведет свои порядки, поставит своих доверенных начальников, будет работать из последних сил, а не даст закрыть свой завод. И что стоит теперь рубль, будет стоить полтину. А ежели так, то наступят опять «красные годы» и от заказов не будет отбоя.

Иначе думал корпусной мастер Матвей Романович Зашеин.

III

— Мужики,— говорил Матвей Романович, сидючи на толстом бревне возле ворот своего дома на Скворцовой улице.— Можно и забастовать. Можно обуть управителя завода и цеховых начальников в лапти и поводить их по улицам. Можно кое-кого и в печь на тачке свезти или в пруд сбросить. Можно. А что потом?

Старики и средних лет рабочие, слушающие старика Зашеина, молчат.

— Потом, как после последнего бунта, приведут к медведю и начнут пороть. А потом кандалы, Сибирь, каторга! Ну, это так-сяк. Кто-то должен ради других отдавать свою голову. И я бы, может, не пожалел ее. Поносил на плечах, и хватит. Но какова польза? Заказы придут? Или казна боится закрыть наш завод? Обрадуется бунту казна. Может быть, только и ждет этого. Скажет, сами ушли с завода и гуляйте себе, бунтовщики. Не мы завод закрыли, а вы ему конец принесли. Так или нет?

— Так, Матвей Романович,— слышатся тихие голоса старых рабочих.

Зашеин неторопливо делится думанным-передуманным, в этом он убежден, от этого не отопрется и на кресте.

— Ежели б нам плату сбавляли, чтобы прибыли выжать, нажиться заводчику — тогда так. А ведь наш-то завод казнйн. Управителю, окромя медали, ничего за прибыль не дадут. Да и не до медали ему теперь. Он хоть и его превосходительство, а живет заводом. Тоже подумывает, куда мотануть, когда Мильва кончится. В губернаторы-то его могут и не взять. Без него ихних превосходительств многонько у царя. Ну да не о нем забота. У него тут своего дома нет. Сел на пароход — да и в Питер. А мы? А мы как, мужики?

Молчат старики. Молчат рабочие средних лет. Каждый думает о своем домке, о своей коровке, а то и лошадке. Не бросишь это все, не подашься по белу свету работу искать.

— Другой раз бывает и так, что лучше вместо рубля полтину получить, ремень утянуть, да живым остаться, чем все потерять и особливо потерять надежду на заказные годы.

Не сразу старик Зашеин открывает свои планы. Исподволь растолковывает своим слушателям, от чего зависит цена моста, котла, железного листа. И все понимают, что плата за труд рабочего, и только эта плата решает, чему и сколько стоить.

— И ежели,— говорит Зашеин медленно,— плата рабочему поменьшает, поменьшает и цена на мост, на судовой корпус и на все прочее. А ежели цена поменьшает — у кого тогда будут заказы? — спрашивает он и отвечает: — У того, кто дешевле просит. Будь то глиняный горшок,

будь то железный котел, всегда берут тот, что лучше и к тому же дешевле. Вот и смекайте...

— Как же так, Матвей Романыч,— спрашивают Зашейна,— в Москве, в Питере за прибавку мастеровые бунтуют, а ты за убавку ратуешь?..

И Зашейн отвечает:

— А я ни за что не ратую. Я говорю то, что есть. Одно из двух. Либо — спасти его, нашего батюшку, и не дать закрыть, либо — похоронить его, когда он еще может жить и дышать...

Такие разговоры велись не раз и не два. Сказанное Зашейным десятку-другому рабочих пересказалось сотням и тысячам. Кто-то говорил, что Зашейн баринов прихвостень, что по бариновой подсказке он тянет рабочий народ в нужду, но этого никто не мог подтвердить. Зашейна знали как честного человека. И большинство сходилось на том, что лучше с петлей на шее жить, но жить, впроголодь есть, но есть, чем заживо в гроб ложиться.

И к Матвею Романовичу пришли выборные и сказали:

— Просим тебя, Матвей Романович, идти от всех нас к управителю. Тебе верим, тебя знаем. Нашего пятака ты не упустишь. Будем работать по семь гривен за рубль, чтобы только сохранить завод.

Зашейн уперся. Ему боязно было говорить от имени всех. Кто знает, как потом повернется это все. Он уже слышал, как один из пришлых мастеров называл его «соглашателем».

— Один я не пойду,— отказался Зашейн.— Пусть хоть от каждого цеха по одному. При всех буду говорить с управителем. И со всеми ответ нести.

Так и было сделано. И настало воскресенье, когда рабочие люди пошли к барину просить его милости «об унижении им платы, чтобы спасти завод». Так говорилось, а подразумевалось — спасти свой двор. Двор, который властвовал над тружеником, заставляя его идти на поклон к порабителю и просить как о милости об ухудшении своей жизни, лишь бы сохранить убогое мелкопоместное благополучие.

IV

Хорошо выгладила Екатерина Семеновна Зашейна своему послу чечуховую, вышитую синими васильками, в цвет глазам, молодую рубаху. Тесна она ему была в вороте, а теперь, на восьмом десятке, опять в самый аккурат.

Хороший «спиджак» надел Зашейн. Из тонкого сукна. И сапоги надел лаковые. Тоже в недавние годы были малы, а теперь и с портянками не тесны. Калоши надел Матвей Романович. Хоть и жаркий день был, а дом господский. Чтобы не занести в него ни песка, ни пыли, и опять же уважение.

И другие ходоки к барину приоделись кто как мог. Своего не нашлось — соседи дали. Жизнь решается. Быть или не быть кормильцу-поильцу.

Семь лучших караваев принесли. Один выбрали. Замильвенская кузнечиха пекла. Высокий каравай. Как заря, румяный. Блюдо, на котором понесут каравай, литейщики лили, медники чеканили. Все цеха на нем в вензелях значатся. Земледельческих орудий цех — плуг. Котельный — котел. Мостовой — ферма. Кузнечный — наковальня. Лафетный — лафет...

Вверху по окружью блюда особый вензель. Четыре буквы в нем переплелись. А. К. и Т.-Т. Что значит Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский. А поверх буквенной вязи три звезды на щите и дубовая веточка — фамильный герб барина-управителя.

Посредине блюда — фабричная марка завода, стародавний памятник: медведь с зубчатой короной на горбу.

Солонка была склепана в виде шаланды. Заклепочки меньше головки булавочной. Потрудились лекальщики. А на шаланде буквы МКЗ — Мильвенский казенный завод. И опять же медведь с короной на горбу. Без медведя нельзя... А в солонке — соль мельче пыли, белее сахара. Соль эта не просто соль, а дар соленой пермской земли.

К хлебу-соли и полотенце положено. Тонкими пальцами вышито. И не только цветы да листья, но и слова: «Хлеб-соль ешь, а правду режь». К месту слова.

И вот собрались послы у зашеинских ворот, на углу Скворцовой улицы и Большого Кривуля. Кроме ходоков поднабралось человек сто с лишним провожателей. Они пойдут стороной, чтобы, не приведи господь, не задержала ходоков полиция. Два урядника уже похаживали.

Матвей Романович перекрестился и поклонился в сторону Мертвой горы. Там лежал его отец — Роман. Надо же попросить родительского благословения. И по всему видно было, что тот благословил его.

— Пошли, мужики, — сказал Зашеин.

И послы тронулись.

Хлеб-соль, покрытый белым тюлем от пыли и всяких мух, несли по очереди. Первым нес Санчиков дед, маляр Иван Денисов.

Путь через плотину долог. Надо пройти на виду у всех и без всяких таких непредвиденных и прочих случайностей. На плотине через каждые две-три сажени — охранители из цехов. Боялись не только полиции, но и своих, которые звали не хлеб-соль нести управителю, а на расправу его вести.

Обошлось все по-хорошему. Подошли к управительскому крыльцу. Доложили лакею-придвернику, что ходоки ото всех цехов желают видеть его высокое превосходительство.

Допустит ли? Дома ли? Не вышлет ли вместо себя кого-нибудь из своих прихлебателей?

Напрасны волнения. Управитель больше часа ждет ходоков. Полиция в Мильве хоть и была из ротозейского сословия, а такое гласное дело она не знать не могла. Да и заводские наушники опередили приставов и урядников.

Лакей вышел и сказал:

— Барин милости просит пожаловать!

Вошли в дом старики. Управитель вышел к ним запросто. Поблагодарил за хлеб-соль. Полюбовался блюдом. Прочитал на полотенце: «Хлеб-соль ешь, а правду режь» и крикнул в соседнюю комнату:

— Матильда Ивановна! Где ты там... Почтенные люди пожаловали.

И вышла на зов дородная барыня, не меньше шести пудов живого веса, с тремя подбородками, вся в кудрях и шелках. Заморских кровей иноходь. Идет, как шаланда плывет, только юбки шуршат да грудь отлогой волной покачивается, а в руках поднос. А на подносе графин с рюмками.

— Благодарю вас, господа, — говорит и кланяется барыня, — не откажите и мне честь оказать.

На подносе одиннадцать рюмок. До одной пересчитал Матвей Романович. Десять для ходоков, одиннадцатую для себя. Значит, ждал, значит, знал, и одежду не зря надел не свою, а мильвенскую. Рубаха с косым воротом, шелковый витой пояс с кистями, только штаны свои — с красными полосами по швам.

Лакей разлил водку по рюмкам. Турчанино-Турчаковский редкого из ходоков не назвал по имени и по отчеству угощаючи. Зашеина-то он знал, да и других помнил, а остальных лакей подсказывал.

Выпили по единой. Закусили королевской селедочкой, красной икрой, белой осетринкой — и:

— Милости прошу не таить, чем я обязан таким посещением?

Сказал так управляющий, усадил ходоков и велел выйти лакею за дверь, а супругу, поблагодарив за честь, тоже деликатно выпроводил из большой гостевой комнаты. Не бабье дело слушать, о чем послы будут разговаривать с управителем.

— Слушаю,— обратился опять Турчанино-Турчаковский, усадив на кожаные кресла ходоков.

Все посмотрели на Матвея Романовича, и он начал так:

— Ваше высокопревосходительство господин барин Андрей Константинович. Дело простое. Хотим завод спасти. А спасти его можно, по нашему разумению, только тем, ежели мы сумеем ценой побить тех, кто нас в трубу хочет выпустить, по миру пустить, последний кусок отнять.

Управляющий сделал кивок головой в знак сочувствия и тут же спросил:

— А как можно, сударь мой Матвей Романович, спасти завод, когда нет никакой возможности удешевить наши изделия?

— Есть,— перебил управляющего Зашеин,— есть, прошу покорно прощения, ваше высокопревосходительство господин барин Андрей Константинович. Что ты нам скажешь на то, ежели мы вместо каждого рубля семь гривен будем получать. Кто десятку зарабатывал, тому ты семь целковых будешь платить, ваше превосходительство господин барин Андрей Константинович.

— Ежели б да кабы — тогда бы и на крыше росли рыжики,— ответил управляющий.— Если б можно было платить семьдесят копеек вместо рубля, то мы бы повышибли из седла к такой-сякой... всех наших погубителей.

— Так и повышиби, ваше превосходительство Андрей Константинович, к такой-сякой и этой самой.

Послы негромко, но дружно захохотали.

— Я-то бы вышиб,— сказал молодцевато управляющий, щелкнув пальцами и причмокнув языком,— только боюсь в лапти переобуваться, в смоле быть измазанным, в пуху вываленным, а то и в пруду утопленным. Пожить хочу. Пусть отставным барабанщиком, да не обесцещенным.

Зорко смотрели ходоки за выражением лица своего управителя, чутко вслушивались в каждое слово.

— Да как же это может случиться, ваше высокопревосходительство, коли мы сами об этом толковать начали.

— Так-то оно так, Матвей, друг мой, Романович, да ведь вас-то только десятеро,— сказал, опустив голову, управляющий,— а на заводе тысячи человек. Они-то что?

— То же, что и мы,— сказал Зашеин.

— Ой ли?

— Так что же ты, ваше превосходительство господин барин, неужели ты думаешь, что мы сами от себя? Когда во всех цехах все обговорено, растолковано и как следно быть...

— А чем я могу подтвердить это?.. Ведь на высочайшее же надо писать, что рабочие сами, осознав за благо сохранение своего завода, просят снизить плату тридцать копеек на рубле?

Тут не выдержал маляр Иван Денисов и громко крикнул:

— Ежели надо, все подпишутся. До единого.

— Это другое дело, господин Денисов. Тогда и мне будет не боязно, что я ввожу в заблуждение его императорское величество, и вы не в ответе. Рабочий народ что море. Сегодня тишь, гладь и божья благодать,

а завтра — бунт. И на нашем пруду большие волны случались. Не так ли, господа?

Послы опустили головы.

Не одних дураков назначали управляющими казенных заводов. Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский был из того поколения заводских воротил, которые умели, когда было надо, надевать рубаху с косым воротом, находить нужные слова, оказывать честь тем, кто сам лез в кабалу.

— Подумаю, господа. Ночь спать не буду... Все взвешу, прикину, высчитаю... Я и сам, господа, готов подписать вместе с вами прошение и отдать свои тридцать копеек с каждого рубля... И отдам — лишь бы дымила всякая труба нашего богатя и красавца...— Говоря так, его превосходительство господин барин Андрей Константинович проследил, любуясь собственными слезами и словами.— Сам поеду к государю императору... На колени стану... И не подымусь, пока его императорское величество не скажет «быть по сему» и не соизволит приказать не умолкать заводскому свистку, не утихать цеховому шуму...

V

Ходоков ждали на плотине возле чугунного медведя и на соборной площади мужчины и женщины чуть ли не от каждого квартала мильвенских улиц. Зашеин и ходоки, бывшие с ним, отвечали обнадеживающе.

— Нужны подписи,— заявил Матвей Романович.— Он хоть и барин, а тоже слуга. Не верит... Побаивается, как бы не зашебутился народ.

В эту ночь доморощенные писаря писали прошения, составляли подписки, в которых говорилось, что «по нашему собственному и личному желанию просим платить семь гривен за рубль и сохранить нам завод»...

Но не «филькиных грамот» хотел господин Турчанино-Турчаковский. Ему нужны были по форме составленные, прочитанные в цехах прошения, подписанные каждым. И если неграмотный — ставь крест, прикладывая палец или проси подписать за себя товарища.

Не прошло и недели, как были получены тысячи подписей. И ничто не могло теперь остановить мильвенцев давать свои подписи. Маленький, пестрый по составу тайный кружок «Исток» не был в тот первый год века силой, способной хотя бы разъяснить рабочим, что, становясь на путь уступок, они вредят общему делу рабочего движения России, подают злой пример фабрикантам и казне, что старик Зашеин и сам не знает, куда он заводит рабочих. И такие голоса раздавались, такая агитация была, но ее не принимали, да и не могли принять мильвенские рабочие.

Организатор и руководитель тайного кружка «Исток» молодой врач Родионов, сосланный в Мильву, сказал своим кружковцам:

— Их ведет не Матвей Зашеин, их ведет госпожа корова и все, что огорожено своим забором.

Стало известно, что управляющий, а за ним и некоторые заводские чины подписались вместе с рабочими, отдавая свои тридцать копеек с каждого получаемого ими рубля. И об этом говорили все.

— Вот это да! Значит, и они, как мы, держатся за свой завод?

— Оно конечно,— говорили другие,— от больших-то рублей легче выделить долю, чем от малых копеек, когда каждый грош на счету.

— А могли бы не отдавать,— резонно замечали третьи.

Не глуп был Турчанино-Турчаковский — знал, что делал.

Прошла еще неделя, а потом другая. Стали поговаривать, что зря, видно, собирали подписи, зря надеялись на казну. И когда рабочие го-

товы были махнуть рукой и ждать неизбежного конца, к дому Матвея Романовича подкатила карета управляющего.

— Его превосходительство просит вашу честь, господин Зашеин, не отказать в милости приехать к нему,— сказал прибывший лукавый пи-сец, служивший при «самом», при его квартире.

Лошади были посланы и за остальными девятью ходаками. Матвея Романовича везли на полных рысях, и кучер на всю плотину кричал: «Эй, поберегись», хотя никого и не было на дороге в этот воскресный день.

Послы от цехов снова собрались в большой гостиной комнате господского дома. Тишина. Молчание. Сердца готовы выскочить от ожидания. Слышно, как считает секунды двухаршинный маятник старинных часов, стоящих на полу. А секунды длинные, как зимние ночи. Яркий день за окном и тот не светел.

Послы стоят. Ждут. Молчат.

И наконец бесшумно сама собой открывается дверь. В дверь проходит «сам». Он в форме, при шпаге, при орденах и медалях. Бакенбарды расчесаны, распушены.

— Здравствуйте, господа.

— Здравствуйте, ваше высокопревосходительство.

— Прошу садиться!

Никто не смеет сесть.

— Прошу,— повторяет Турчанино-Турчаковский.

Матвей Романович садится, за ним садятся и остальные. Два лакея накрывают большой стол. Появляется закуска. Как это понимать? Золотит ли управитель горькую пилюлю, которую он приготовил им, или выдерживает характер и тянет, чтобы больше выжать? Может быть, мало тридцати копеек, и он хочет сорок?

Лакей спрашивает:

— Что будет приказано подать из питья?

Турчаковский отвечает:

— Их спроси,— указывает он на пришедших и, главным образом, на Зашеина.

— А нам ничего не надобно, ваше высокопревосходительство. Мы и так премного благодарим, господин барин Андрей Константинович, за честь.

Турчаковский не может скрыть улыбки.

— Вам-то не надо, да мне-то надо. В тот раз я вас поил, теперь ваша очередь поднести. Неужели даже полштофа не принесли? Нет? Тогда,— обращается Турчаковский к лакею,— неси четвертную бутылку и собери с каждого положенную долю, кроме меня. Теперь мне не от чего такую ораву водкой потчевать.

Четвертная бутылка принесена. Названы деньги, которые нужно выложить. Платит Матвей Романович:

— Потом разберем, мужики, с кого сколь...

Водка разлита по большим орленым бокалам. Управляющий берет свой. Подымается. Подымаются и остальные.

— За его императорское величество! — провозглашает Турчаковский и опрокидывает бокал.

Это же делают и остальные.

— Закуска моя,— объявляет управляющий.— Прошу. На нее ты мне, Матвей Романович, оставил деньги. Не совсем обанкротил, не в окончательных дураках оставил своего управляющего.

Лакей наливает повторно, а ответа нет. И когда выпивается второй бокал, Турчаковский говорит с упреком Зашеину:

— И как только я мог, Матвей Романович, клюнуть на твоего червя и попасться тебе на крючок? Как я мог согласиться с платой семидесяти

копеек вместо рубля? Когда государь император узнал обо всем этом, моя жизнь оказалась на волоске. «Как возможно,— было сказано его величеством,— как возможно отнимать у моих верноподданных тридцать копеек с рубля... На что они будут жить? Положим, говорит его величество, у них свои коровы, свой картофель, грибки, капуста и прочие разносолы, но ведь нужно же покупать и чай, и сахар, и белый хлеб... И как этого не понимает Дурчанино-Дурчаковский, которого я всегда считал человеком, любящим мой народ, моих верных мильвенцев». Ну, тут, разумеется, министры стали доказывать свое. Стали говорить об убыточности и неизбежности закрытия завода... Тогда его величество изволил сказать: «Велю платить семьдесят пять копеек с рубля и ни одного гроша меньше».

У посла от сортопрокатного цеха тряслась борода, сводило ноги. Боявшийся вымолвить слово, кашлянуть, громко вздохнуть, он завопил так, что было слышно за открытыми окнами.

— Неужели ж это правда, золотой ты наш Андрей Константинович...

Турчаковский сказал на это:

— Как же не правда... Хотя мне и не выпала честь слушать, как государь император всемилоостивейше и любезнейше назвал меня Дурчанино-Дурчаковским, и я обо всем этом знаю из писем от третьих лиц, но вот же бумаги... Завод будет жить. Завод получает большие заказы...

Управляющий полез во внутренний карман вицмундира и положил на стол хрустящие бумаги. Читать их не стали. Не та грамота у послов.

Послам хотелось на улицу, к своим, чтобы скорее обрадовать их, но порядок требовал досидеть за столом, выпить за своего радетеля-благодетеля. Да и Турчаковскому нужно было что-то сказать еще. И он сказал:

— Кто может не подчиниться воле государя императора? Кто может убавить пожалованный им пятак?.. Но из пятаков, господа рабочие представители, за год набегает многие тысячи, которые не позволят заводу избавиться от убытков. И нет у нас никакого другого выхода, господа, чтобы, не послушавшись нашего государя, получая семьдесят пять копеек за рубль, не вводя в убытки завод, кроме одного единственного способа.

— Какого, ваше высокопревосходительство? Говори,— попросил тот же посол Груздев от сортопрокатного цеха.

Турчаковский не сразу набрался сил ответить. Он глубоко вздохнул. Опустил голову.

— Один у нас теперь выход. Удлинить рабочий день.

— На сколько? — спросил настороженно и односложно Зашеин.

— На полчаса, господа... На тридцать минут...

Послы переглянулись, и Матвей Романович сказал за всех:

— Надо это все обсказать народу...

— Вот вы и обскажите, господа, а я как все. Пятак ли сбавить упротить государя императора?.. А это опять не одна неделя. Или добавить тридцать минут, не считая субботы...

Народу было «обсказано», и народ, получивший обратно неожиданный пятак, согласился работать пять дней в неделю на полчаса больше.

Завод вышел из кризиса и вместо убытка мог давать прибыль.

VI

Начались цеховые благодарственные молебны. Служился и большой молебен в соборе. Отец протоиерей в сослужении мильвенских иереев восславил бога и царя, а равно и «неусыпно пекущегося о благе рабочего люда раба божиего Андрея». В проповеди отец протоиерей возвестил:

— Господь бог осенил разум мастерового простолюдина Матвея

Зашейна и вложил в уста его мудрые спасительные слова, оберегшие от затухания фабричные горны и возрадовавшие сердца всех от млада до стара, коих призвал мудрый старец Матвей пренебречь тремя сребренниками из десяти и тем сохранить семь, которые не дадут угаснуть дедовским очагам.

Теперь редкий встречный не снимал шапки перед Матвеем Романовичем. Купцы и те здоровались за руку с мастеровым Зашейным и благодарили его за спасительство, называли по имени и отчеству да еще добавляли лестные слова: «ваша честь», «ваша милость».

В Петербурге стало известно о письме царю, которое ему не посылалось, и о мудром ответе на это письмо царя, так хорошо знающем уклад жизни мильвенцев, о которых он даже не слышал. Принимая это все во внимание, было решено образовать новый горно-железодельный Мильвенский округ из шести таких же убыточных заводов, рудников, копей, лесных дач и прочих казенных промышленных заведений во главе с управляющим округом преуспевающим Турчанино-Турчаковским. Он будет получать теперь из убавленного рабочими четвертака и прибавленного получаса утроенное содержание, не считая прочего. Это почти столько же, а может быть, и больше того, что получает губернатор.

Вскоре по Мильве прошел слух о пожаловании царскими кафтанами рабочих послов, а судебного мастера Матвея, сына Романова, опричь того — серебряной медалью.

Сам управитель подкатил к зашейнскому дому, а с ним и другие господа начальники. И многие видели, многие слышали, а уж узнали-то все на всех улицах, как его превосходительство спросил:

— Прошу принять меня, прославленный мастер Матвей Романович. Я хочу поздравить вас с высокой честью и поднести вам золотые часы с золотой цепью...

Он мог бы не через окно зашейнского дома сказать все эти медовые, загодя заготовленные, понятные простому народу слова. Но Турчаковскому нужно было, чтобы его слушали рабочие, толпящиеся на углу Скворцовой улицы и Большого Кривуля, и пересказали другим — каков он, его превосходительство, как он прост и обходителен с теми, кто заслуживает того.

Нет, не дурак был Андрей Константинович Турчанино-Турчаковский. Он понимал, что его власть сильна не одними штрафами да розгами, но и пряником. Читал газеты управляющий, и не только те, на страницах которых была тишь да гладь, но и те, где «спасителя» Зашейна называли «слепым соглашателем из чистых побуждений, наносящих урон общему делу борьбы с самодержавием».

Этих газет, как, впрочем, и других, не читали в Мильве по недостатку грамотности и по избытку равнодушия к тому, что делается за пределами своего завода и своего двора. Свой завод и свой двор были в безопасности. Пришли заказы. Ни у кого не отобрали номера, кроме пришлых и тех из коренных мильвенцев, кто не захотел подписать цеховые прошения — получать семьдесят копеек вместо рубля. Им сказали:

— Не смеем неволить и убавлять самовольно сдельщину и поденщину...

А потом, когда, лишившиеся работы, они письменно признали свои заблуждения, им снова выдали заводские номера. И снова Турчанино-Турчаковский показал себя добрым и чутким к рабочему люду начальником.

Матвей Романович Зашейн не надевал жалованный царский кафтан. Медаль он тоже не носил, а только чистил ее мелом, когда она мутнела. Не носил и часов. Глаза не видели стрелки, да и как-то ему, не купцу, не барину, было стыдно ходить при золотых часах, хоть бы и жалованных. В часах и в медали, как и в кафтане, была какая-то нелов-

кость. Наградили как бы за то, что жить стали хуже. Однако же, сознавая это, Матвей Романович не мог согласиться с лечившим его от бессонницы доктором Родионовым, что мильвенцы принесли не пользу, а вред общепролетарским интересам.

На это Зашеин с отцовской поучительностью ответил доктору:

— Оно, может, и так, Виктор Иванович... Только ты вглубь гляди. Мы ведь не бездомная пролетария, а коренной рабочий класс и о своих интересах забывать не можем.

Услышав эти слова, Родионов понял, как бесполезно спорить с Матвеем Романовичем, как трудно, да и невозможно очистить от наносного мусора думающую и светлую голову старика. Для этого нужно сломать весь его внутренний мир, формировавшийся десятилетиями. Да и можно ли доказать Зашеину, что «бездомная пролетария» и есть главная головная сила, ведущая народ.

Однако же Зашеин не по чьей-то подсказке, а по собственной воле пошел к управляющему просить возвращения четвертака и убавления на полчаса рабочего времени, когда завод стал получать выгодные заказы и давать хорошие прибыли.

Матвей Романович надел свой темно-зеленый кафтан с золотым позументом по вороту и рукавам. Пристегнул медаль и появился в доме управляющего.

Разговор был прямой и короткий.

— Ропщут в цехах, Андрей Константинович. Сегодня ропот, а завтра бунт, ваше высокопревосходительство. Когда нужно было — рабочие люди пустились сами своей платой, а теперь заказы и прибыли. Нужно вернуть рабочим, ваше высокопревосходительство, даденное ими временно.

Турчаковскому было известно, что говорят в цехах, как себя ведет сосланный доктор Родионов. То и дело в стране вспыхивали забастовки. Не миновали их и уральские заводы. Но ни с того ни с сего увеличить заработок было «не политично». Это могли истолковать как боязнь волнений, как задабривание рабочих.

— Не за чашкой чая решаются такие дела. Отдать деньги легче, чем их взять,— сказал управляющий.— Да и как я сам по себе ни с того ни с сего начну хлопоты?

Матвей Романович ушел ни с чем, а затем пришел на завод, где он по старости лет теперь не работал даже и почетным наставником, рассказал о своем посещении управляющего. Это вызвало шумное недовольство. Возмущались и самые кроткие, привыкшие безропотно гнуть спину. Ответ управляющего оскорблял их.

Вспыхнула забастовка. Вспыхнула стихийно, молниеносно и гневно...

VII

Перепуганный Турчаковский готов был тотчас удовлетворить требования стачечников, но это теперь наверняка означало бы крах его репутации. И он снова солгал, что все зависит от высшего начальства, перед которым он будет хлопотать, и сегодня же начнет добиваться справедливости. Схитрив таким образом, он просил рабочих вернуться в свои цеха.

Но ему не верили. Забастовка разгоралась. В Мильве появилась конная сотня. Прибыл батальон солдат. Затем еще рота. Стало известно о приезде вице-губернатора в сопровождении свиты и жандармов.

При наличии в Мильве войск Турчаковский мог, день-другой затянув, сделать вид, что ему великими трудами удалось добиться уступок

у большого начальства и, охладив пыл забастовщиков, найти золотую середину и остаться снова «хорошим баринном».

Но ретивый, ищущий славы, фанфаронствующий вице-губернатор грубо подавил забастовку, затем, арестовав главарей, превратил экономические требования в политическое недовольство.

Чувствуя себя здесь главным начальником, не посоветовавшись с изощреннейшей лисой Турчанино-Турчаковским, разгусарившийся вице-губернатор, делая глупость за глупостью, под угрозой нагаек загнал рабочих на завод и громогласно приказал арестованных зачинщиков привести к медведю.

«Привести к медведю» — это было крайним и жестоким наказанием.

В давние времена, когда Мильвой правил выходец из чужедальних земель по фамилии Бугберг, прозванный Бугаем, появился веселой души мастер из коренных пермяков — Северьянко. Этот самый Северьянко, прожив десять лет в соседней вятской земле, перенял там умение живой резьбы и заставлял липовый чурак жить шукой, голубем, тетеревом и кем он захочет. Хоть Миколой-угодником, хоть языческим идолом. Потому что в те годы хотя и крестили всех поголовно, а все же старики язычники не забывали своих старых богов и тайно заказывали Северьяну небольших идолов для домашнего обихода и для ношения в охотничьем мешке. Русские лесовики тоже не брезговали коми-пермяцкими божками, особенно идучи на большого зверя. Но главная работа Северьяна была церковной. Резал он запрестольных Христов, сидящих на троне, и стоящих Николаев-угодников. Попам в этих краях приходилось вышибать клин клином. Если уж крещеным идолопоклонникам никак нельзя обходиться без деревянных богов, то пусть молятся не кому-то, а резному из дерева Христу, раскрашенному красками.

Христов он создавал терпеливо, вдумчиво, не на одно лицо, а похожими на облик людей того рода-племени, которое молилось новому богу тем охотнее, чем больше в нем было родных черт. Случались поэтому скуластые, узкоглазые, черноволосые, темнокожие или, наоборот, бледнолицые с белыми волосами Христы-однодеревенцы.

Управитель Бугай, прознав о Северьянке, зазвал его к себе, чтобы заставить вырезать разные и всякие фигуры для украшения господского парка. Северьян, истомившийся на церковной скукоте, лихо взялся за живое дело и нарезал барину и лесных леших с дудками, и девиц-водяниц с рыбьими хвостами, и лосей, волков, и царя пермских лесов — большого веселого медведя.

Медведь шел по резной деревянной траве, по знакомым цветам и нес на своем горбу дуплянку, полную медовых сот.

Внимание к медведю некоторые из мильвенских старожилков объясняют и тем, что завод в старые годы назывался Медвеже-Мильвенским заводом. Назывался он так потому, что одна из трех рек, полнящих заводской пруд, называется Медвежкой.

Залюбовался Бугай медведем. Жалко стало такую диковину ставить в свой парк. Поведет еще на дожде клеенного зверя из многих липовых плах. А в доме — где же держать такую махину. И приказал Бугай литейщикам превратить деревянного медведя в чугунного, а до этого велел Северьянке смешливую медвежью морду сделать поцарственнее и позлей.

Говорят, что это не по душе пришлось Северьяну. Не хотелось ему портить дурашливого проказника. Но как можно послушаться барина. И он устранил медвежью морду, сделав ее чем-то похожей на управительскую.

И когда медведь был отлит, Бугаю показалось неудобным, что этот царственный зверь несет на своем горбу какую-то дуплянку с медом. Дуплянка была заменена литой медной позолоченой короной о десяти

зубцах. И когда корона была повернута на горб медведю, то захотелось, чтобы медведь шел не по бессмысленной траве и глупым цветам, а попирал бы своими лапами какое-то покоренное им чудище или идолище.

Северьянко понял, куда клонит Бугай, и не захотел резать под ноги медведю чудище, оскорблявшее его народ, а равно братские по языку и крови народы, прозванные в те годы обидным словом — чудь. Резцы в котомку, топор за пояс — и был таков.

Нашелся другой мастер. Из прислужливых. Монастырский чеканщик. Вычеканил он из красной листовой меди шкуру семиголового чудища.

Чеканную шкуру чудища приказано было положить на большой гранитный камень. Камень нашли за Камой и доставили двумястами лошадей, а затем установили на плотине как основание памятника Медвеже-Мильвенского завода.

Торжества открытия памятника начались поркой пойманного Северьяна и двух якорных мастеров, не исполняющих уроков.

С тех пор наказания плетью, розгами, кончавшиеся часто смертью, происходили у подножия памятника. «Привести к медведю» означало выпороть гласно и всенародно. К медведю приводили пойманных беглых, нерадивых, смутьянов, бунтовщиков, недовольных малой платой, и всех, кого находил нужным пороть очередной мильвенский управитель.

На этот раз к медведю привели организаторов забастовки во главе с доктором Родионовым. Среди них был и Санчиков отец — Василий Иванович Денисов, Терентий Николаевич Лосев, тогда еще совсем молодые Кулемин и Краснобаев. Был тут и уважаемый в Мильве мастер Емельян Кузьмич Матушкин...

VIII

На плотине расправы с рабочими происходили и потому, что сюда легко было закрыть доступ людям. Огражденная прудом с одной стороны и высоким забором завода с другой, она не требовала, как, например, базарная площадь, большой вооруженной охраны. Достаточно было поставить по взводу солдат в ее устьях, и плотина оказывалась изолированной от населения.

На этот раз она оберегалась особенно тщательно. Густой цепью солдаты стали вдоль ограды завода, до трех десятков лодок с жандармами охраняли плотину со стороны пруда. По улицам маршировали патрули. В примильвенских лесах появились новые воинские части. Были приняты все меры, чтобы показать обреченность мятежа, если бы его кто-то вздумал поднять.

На плотину были пригнаны зрителями «посписочные» рабочие, отобранные мастерами и начальниками цехов. Предстоящие события были продуманы до скрупулезности.

Вице-губернатор и жандармские чины стояли на дощатом, ночью сколоченном помосте. Заводские чины во главе с Турчанино-Турчаковским находились поодаль, по другую сторону медведя. Этим показывалось, что заводское начальство и управляющий не имеют отношения к расправе, а находятся в разряде «посписочных», вызванных сюда губернскими властями.

Перед медведем поставлены десять широких скамей, или кобылины с ремнями, которыми привязываются подлежащие порке. Под кобылинами аккуратно разложены ивовые прутья. Десятеро привозных здоровенных и уже подпоенных мужиков в бордовых рубахах находились у

вице-губернаторских подмостей, рядом с барабанщиками, которые будут заглушать возможные выкрики наказываемых.

Вызванные из цехов рабочие толпились за шеренгой солдат, образовавших прямоугольник. И когда все было готово, о чем доложил жандармский офицер вице-губернатору, им был дан знак чиновнику, чтобы тот прочитал приказ о наказании. Кому и за что и сколько ударов. Но в это время толпа зашевелилась и послышалось:

— Пропустите меня... Пропустите!

И все увидели невысокого старика с знакомой бородкой, с седой и все еще кудрявой головой, в царском жалованном кафтане. Послышались голоса:

— Это Зашеин...

— Это Матвей Романович... Пропустите его...

— Пропустите его к вице-губернатору.

И Зашеина пропустили. Он подошел к подмосткам и громко сказал:

— Ваше высокое вице-губернаторство... Меня не арестовали по недосмотру. А надо бы... Я ведь эту кашу заварил, мне ее и разваривать первому. Начинайте с меня!

Матвей Романович снял жалованный царский кафтан и при безмолвии всех постелил его на крайнюю скамью-кобылину.

— Что это значит? — недоумевал вице-губернатор. — Кто этот старик? — спрашивал он у свиты.

— Я Зашеин, ваша милость. Матвей Зашеин, тот самый, который позвал рабочих попуститься на время четвертаком и получасовой прибавкой, а теперь они, — указал он на стоящих со скрученными назад руками забастовщиков, — рассчитываются за это. Дайте рассчитаться и мне. Порите меня! — обратился он к мужикам в бордовых рубахах. — Больнее порите, чтобы до гроба помнил старый дурак и в могиле вспоминал, как верить господам на слово...

В эти минуты напряженного безмолвия заметно побледнели лица и некоторых солдат. Для них неизвестный старик был близок всем своим существом — от изработанных рук до прямоты его слов.

Кто знает, какие слова мог еще сказать Зашеин, если бы его не превративший рядом с ним перед вице-губернаторскими подмостками управляющий Турчанино-Турчаковский.

— Ваше превосходительство, — обратился он к вице-губернатору. — Не находясь физически в рядах забастовщиков, я внутренне был с ними. — И как бы признавая виновность, он опустил голову, тотчас вскинул ее, как бы утверждая этим свою правоту, и продолжил: — Ваше превосходительство! А что, собственно говоря, произошло? За что должны лечь на эти унижающие человеческое достоинство скамьи люди, которые требовали вернуть принадлежащее им... жертвенно и добровольно отданное ими во имя спасения своего родного завода до лучших времен? И эти времена пришли. Но деньги не были возвращены.

Турчанино-Турчаковский чувствовал оживление за своей спиной и принялся говорить так, будто не кто-то, а он возглавлял забастовку.

— В задержке возвращения наших денег повинна трудно и медленно проходима лестница, состоящая из чиновников, не всегда ревностных в своем служении государю императору и его верноподданным. И я буду требовать расследования этой непростительной задержки.

— Вы оправдываете бунт? — властно спросил вице-губернатор.

— Бунт? — сказал, удивленно разводя руками, управляющий. — Разве были допущены какие-то нарушения? Разве кто-то оскорбил хотя бы словом кого-то из должностных лиц? Разве были предъявлены какие-то недобропорядочные требования? Люди просили то, что им высочайше возвращено. Прошу вас прочитать только что полученную из Петербурга депешу.

Турчанино-Турчаковский с некоторой небрежностью победителя подал вице-губернатору телеграмму, и тот, прочитав, сказал примирительно:

— Поздравляю вас, Андрей Константинович! Поздравляю вас всех,— обратился он к присутствующим.

— Кажется,— снова стал говорить управляющий,— теперь уже не может состояться то, во имя чего нам было приказано явиться сюда.

Вице-губернатор ответил односложно:

— Да!

— Тогда кто же развяжет руки безвинно арестованным? — громко, чтобы слышали все, спросил Турчаковский.

— Освободить приведенных! — приказал вице-губернатор.

Мужики в бордовых рубахах кинулись развязывать руки арестованным.

Но на этом не закончилось фиглярство Турчанино-Турчаковского, он доводил до логического конца необходимую ему комедию.

— Ваше превосходительство, мы не требовали войск. Они пришли не по нашему зову. Благоразумная и верноподданная Мильва всегда умела решать свои споры без вмешательства оружия. Я прошу дать приказ ротам немедленно покинуть мирные улицы.

И приказ был дан. Трубачи затрубили сбор. Части наскоро построились и оставили Мильву. Другое дело, что все они разместятся в ближайших селах и будут пока проводить учения, но на улицах их нет.

Плотина пуста. Матвей Романович возвращался в кумачовой рубахе с расстегнутым воротом. Кафтан он оставил на кобылине. Его услужливо принесет ему заводской подлипала. А теперь Зашеин идет со своими дружками. Ему кланяются, говорят добрые слова, называют «родным Романычем», его благодарят женщины. Рабочие зовут его пройтись по улицам, показаться народу. Нельзя. Дома убивается по нем Екатерина Семеновна, и ей надо сказать: «Вот я, Катя, целехонек и без единого рубца».

Турчанино-Турчаковский тоже шел пешком на Баринову набережную. Искуснейшего комедианта провожали уважаемые рабочие, всем сердцем верившие барину, постоявшему за простой народ.

Одним из последних уходил Терентий Николаевич Лосев. Ему захотелось сплести памятную корзинку из лозы, приготовленной для порки. Отбирая наиболее гибкие прутья, он сказал увозившим скамьи-кобылины, указывая на медведя:

— Гляньте, ребята, а он ухмыляется, горбатый зубастик! Чему бы и над кем?

IX

Так было. Теперь узнаем, почему это произошло. Для чего понадобилось такое сложное и рискованное представление у медведя. Что предшествовало несостоявшейся экзекуции.

Подавление мильвенской забастовки угрожало перейти в волнения на соседних заводах: Ново-Медвежинском, Верх-Мильвенском и других, входящих в округ. Волнения могли превратиться, как предостерегал Турчаковский вице-губернатора, в мятежи со всеми страшными последствиями: потоплением в прудах, сжиганием в мартеновских печах, разгромом оружейных складов, казначейства, поджогами барских домов и неизбежной остановкой завода, выполняющего теперь военные заказы.

Поэтому-то Турчанино-Турчаковский накануне объявленной вице-губернатором порки разговаривал с ним в повышенных тонах. Вице-губернатор был ниже по чину управляющего и не выше по занимаемой

должности, что Турчаковскому тоже давало право разговаривать без особой учтивости.

— Милейший,— говорил он за утренним кофе,— вы должны понять, что после необдуманного подавления забастовки и вызывающе неизящного ареста главарей скопом, а не поодиночке, и с интервалами во времени и под различными предлогами, не имеющими отношения к забастовке, мы все же вынуждены удовлетворить их требования. И раз мы не можем оказаться сильнее, мы должны стать хитрее. Арестованных не только нельзя наказывать, но и нельзя далее содержать под арестом,— говорил он,— если мы не хотим пожаров, взрывов, убийств. Люди доведены до крайней степени решимости.

А вице-губернатор свое:

— Но как возможно отменить мое решение?

— Вы говорите «мое». Но ведь кроме «мое» да «свое» есть и государево,— наступал Турчаковский.— И не таким, как мы, приходится подчас попускаться «моим» да «своим» для блага престола и для целостности своей головы.

— Хорошо! Я согласен! — выкрикнул по-чижиному все еще гусарский на пороховом погребу титулованный болван.— Но как?

— Вот об этом-то «как» я и хочу поговорить,— заявил Турчаковский.— В игре, наполовину проигранной, мы обязаны, спасая положение, не пренебрегая никакими средствами, найти такой ход, чтобы власти уступили не уступив, а смилостивившись.

И этот ход был найден Турчаковским. Не кто-то, а он, оставшийся в Мильве, должен сыграть роль защитника рабочих и тем самым подняться в их глазах.

Для этой цели был приглашен довольно известный своими смелыми суждениями молодой поп из Никольской церкви, который должен был, появившись на плотине перед поркой, собой и принесенным с собой крестом заслонить приговоренных к наказанию, а затем произнести речь, утверждающую справедливость требований рабочих.

И после этой речи, также не согласный с наказанием безвинных, должен был выступить Турчанино-Турчаковский. Но негаданно-нежданно появившийся по собственной воле Матвей Романович Зашеин куда более выигрышно и естественно заменил подставного защитника из Никольской церкви.

«Гапоновщина» и «зубатовщина», которые останутся в истории, не были исключительными, частными явлениями. Предшественники и копии знаменитого священника-provokatora Гапона, естественно, возникали в различных краях огромной империи, потому что в этой разновидности подлости была необходимость у изолгавшихся правителей, вроде мильвенского управляющего, циника редчайшего даже в своей растленной среде.

Оказавшись в ореоле благодетеля, болеющего за свой завод и за своих рабочих, Турчанино-Турчаковский хотел выжать из этого хоть какую-то выгоду. После возвращения рабочим их четвертака ждали сокращения надбавленного ранее получаса к рабочему времени.

Управляющий теперь, войдя во вкус «единения» с рабочими, на сходке представителей цехов сказал так:

— Не знаю, как и быть с этими тридцатью минутами. В этом году, когда к семидесяти пяти копейкам прибавлена треть, двадцать пять копеек, едва ли можно ставить завод под угрозу и требовать принадлежские вам полчаса. Впрочем, решайте сами. Коли решите бастовать, будем бастовать... А если найдете возможным подождать несколько месяцев до нового года, то готов дать любые заверения, что в новом году эти полчаса будут возвращены.

Представители разошлись по цехам, посоветовались и решили ждать.

— А медведь-то опять ухмыляется,— повторил свой каламбур Терентий Николаевич Лосев.— Ему что... В завод не ходить, судовых корпусов не клепать.

— Это верно, Тереша,— согласился с ним Матвей Романович.— Но четвертак-то мы все-таки вырвали у него из пасти, да и забастовщиков от надругательства оберегли.

Добрая душа Матвей Романович Зашеин искренне верил, что это он своим появлением изменил ход дела у памятника. И как было бы горько старику узнать правду и увидеть себя маленькой пешечкой, случайно появившейся в чужой игре.

Хорошим человеком был до конца дней Мавриков дед Матвей Романович Зашеин. Добрая память сохранилась о нем в Мильве. «Мир праху твоему» — написано на нижней косой перекладине креста на его могиле. А надобно бы написать, что Матвей Романович жив миллионами обманываемых и чистосердечно заблуждающихся тружеников, как жива еще кое-где в новом хитросплетении старая мильвенская система порабощения, при которой куда более успешно вынуждают труженика становиться на путь примиренчества и соглашательства, неустанно уверяя его, что такой образ жизни есть единственно правильный и возможный.

Нет, прошлое Мильвы — это не для всех вчерашний день...

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

I

«Уметь! Помогать! Добывать! Зарабатывать!» — эти четыре слова вполне бы могли стать самым кратким и самым исчерпывающим девизом мильвенской детворы, за исключением разве только тех мальчиков и девочек, которых насмешливо называли «благородными».

Маврик был «не поймешь кто»: до «благородных» он не дотягивал, а «простым» тоже нельзя назвать. У него ведь нет никаких обязанностей, и он с утра до вечера может делать все, что ему захочется. Правда, у Санчика тоже нет домашних обязанностей, но это потому, что нет и дома. Денисовы живут в избушке-малушке у богатого дяди Миши. Дядя Миша маляр. Он ходит и красит по богатым домам. Ему везде доступ, везде вера. Не обманет, не украдет, потому что он не просто маляр, но и староста кладбищенской церкви. А его старшему брату Василию, Санчикову отцу, жить теперь не на что, хотя он и мастер первой статьи, которому доверяли самые чистые работы по окраске судов. Ревматизм заставил его покинуть завод и выйти на семирubleвую пенсию. И если бы не мать его жены, не бабка Митяиха, то пропасть бы Санчиковой семье с голоду. Сестры еще не подросли. За стирку Санчиковой матери платили мало, да и нанимали ее редко. Старшую сестру Санчика, Евгению, не отпускали мыть полы в богатые дома, хотя и звали. Она была очень красива и могла выйти замуж за жениха с домом. А поломойку, которая ходит по чужим домам, кто же возьмет замуж. Поэтому Женя училась шить, а пока метала петли настоящим швеям. И вся надежда семьи была на сухую, подслеповатую, с тяжелыми веками бабку Митяиху. Митяиха была соборной нищенкой, и ей полагалось хорошее место на паперти. У самых дверей, где могли стоять только старые нищие, которые христарадничали много лет и выжидали своей очереди в притворе, а остальные, не настоящие нищие, а просто так, побирушки, не имели постоянного места и канючили где придется.

Бабушка Митяиха имела право ходить по всем домам Мильвы. Таких было всего лишь пять нищих. А остальные могли просить мило-

стыню только на своих улицах, которые были разделены очень строго. Улиц в Мильве хотя и много, но нищих еще больше. Поэтому некоторым доставалась не вся улица, а половина. А Митяиха из перваков. Почти как мастер в цехе. Санчикова бабушка состоит в первом пятке. И ей, как и всякому из этого пятка, все остальные нищие платят каждое воскресенье «долгу». Можно деньгами. Можно кусками.

Санчик гордится своей бабушкой. С уважением относится к Митяихе и Маврик. Хоть и нищая, да не как все, а из главных. Поэтому ее внуку — любимцу Санчику — живется лучше всех в семье.

Федя и Коля Краснобаевы, как, впрочем, и другие, жившие в своих домах, выполняли многие обязанности. Мели двор, чистили у коровы и у лошади, натаскивали из колодца в огородные кадки воду для поливки, кололи и таскали дрова для русской печи... Делали все, что было под силу, а иногда и не под силу для мальчиков в восемь-десять лет. В эти годы они должны были уметь помогать взрослым. И это не только обязанность, но и гордость мальчишек.

— Санчик, мы тоже что-то должны делать. Нам пора зарабатывать, — убеждает Маврик товарища.

— А как? — спрашивает Санчик. — Может, железо рыть и продавать его Лудилке?

— А сумеем?

— А что тут уметь? Подумаешь, из шлаковой кучи железные куски доставать.

Эта идея — нарыть железо и продать его Лудилке — увлекает обоих мальчиков. И они вскоре становятся добытчиками железа.

И однажды Маврик, важный, серьезный, вошел в комнату, где тетя Катя шила дорогое заказное платье на своей старинной поповской машине. Маврик сказал, стараясь подражать Терентию Николаевичу, с хрипотой в голосе:

— Это тебе на сливочное масло, тетя Катя... Нынче оно тоже вздорожало...

Не сразу поняла Екатерина Матвеевна, что все это значило. Ей долго пришлось объяснять, откуда деньги. А поняв все, тетя Катя заплакала.

Сначала она плакала от стыда перед собой и говорила:

— Маврушечка, неужели же я тебе не покупаю сливочного масла? Его же целых два фунта в погребе на льду.

Потом она плакала от стыда перед другими:

— Что скажут, что подумают о нас... Лудилка теперь разблаговестит по всем улицам, что ты, мой единственный племянник, внук Матвея Романовича, роешься в шлаке, в мусоре с уличными мальчишками.

И, наконец, тетя Катя вместе с бабушкой плакали потому, что Маврик растет настоящим человеком, заботливым, будущим поильцем-кормильцем, как дедушка.

Когда все слезы были выплаканы, тетя Катя потребовала, чтобы Маврик дал честное слово больше не рыться в шлаке. Но Маврик сказал:

— Я хочу, как все мальчики, помогать семье.

Это было сказано серьезно. Глаза смотрели настойчиво. Он не заикался. И тетя Катя уступила.

— Хорошо. Только не каждый день...

II

С тех пор как милый, добрый Артемий Гаврилович Кулемин бывал с Мавриком на Гольянихе, где жили Киришбаумы, прошло не так много времени, но Илюше казалось, что это было давно, очень давно,

Да и Маврик терял счет дням. Едва ли Кулемину опять понадобится идти к Самовольниковым. В тот раз он отпустил им на новоселье обещанного пушистого сибирского котенка. Правда, пока Маврик рассказывал Илю о том, что произошло, а Иль жаловался, как скучно ему, Григорий Савельевич разговорился с Кулеминым, и оказалось, что Артемий Гаврилович может много сделать в свободное время для оборудования штемпельной мастерской. Григорий Савельевич очень просил Кулемина побывать у него. И он обещал. Обещал, но не шел. Может быть, не шел потому, что Григорий Савельевич обещал заплатить не так много.

Осторожный Киришаум наводил потом справки о Кулеmine, кто он такой и можно ли ему доверить точную работу. О Кулеmine все отзывались очень хорошо, и даже сам пристав Вишневецкий сказал, что это честнейший человек и отличный мастер. После такой рекомендации Киришауму можно встречаться с Кулеминым и поручить работы по металлу для штемпельной мастерской.

А время шло. Отец успокаивал Илю, что теперь остается всего лишь две недели и будет закончено переоборудование низа флигеля под штемпельную мастерскую и закончится ремонт верхнего этажа, где будет их квартира. Легко сказать — две недели. Это четырнадцать дней. Четырнадцать вечеров. Разве так много в лете дней, чтобы расшвыриваться временем, которое он может проводить с Мавриком и Санчиком? Там есть еще какие-то краснобаевские мальчишки.

Хватит терпеть. Хватит страдать. Иль задумал побег. Наслушавшись о побегах политических из Сибири, он знал, что для этого нужно заготовить сухарей, взять с собой самое необходимое и выбрать такое время, когда никто не заметит твоего исчезновения.

Бежать нужно было утром, когда мать и отец уходили на далекую Песчаную улицу, где происходил ремонт, а Фаня убежала с хозяйской дочерью к другим девочкам. Еще с вечера Иль отнес в огород наволочку с маленькой подушки, наполненную сухарями, и большой бумажный кулек с бельем. А утром, проводив отца и мать, он сказал сестре:

— Если ты можешь бегать с девочками, так почему я должен сидеть дома?

Фаня ничего не ответила и ушла с хозяйской Манечкой. Илюша пополз в огород, хотя можно было идти как всегда. Но тогда это не было бы побегом.

Прихватив в огороде наволочку с сухарями и кулек с бельем, Иль перелез через плетень. Теперь нужно было оглянуться, прислушаться — нет ли погони, не слышен ли топот копыт конной полиции.

Нет. Все тихо. Только жужжат шмели. Можно двигаться дальше до кустов, кустами пробраться в лес, а там... свобода.

Хотя Илюша и знал, что в центр Мильвы ближе всего идти по Старомощеной улице, но он также знал, что убегающий должен «петлять», чтобы «замести следы». И он стал «петлять» по лесу, все же не заходя слишком далеко, чтобы не заблудиться и не потерять из виду Мильву. Пройдя кромкой леса версту или более, Илюша стал думать о сухарях. Не много ли он засушил их? Это первое. Пригодятся ли они ему вообще? Это второе. Не повесить ли сухари на сук дерева для какого-нибудь беглого или заблудившегося в лесу человека? Это третье. Третье освобождало от груза, хотя и не тяжелого, но надоедливого. Однако он заставил себя почувствовать голод и тотчас же достал из наволочки несколько ржаных сухарей, размочил их в жестяной кружке, которая, как и ложка, предусмотрительно были положены в наволочку. Преотлично позавтракав на берегу ручейка тюрей, он повесил свой сухарный запас на сук и, довольный разлукой с ним, повторил отцовские

слова: «Животное заботится о себе, а человек обо всех, и тот, кто заботится только о себе, напрасно считает себя человеком».

Сказав так, Иль разуается и переходит вброд ручей, стараясь «петлять» по нему, выискивая наиболее глубокие места, потом с разбега выпрыгивает на берег как можно дальше, чтобы окончательно скрыть следы и оставить в дураках сыщиков, жандармов, приставов и своего отца.

И когда все это было проделано, Илюша, решив, что хватит «петлять», направился в центр Мильвы. Он знал, что центр там, где самая большая белая церковь, которая называется собором и которую видно отовсюду. Он также знал, что собор находится на Базарной площади, а от площади идет множество улиц и одна из них — Большой Кривуль. И если по этому Кривулю спуститься всего лишь один квартал, его пересечет Скворцовая улица. И на одном из ее четырех углов стоит дом, низ у которого кирпичный, верх деревянный, а крыша железная, ворота зеленые с медными кольцами, а у ворот большое бревно, на котором когда-то любил сидеть дедушка Маврика Матвей Романович. Все это Илюша незаметно выведал у отца, и теперь совсем было нетрудно найти дом. И он его нашел, ни у кого не спрашивая, чтобы не навлечь подозрения, потому что каждый мог оказаться сыщиком и задержать беглеца.

И вот Илюша перед домом Зашейных. Ему стоит повернуть кольцо калитки, открыть ее и — «здравствуй, Маврик»... Но Илюша стал искать лазейку в заборе. Лазейки не оказалось, зато было круглое отверстие, оставшееся после выпавшего из доски сучка. Прильнув к отверстию, он увидел бледного белоголового сухощавого мальчика с белыми бровями. Конечно, это Санчик. Он наверняка знает, кто такой Иль. Поэтому вполне можно было не кричать, а прошипеть в дырочку забора:

— Санчик, иди сюда.

И Санчик подбежал. И он не стал спрашивать: «Ты кто?» Он сразу узнал Илюшу и сказал:

— Это ты?

— Это я!

— Удрал?

— Спрашиваешь...

— Сейчас...

Санчик перемахнул через забор и шепнул Илюше:

— Иди за мной... Мы пройдем через краснобаевский огород, а там есть тайный лаз и подкоп.

Они шли крадучись, затем, нагнувшись, прошмыгнули под окнами, нырнули в «тайный лаз» и очутились на краснобаевском огороде, и снова поползли на четвереньках к подкопу, скрытому крапивой, через который, хотя и с трудом, но можно пролезть под забором и очутиться незамеченными на зашейнском заднем дворе, где одиноко стоял на якоре заброшенный пароход. Преодолев столько трудностей, они вползли в пароход. Там-то уж они в полной безопасности. Санчик очень доволен, что показал Илюше тайную дорогу и спас его...

Так ли будет радоваться Саша Денисов через восемь лет, встретившись с Илюшей на мельнице близ Омутихи? Как поражен будет он, узнав, что, арестованный белыми, Илюша бежал из-под конвоя тех, с кем он учился в одном классе, кто «плавал» вместе с ним на Мавриковом пароходе. И совсем неожиданным будет для Санчика, что Илья Киришаум, проходя под конвоем по Скворцовой улице, вспомнил о «тайном лазе» в краснобаевском заборе и молниеносно нырнул в него, а затем воспользовался тем же путем до подкопа, заросшего крапивой, и, петляя по огородам, скрылся не от воображаемой, а от действительной вооруженной погони...

III

Узнав о побеге сына, Григорий Савельевич, не раздумывая долго, отправился к Екатерине Матвеевне. Она, не зная, что Илюша прячется в пароходе за сараем, убежденно сказала:

— А где же ему быть? Конечно, он где-нибудь у нас.

И тут же, вместо того чтобы согласиться с Киришбаумом, возмущенным поступком сына, она обвинила не Илюшу, а отца. И повторила слова тех, кто убеждал ее не держать взаперти Маврика. Когда же Екатерина Матвеевна узнала, что Киришбаум хочет увести да еще наказать Илюшу, она взволнованно принялась защищать его:

— Вы не можете, вы не должны, Григорий Савельевич, разрушать веру мальчика в свои силы, в свою самостоятельность. Каким вы хотите вырастить его? Нет, я не позволю в моем доме...

— Но хотя бы убедиться, что он тут, я могу? — спросил Киришбаум. — Или я должен находиться в неведении, чтобы не разрушать его веры в свою самостоятельность между первым и вторым классом начальной школы?

В это время вошел Маврик. Ему понадобились нитки. Но по его глазам, которые ничего не могли скрыть, было ясно, что никакие нитки ему не нужны, что ему нужно проверить, зачем пришел отец Илюши. Поздоровавшись с ним, Маврик как бы между прочим спросил:

— Когда же придет к нам Иль?

Киришбаум, опустив голову, сказал:

— Может быть, никогда. Он сбежал.

— Куда? — старательно удивился Маврик.

— Не думаю, что в Америку, но не поручусь, что не в Африку. Он так любил рассказы об Африке. Но может быть, его еще задержит полиция. Его ищут сто полицейских и триста казаков. Всюду разосланы телеграммы. Я только что с почты и по пути зашел сюда.

Щеки Маврика горели счастливым румянцем. Вот здорово! Сто полицейских и триста казаков. А он тут, рядом, под сараем. И его не найдут даже тысячи полицейских и три тысячи казаков.

— А вы тоже ищите?

— Я? Нет, — ответил Григорий Савельевич. — Где я его могу искать? Разве что в твоём пароходе? Так он же не дурак, чтобы сидеть там.

— Конечно... Зачем ему там сидеть?.. Но если вам надо, вы можете проверить...

Теперь было совершенно ясно, что Илюша здесь. И Киришбаум, скрывая свою радость, сокрушенно спросил:

— А как ты, такой серьезный человек, не теряющий голову в эти тяжелые минуты потери друга, как ты думаешь, найдут его полицейские и казаки?

— Нет! Никогда! — почти выкрикнул Маврик.

— Ой! — простонал Киришбаум. — Ты убиваешь во мне последние надежды. — Тут Киришбаум вынул платок и приложил его к глазам. — Жив ли он? Жив ли мой единственный сын?

Чужие слезы и чужое горе могли заставить Маврика сделать все. И он, не удержавшись, сказал:

— Илюша жив!

Тогда Григорий Савельевич задал вопрос, который сам по себе напрашивался:

— А ты откуда знаешь?

— Я?.. Я? — стал заикаться Маврик. — Я так думаю.

— И я думаю только так же, — поддержала племянника Екатерина Матвеевна, не желавшая, чтобы он выболтал тайну. — Я так же уверена, что Илюшу не найдет никакая полиция и он будет скрываться до тех

пор, пока вы, Григорий Савельевич, не переедете на Песчаную улицу.

— Да! — крикнул Маврик и убежал, забыв о нитках, за которыми он приходил.

Вскоре ушел Киришбаум. Екатерина Матвеевна уговорила его согласиться, чтобы сын пожил у Маврика до понедельника, пока Киришбаумы переберутся на Песчаную улицу.

Вечером Маврик попросил разрешения у тети Кати переночевать в пароходе. И это разрешение было получено. А утром Екатерина Матвеевна спросила:

— Мавруша, ты, кажется, что-то скрываешь от меня? Неужели ты не доверяешь мне своих тайн?

— Свои доверяю. А чужие я не должен... Я не могу доверять их никому...

Тетя Катя не стала спорить. А Маврику очень хотелось раскрыть тайну, и он сказал:

— Но если ты поклянешься на мече, я тебе расскажу все.

— Конечно, поклянусь. Неси меч.

И меч был принесен. И на его рукоять была положена рука дававшей клятву, затем повторены слова, сказанные Мавриком: «Меч, меч, тебе голову сечь тому, кто клятву нарушит на море, на суше, на земле и под землей, на воде, под водой и всюду, везде и даже во сне».

— Теперь целуй меч, — потребовал Маврик.

Екатерина Матвеевна сделала вид, что она прикоснулась губами к мечу, после чего Маврик объявил:

— Илья сидит у нас.

— Какое счастье! Как хорошо! Зови его сейчас же пить чай...

Маврик помчался за Илюшей и Санчиком.

После чая Екатерина Матвеевна посоветовала Илюше переселиться в дом и очень серьезно предложила ему свою маскарадную маску с кружевами, закрывающими все лицо вместе с подбородком. Лучшего невозможно было придумать. Илюша, поняв, как это таинственно, сразу же после чая надел маску, и все ребята на улице спрашивали — кто это, кто? А вечером, когда снова появился Григорий Савельевич, Илюша прошел мимо него, и он, родной отец, не обратил внимания на сына, которого он так ищет. Как недогадливы бывают иногда такие взрослые и такие умные люди!..

Вскоре был закончен ремонт. Во флигеле пробит вход с улицы. Над входом большая вывеска. А на вывеске крупными золотыми буквами написано: «ШТЕМПЕЛЯ И ПЕЧАТИ». А ниже мелкими буквами: «Киришбаум и К⁰». То есть — и компания. Потому что это было предприятие не одного лишь Киришбаума, но и тех, кто точил ручки для штемпелей и печатей, тех, кто выполнял граверные работы, тех, кто поставлял штемпельную мастику, и тех, кто под маркой компаньонов будет на законном основании, не прячась от полиции, работать в подпольной типографии.

Заказы пока не выполнялись, а лишь принимались Анной Семеновной. Сам Киришбаум и кое-кто из К⁰ уехали в Пермь за шрифтами, сырой резиной и оборудованием.

Илюша явился на Песчаную улицу в маске, чтобы заказать штемпель с таинственными буквами МИС. Этими тремя буквами, соединенными в одно слово, начинались имена трех товарищей, трех верных друзей. И когда заказ на штемпель был принят, Илюша сбросил плащ и снял маску.

Санчик и Маврик, стоявшие за дверью, знали, что с Анной Семеновной будет плохо, захватили с собой нашатырный спирт и, появившись в мастерской, привели ее в чувство...

Плохое время года осень. Ее никогда не полюбит Маврик. Но в эту осень был очень хороший день. Маврик встретил такую девочку, каких нельзя встретить и на картинках в самых дорогих детских книжках. Он не знал этой девочки, а она знала его. Она первая подошла к нему и назвала по имени.

Это было на той же Скворцовой улице. Маврик любовался красной рябиной, которая росла напротив краснобаевского дома в поповском палисаднике. Эту рябину можно было уже есть. Дать ей только немножко подвянуть на погребке, и она «посластеет». Так уже делали Федя и Коля в прошлом году. Они же говорили, что рябина слаще меда после первого заморозка, но тогда ее не остается. Съедают птицы.

Пока размышлял Маврик о рябине, пока он придумывал, на что можно выменять у поповского сына Левки рябину, послышался тоненький, тоньше птичьего, голос:

— Здравствуй, Маврик!

Маврик оглянулся. Перед ним стояла очень красивая и очень маленькая седая женщина, а с ней девочка. Обе они были в осенних пальто из одинаковой серой, мышиноного цвета, материи. И обе они улыбались. И обе походили на волшебниц.

— Маврик, разве ты не узнал меня?

— Нет,— ответил Маврик.

— Маврик, разве ты не помнишь елку в общественном собрании?

— Помню. Я хорошо помню, как я там был.

— Тогда ты должен помнить девочку, которой ты привязал к косе блестящую ниточку из золотого дождя с елки.

Маврик старался вспомнить и не мог.

— Нет, я не помню...

— А я помню,— сказала девочка.— И буду помнить всегда.

— И я буду помнить,— сказала нестарая старушка.— Это было очень мило с твоей стороны.

— Пожалуйста, приходи к нам,— пригласила девочка.— Меня зовут Лера. А это моя бабушка.

Маврик шаркнул ногой и раскланялся, как учили его в школе Александры Ивановны Зотовой. Он не протянул первым руку. Этому тоже обучили его.

— Ну право же, ты настоящий кавалер,— сказала бабушка девочки, назвавшейся Лерой.

Далее у Маврика не хватило небольшого запаса вежливости, полученного у Зотовой и порастерянного в Мильве, и он спросил:

— А где вы живете?

— Твоя тетя скажет тебе, когда ты назовешь ей нашу фамилию — Тихомировы.

— Генералы?

— Положим, не все, а только Лерочкин дедушка.

— Спасибо,— поблагодарил совсем тихо Маврик и еще тише сказал: — Я, может быть, приду... Я наверно приду,— добавил он, глядя на такое красивое, на такое нарисованное, на такое сказочное лицо Леры.

— У тебя с тех пор немножечко потемнели волосы.— Лера потрогала его кудри, улыбнулась и сказала: — Приходи. У меня два брата. У них есть ослик...

Это решило все.

— Обязательно приду... Обязательно, Л-л-лера,— слегка заикаясь, назвал он впервые это имя, которое стало теперь самым красивым из всех имен.

Бабушка и внучка простились с Мавриком и пошли дальше. Маврик остался под рябиной в поповском палисаднике. А из окна краснобаевского дома смотрели два печальные глаза Тонечки Краснобаевой...

V

— Ты обязательно, ты обязательно, Мавруша, должен нанести визит Тихомировым, если тебя приглашала сама генеральша,— говорила Екатерина Матвеевна, радуясь, что племянник будет принят в таком благородном и закрытом почти для всех доме.

Был доволен и Маврик, хотя и не знал, что такое визит и почему его надо нанести. Вскоре выяснилось, что визит — это значит сходить ненадолго в гости, а почему визит наносят, как наносят оскорбление, удары, тетя Катя тоже не знала.

Но раз наносят — значит, наносят. И Маврик его с радостью нанесет. Затем стало известно, что таким господам, как Тихомировы, визит нельзя наносить пешком, потому что они дворяне.

В слове «дворяне» Маврику слышалось нечто унижительное. Когда ученик получал двойку, то ему говорили, что из него вырастет «дворянин с метлой». Когда хотели унижить собаку, ее называли «чистокровной дворянкой». А тетя Катя слово «дворяне» произносит почему-то с таким уважением. Наверное, так надо.

Маврику было сказано, что в воскресенье утром его повезет носить визит Яков Евсеевич Кумынин. Потому что возьмет он недорого, и у него появилась новая тележка с крыльями от грязи и с кожаным сиденьем.

Подготовка к визиту началась в субботу. Тетя Катя сшила новый костюм, накрахмалила обшлага и воротник, купила пышный, тоже голубой, бант с крупным белым горохом, кудри подравнены у парикмахера, а затем вымыты в двух водах и надушены одеколоном «Саддо-Якко». Маврик твердо заучил тихомировские имена и пообещал, что не скажет ни одного лишнего слова, что в гостях он будет не более получаса.

Дверь у Тихомировых открыла горничная, и Маврик выпалил ей:

— Маврикий Толлин. Прошу доложить.— Все, как было велено.

— Да зачем же докладывать, мы тебя и без доклада вторую неделю ждем.

Послышались голоса. Среди них он различил тонюсенький голосок Леры. Маврика провели в гостиную, генеральша поправила смявшийся бант. Все ему очень понравилось, и так было жаль, что генерал не носил эполеты, а был просто в тужурочке и даже без галстука, как Иван Макарович Бархатов. Валерий Всеволодович тоже оказался какой-то не такой. Он даже не походил и на серьезного человека. Шутил и смеялся. Показывал фокусы. Р-раз — и полная коробка спичек. Р-раз — и она пустая.

Маврику показалось, что никто не заметил и не заметит, если он не скажет сам, что под окнами его ждет лошадь. А ему хотелось, чтобы все знали об этом. И, конечно, Лера. Поэтому Маврик подошел к окну и, приподнявшись на носки своих новеньких желтых башмаков, заглянул на улицу.

— Ты что, мой дружок? — спросила его Лерина бабушка Варвара Николаевна.

Маврик ради этого вопроса и заглядывал в окно. И он небрежно ответил:

— Хотел проверить, не ушла ли лошадь, на которой я приехал.

Валерий Всеволодович, смеясь, чуть не упал со стула. Почему-то

улыбнулась и Лера. Не смеялась только бабушка Варвара Николаевна. Она очень серьезно спросила:

— А если и ушла твоя лошадь, что тогда?

— Ничего тогда, но все-таки,— ответил Маврик, не зная, что нужно было сказать.

— Вот что,— сказала тогда Варвара Николаевна,— спустись и скажи уважаемому Якову Евсеевичу Кумынину, что ты просишь его не затруднять себя и не мокнуть под дождем, потому что ты остаешься у нас на весь день. И попроси извинения за то, что ты заставил его ждать...

— Хорошо. Я сейчас.

— Нет, нет... Мамочка, разве можно посылать гостя! Я сбегаю сам.— Тут Валерий Всеволодович быстро выбежал, и было слышно, как он мчался по лестнице.

Маврик почувствовал — что-то не так. Что-то было неправильное не только в его приезде на лошади, но и в ожидании Якова Евсеевича под дождем. И это подтвердилось, когда Валерий Всеволодович вернулся с Кумыниным и, проводя его в комнаты, сказал:

— А я не знал, что ты мокнешь на улице. Давай по одной. У меня к тебе охотничье дело...

— Давай. Я всегда рад стараться,— ответил по-свойски Яков Евсеевич.

— Прошу извинить меня, Маврик,— раскланялся, хитро-прехитро улыбаясь, Валерий Всеволодович и, обняв, увел Кумынина к себе.

Варвара Николаевна внимательно следила за лицом Маврика, по которому пробегала то обида, то стыд, то признание чего-то, и, наконец, он, обратившись к Варваре Николаевне, сказал:

— Тетя Катя это сделала для уважения к вам. Ведь вы же дворяне!

Варвара Николаевна обмерла. Она открыла рот, потом бросилась к Маврику. Ей стало так понятно, что не тщеславие заставило его приехать на лошади Кумынина, а уважение к Тихомировым вынудило Екатерину Матвеевну прибегнуть к этому параду.

— Нет, не я и не Валерий,— начала говорить она,— преподали тебе урок хорошего тона, а твоя прямота, правдивый мальчик, заставляет нас об очень многом подумать.— И затем, обращаясь ко всем, она продолжала: — Извозчик — это извозчик. И если Якова Кумынина унижает его приватное извозчицье занятие, то кто мешает ему не жадничать и заниматься только его прямым делом. Ведь он же кузнец. А если ему нужны легкие рубли, то нечего обижаться, что ему приходится сидеть на облучке. Ведь если бы Маврик приехал просто на извозчике, то никому бы не пришло в голову упрекать мальчика за то, что тот его ждет.

С этого часа у Маврика появился новый друг — Варвара Николаевна Тихомирова. Как знать, может быть, когда-нибудь он будет называть ее бабушкой. Милой бабушкой.

VI

Потом Лера играла на рояле. И, наверно, хорошо играла. Но Маврик не очень любил музыку, кроме разве гармошки. Та пела, плакала, смеялась. А рояль что-то хотел произнести, но не мог выговорить, потому что у него не было голоса, а только струны...

На ослике прокатиться тоже не удалось. Шел дождь. Решили поиграть в короли. Как раз было четверо: Маврик, Лера и ее два брата — Викторин и Владислав. У Тихомировых все имена начинались на букву «В».

Теперь Маврик знал их всех. Но Тихомировым нужно дать понять,

что он тоже не из простых. Поэтому Маврик решил сказать Варваре Николаевне, чтобы слышали все:

— А ведь я мещанин города Перми.

— И очень хорошо,— сказала Варвара Николаевна и, кажется, обрадовалась услышанному. А Валерий Всеволодович снова хохотал. Ему, кажется, достаточно показать палец, и он будет смеяться. Но просмеявшись, он сказал:

— А я думаю, что ты из рода князей Барклай-де-Толли и не знаешь этого,— и снова улыбнулся.

Тут Маврик вспомнил, как бабушка Толлихина сказала ему однажды, что придет время и Маврик узнает, какую знаменитую фамилию носит он. И, кажется, бабушка назвала слово «Барклай».

— Может быть,— ответил Маврик Валерию Всеволодовичу.— Бабушка тоже говорила что-то такое... Но мне все равно.

Шутка Валерия Всеволодовича приняла неожиданный поворот. Провожая Маврика до дома, он повторил ему совершенно серьезно, что его фамилия имеет прямое отношение к фамилии Барклая-де-Толли. Только он недосказал, какое именно отношение. Не договаривала об этом и пермская бабушка. Тихомиров предположил, что фамилия Маврика пошла от прозвища крепостных, принадлежавших Барклаю-де-Толли,— Толлины. Толлины мужики. Толлины крестьяне. По принадлежности тем или иным господам возникали многие крестьянские фамилии. Например, в Прикамье уйма крестьянских фамилий Строгановы. Эту версию они считали безусловной и потому, что фамилия Маврика с двумя буквами «л» не могла быть фамилией русского происхождения, тогда бы она звучала просто Толин, но не Толлин.

Вернувшись домой, Маврик стал спрашивать про князя Барклай-де-Толли. Екатерина Матвеевна долго вспоминала, где она слышала это имя. И вспомнила только вечером. А вспомнив, нашла потрепанную книжку, которая называлась «1812 год». В книжке был портрет Барклай-де-Толли.

Маврику стоит подумать, кем ему быть, когда он подрастет. Стать фельдмаршалом и скакать на коне вовсе не так плохо. Конечно, это опасно. Могут убить, и некому будет поить и кормить тетю Катю, но зато Лера очень обрадуется, когда узнает, что Маврик решил стать полководцем.

Но это пока нетвердо. А сейчас нужно спать.

Во сне прилетела милая желтогрудая, с белыми щечками птичка. Это большая синица. Здесь ее ласково называют Кузей... Кузькой... Кузнецом.

Кузя сел на спину кровати, отряхнулся и сказал голосом Илюши Киршбаума:

— И когда только ты перестанешь забивать себе голову всякой чепухой? И вообще лучше бы ты не ходил к Тихомировым...

Но это теперь уже невозможно. И не потому, что первая детская привязанность к Лере будет манить его к Тихомировым. Каждый из них по-своему интересен и приятен.

Бабушка Варвара Николаевна, отдав дань поискам путей к счастью народа, перечитала все доступное ей — от утопистов до революционных демократов, решила для себя, что высокие общественные основы начинаются с высоких нравственных начал личности. Насаждать благородное, воспитывать в человеке хорошее и есть главнейшая из сил переустройства общества.

Наивная убежденность бабушки переделать мир только проповедями и личным примером служения добру не вызвала возражения у окружающих, но и не стяжала сторонников. Варвару Николаевну безогово-

рочно любили такой, какая она есть. Любили внуки, любили дети, обо-
жал муж.

Всеволод Владимирович Тихомиров в свое время сочувствовал ран-
ним народникам. Жизнь на Омутихинской мельнице, дававшей только
убытки, можно назвать своеобразными народническими попытками об-
щения с народом. Однако Всеволоду Владимировичу очень скоро стала
ясна несостоятельность народнических иллюзий. И он, став на путь ли-
берала-одиночки, либерала-просветителя, решил для себя, что знания,
образованность изнутри взорвут общественные противоречия и естест-
венно изменят жизнь. А как именно — он представлял себе не более,
чем Терентий Николаевич Лосев.

Эти два несоизмеримые по знаниям человека, находясь на несравни-
мых уровнях, все же были похожи друг на друга, как похожи два по-
добные треугольника, если даже один из них грандиозен, а второй
очень мал.

Старик Тихомиров принадлежал к тем военным, для которых про-
фессия была случайной, много знал и очень много читал. Главные труды
Маркса и Энгельса, как впрочем Канта и Гегеля, им были прочитаны в
оригинале. Для него немецкий был вторым родным языком. Он восхи-
щался Марксом, преклонялся перед Энгельсом, и тем не менее написан-
ное ими было для него всего лишь одной из точек зрения, которая может
и восторжествовать, но конечно не в России, а там, где уже не едят из
общей чашки, не моются в курных банях и не кичатся лаптями, предпо-
читая их кожаной обуви. Всеволод Владимирович любил Россию и рус-
ский народ, но не верил, не мог поверить, как бы он этого ни хотел, что
его страна выйдет в первый ряд. В это не мог верить не один он, но и
многие, очень многие хорошие и по-своему передовые люди, верные сыны
своей бесконечно дорогой отчизны.

Дети Тихомировых, воспитанные в духе неприязни к самодержавию,
нашли свои способы борьбы с ним. Старший, Владимир, отец Леры
и ее братьев, народоволец, был приговорен к каторге. Убедив оттуда, он
пропал без вести.

Неизвестно, каким путем пошел бы второй сын, Валерий, если бы не
счастливая встреча с механиком по дизелям. Студента Тихомирова пора-
зила простота и ясность суждений нового знакомого о сложных вещах
и явлениях, казавшихся неразрешимыми. Знакомство с механиком про-
должилось дружбой. Они сблизились настолько, что Валерий Тихоми-
ров был представлен Ленину.

Совсем не таким представлял Тихомиров Владимира Ильича. Это
было удивительное излучение простоты и ясности. Это был человек, за-
ставляющий мыслить, видеть, понимать.

Прошло не так много дней, и Валерий Тихомиров решил для себя,
что на свете есть и могут быть только две партии. Это партия порабо-
щенных и партия поработителей. А остальные, как бы они ни назывались
и какими бы они ни притворялись, не имеют самостоятельного значения.
Они либо сопутствуют, либо прислуживают.

Для Тихомирова стало так бесспорно, так ясно, что партия порабо-
щенных, партия большевиков, партия Ленина — не просто союз едино-
мышленников, а рожденный самой жизнью авангард нового общества.
Нового общества, также не придуманного кем-то, а такого же неизбеж-
ного, каким был феодализм, капитализм...

Теперь для Тихомирова марксизм предстал наукой о законах разви-
тия общества. Быть марксистом, состоять в одной партии с Владимиром
Ильичем — это значило для Тихомирова помогать рождению нового
общественного строя, готовить людей к встрече большой весны, ускорять
ее приход. Большевик — это не искатель, а проводник найденного, откры-
того, увиденного в грядущем.

Стоит ли ради этого жить, а если понадобится, то и отдать жизнь? Для Тихомирова на этот вопрос один ответ. И он отвечает, став не только большевиком, но и профессиональным революционером, таким же, как и его друг, механик по дизелям, которого мы знаем теперь как сапожника Ивана Макаровича Бархатова.

Если бы знал об этом пристав Вишневецкий! Какой бы чин, какую бы медаль-размедаль получил он! Подумать только, сапожник и генеральский сын, столбовой дворянин. Такие разные, такие далекие друг от друга люди, как благостный, бородатый, пузатый старик Матушкин, тронутый рыбной ловлей Артемий Кулемин, предприимчивый штемпельщик Киршбаум, такая тихая и такая жалостливая Варвара Емельяновна, стремящаяся вылечить безнадежный зуб, борются вместе с Тихомировым и Бархатовым в глубоком подполье, представляя собою, пусть малое, звено пока еще не столь многочисленной партии, но партии, которая вскоре поведет за собой миллионы тружеников.

Часть вторая

ПЕРВАЯ ГЛАВА

I

Пятнадцатого августа кончалось школьное лето. В земском складе — бойкая торговля учебниками, сумками, ручками, карандашами, школьной бумагой, из которой ученики сами сшивают тетради — это дешевле. Маврик тоже готовится к учебному году.

У него хороший ранец, а в ранце — книги, пенал, коробка для завтрака, бутылочка для молока. Там же и электрический фонарик, подаренный папой в Перми. А вдруг пригодится фонарик! Его можно показать мальчишкам во втором классе. Интересно же им, как горит маленькая электрическая лампочка.

В первый школьный день Маврик встал рано. Поминутно смотрел на часы, чтобы не опоздать. Ждал Санчика — он идет в первый класс и уже знает все буквы и немножко читает по складам. В ненастные дни Маврик был его учителем, а он — учеником.

На улицах Мильзы ватаги школьников. Им тоже еще рано в школу, и у них еще есть время поколотить ребят из соседней школы на Купеческой улице или быть побитыми «купчатами».

Чинно проходят по улице ученики в фуражках городского училища со значками «ГУ», их дразнят: «гуся украл». Их недолюбливают сверстники, у которых после трех классов начальной школы кончилось образование. А эти «гуся» будут учиться еще четыре года и выучатся на табельщиков, чертежников, конторщиков, разметчиков. Хоть и не выйдут в господу, а все-таки не свой брат, не мастеровая молодежь.

Съехались техники — ученики мильвенского механико-технического училища. Это взрослые люди. Многие с усиками. В техническое училище принимают после городского училища. Самому младшему из них шестнадцать лет. Они в настоящей форме. Тужурки с золотистыми пуговицами. Фуражки с кантами и со значком, на котором скрестились молоток и французский раздвижной ключ.

Техники проходят всегда по Купеческой улице, даже если им не по пути. Там женская гимназия, и у них много знакомых гимназисток. Говорят, что некоторые гимназистки — семиклассницы, восьмиклассницы — уже настоящие невесты, пообещавшие выйти замуж за техников. Им уже по семнадцати, а то и по восемнадцати лет. Таких венчают. Маврику тоже хочется пройти мимо женской гимназии. Ему может встретиться

Лера. Она же гимназистка первого класса, и неплохо с ней поздороваться и показать, какой у него ранец.

— Давай, Санчик, пойдем в школу через Купеческую улицу,— предлагает Маврик.

— Давай,— как всегда, отвечает согласный на все Санчик.

И они идут.

На Санчике старая Маврикова курточка. Он в сапогах. И большинству мильвенских школьников покупаются сапоги. Не по ноге. С запахом. Чтобы хватило «на всю школу», то есть на все три года обучения.

Коле Краснобаеву тоже купили новые сапоги. Он их начистил ваксой. Здорово блестят.

Санчик и Маврик шли медленно. Лера не встретила. Решили вернуться. Потом снова вернуться, и, наконец, Санчик сказал:

— Вон она. Я отбегу...

Лера шла в синем форменном платье, в белом фартуке, с белым бантом в косе и несла большой букет цветов.

— Здравствуй, Маврик. Какой ты нарядный! — Лера продела в петлицу его куртки большую садовую ромашку и сказала: — А эту, вторую, твою товарищу, который почему-то стесняется.

— Спасибо, Лера... А я нарочно пошел по этой улице, чтобы увидеть... Чтобы посмотреть,— слегка заикнулся Маврик,— как идут гимназистки в гимназию. Добро пожаловать! — сказал он ей, не зная, что говорят в таких случаях, и убежал.

Санчик и Маврик появились у ворот своей школы. Ворота еще не открывались, а возле них уже гудел рой ребят. Знакомых оказалось мало.

— Здравствуйте! — поклонился всем Маврик.— Я тоже буду учиться в этой школе.

В ответ раздался хохот. Затем для первого знакомства была выдернута из петлицы ромашка, подаренная Лерой, а затем получен первый синяк.

Маврик лежал ничком в крапиве, его белый воротник был вымазан чернилами. Чернила школьники приносили с собой в пузырьчках, привязанных на веревочках к поясу.

Открылась калитка. Гурьба школьников, сбивая один другого, кинулись на школьный двор. Маленький тесный дворик едва уместил сто с лишним школьников трех классов кладбищенской церковноприходской школы.

Потом открылись двери школы. Снова давка. Школьники разбрелись по своим классам. Первоклассники еще не знали, кому и с кем сидеть.

Ученик второго класса Маврикий Толлин вошел последним. Он тоже не знал, куда ему сесть. Измазанный, с синяками на лице, в обрызганном чернилами кружевном воротнике, держа в руках ранец, ремни которого были оторваны, он стал возле печи.

Вошла учительница Манефа Мокеевна. Полная. Приземистая. Седящая, с сердитым лицом.

Все встали. И она, не сказав школьникам: «Здравствуйте, дети» или просто «Здравствуйте», как это делали все учителя в школе Зотовой, обратилась к Маврику:

— Ну что ты стоишь как казанская сирота?

Класс громко и пронзительно захохотал. Класс хотел дать прозвище Маврику, и оно нашлось. «Казанская сирота»! Ха-Ха! В самый раз.

— Я не знаю, куда мне можно сесть,— поклонился Маврик и добавил, еще раз поклонившись: — Здравствуйте, Манефа Мокеевна.— Ее имя он знал еще летом. И знал, что она злая, потому что ее никто не взял замуж.

Манефа Мокеевна никогда не любила школы, детей и самой профессии учителя. Но нужно было что-то делать в жизни, кем-то быть. И она,

сестра урядника, где-то и чему-то подучившись, стала учительницей. вымещающая на детях свою злобу за неудавшуюся жизнь.

— Хорош хваленый груздь,— сказала Манефа Мокеевна, осматривая Маврика.— Еще за парту не сел, а уж в синяках и царапинах. Где ты так измазаться успел? Кто тебя?

С задних парт Маврик увидел поднятые кулаки. В его ушах еще слышались слова: «Наябедничай только, ябеда-беда, не так причешем».

Манефа Мокеевна ждала, что Маврик назовет своих обидчиков и те добавят ему после школы, и она повторила:

— Кто же? Говори! Они посидят у меня без обеда.

— Никто,— ответил Маврик.— Я сам.

— Значит, трусишь говорить правду своей учительнице, Мартын Зашеин.

В классе снова раздался угодливый хохот.

— Я... я... не Мартын и не Зашеин,— волнуясь, возразил Маврик.— Я ученик второго класса Маврикий Толлин.

Теперь хохотала и сама учительница. Но все же скоро поняла, что ее поведение находится за чертой допустимого, и она, силясь улыбнуться, положила на плечо Маврику свою широкую короткопалую руку и сказала:

— Иди, я посажу тебя, кружевной ангелок, на первую парту.

И посадила.

II

Для первого дня, проведенного в школе, Маврику достаточно было и трех прозвищ, подсказанных учительницей: «казанская сирота», «хваленый груздь» и «кружевной ангелок». Кроме них у него появились и другие: «Зашей, продай вшей», «Маврикий-заикий», «Желторотый скворец».

Обо всем, что произошло сегодня в школе, Маврик рассказал тете Кате и бабушке.

Обе они плакали. Прикладывали серебряные полтинники к синякам на лице Маврика. А потом стали советовать — как быть дальше.

Снова вырuchил Терентий Николаевич. Он сказал так:

— Катенька, Катерина Матвеевна. Одно из двух: ежели вы хотите пускать парня по барчуковой стезе, тогда нанимайте ему домовую учительницу, как у господ. А ежели он будет жить, как все, тогда стригите его под первый номер, обуйте в сапоги, наденьте на него «обнаковенную одежду», и он не будет белым голубем в стае сизарей.

Примерно так же сказал тихий и разумный сосед Артемий Кулемин. Он хотя и был «приведен к медведю» после пятого года, хотя и побывал в Сибири, но вернулся оттуда неизвестным.

Никто не знает, что ему, как и Тихомирову, посчастливилось встретить того же доброго друга. Страна огромна, да дороги не столь часты. Вот и встречаются люди. До последних дней держат связь старые друзья. Хитра почтовая цензура, но на всякую хитрость находятя уловки.

Артемий Гаврилович Кулемин диктует письма жене, а она посылает их в Пермь прачке ночлежного дома Сухаревой. А Сухаревой диктует письма Иван Макарович, которые до того скучны и безрадостны, что всякий чиновник, читающий их, не доходит и до пятой строки. А Кулемин, Киришаум и Матушкин по три, по четыре раза перечитывают их, не оставляя непонятым ни одного иносказания Бархатова о работе мильвенского подполья.

Кулемин давно признан умным и хорошим советчиком не только на своей улице, но и на заводе.

— Екатерина Матвеевна,— сказал он,— Манефа-урядничиха стоит хорошей пеньковой петли. Зря она родилась, простите на слове, бабой. Ей бы в самый раз быть палачом. Порола бы с оттяжкой и с удовольствием. Конец она свой найдет. А пока что надо ладить.

— Уж не на поклон ли идти к этой...— не договорила Екатерина Матвеевна, не найдя нужного слова.

— На поклон не на поклон,— сказал Кулемин, добродушно улыбаясь, опуская свои умные серые глаза,— а кость бросить надо. Сшейте ей что-нибудь в знак благодарности...

— За что?

— За материнскую заботу о вашем племяннике... Затравит ведь,— сказал Кулемин и перевел разговор на другое.

Очень обидно было Екатерине Матвеевне идти к Мансфе, но в словах и в глазах Кулемина была правда. «Надо бросить кость».

Сапоги Маврику были куплены в сапожном ряду. Скроить, сшить «обнакновенную одевку» из чертовой кожи для Екатерины Матвеевны было делом дня. Что же касается Манефы, ей было сказано так:

— Манефа Мокеевна, вы были разборчивой невестой, и я была разборчивой невестой. Вы не захотели выходить замуж, и я не захотела. Вам трудно живется, и мне нелегко.

И неожиданно для Екатерины Матвеевны Манефа прослезилась.

— Не хотела я обижать вашего мальчика,— вдруг перешла она сразу к делу, поняв, зачем пришла к ней эта степенная, всеми уважаемая Екатерина Зашейна,— да сатана во мне верх берет.

— Это и со мной случается,— покривила душой Екатерина Матвеевна.— Не надо поддаваться ему, Манефа Мокеевна. Не надо, ну да не мне вас учить...

Екатерина Матвеевна без обиняков стала говорить о плохом осеннем пальто Манефы, о малом жаловании в церковноприходских школах и о том, что Маврик неусидчив и плохо пишет, что ему нужно терпеливо внушать, как важно научиться выводить буквы. А так как научить этому Маврика нелегко, Екатерина Матвеевна решила сшить терпеливейшей из терпеливых учительниц Манефе Мокеевне модное и солидное пальто, сукно для которого давно уже куплено.

— Я стеснялась предложить это вам, Манефа Мокеевна, летом... Я не знала, какая вы простая и сердечная женщина... А теперь я вижу...

— И я ведь не знала, какая вы, Катенька,— сказала Манефа, проверяя по лицу Зашейной, не оскорбляет ли ее употребление слова «Катенька» вместо полного имени с отчеством.

Но Екатерина Матвеевна постаралась не обратить внимание на укорочение имени. Для Маврика она готова попустить и не этим.

И положение Маврика в школе круто переменялось. «Урядничиха» не отличалась деликатностью. Жизнь Маврика в школе стала невыносимой.

III

Из Перми пришла телеграмма, и Екатерина Матвеевна сказала:

— Завтра, Мавруша, они приедут.

Маврик радовался предстоящей встрече с матерью. Радовался и опасался:

— А где я теперь, тетя Катя, буду жить?

Этот вопрос давно беспокоил Маврика, и было видно, что мальчик спросил не просто так и не между прочим. Он знал, что для папы и мамы прибран нижний этаж. Там теперь очень чисто. Стены оклеены «веселенькими обоями из не очень дешевых», поставлена мебель. Столы,

стулья, шкафы, большая кровать. Кровать Маврика оставалась наверху. Екатерина Матвеевна и сама не знала, где будет жить Маврик, и уклончиво ответила:

— И тут и там...

«Лучше бы тут, а не там»,— сказал про себя Маврик и не стал больше спрашивать, понимая, что сын должен жить с матерью, но все же, на всякий случай, заметил:

— Лучше бы не стеснять маму... Она же будет болеть после маленького.

Екатерина Матвеевна покраснела, но сделала вид, что не расслышала этих слов. Улица, семьи, в которых бывал Маврик, простота нравов во многое посвятили Маврика. Его уже не следовало переубеждать. Поняла это и мать Маврика при встрече с ним. Он робко подошел к ней, не спуская глаз с ее большого живота, и тихо, почти шепотом, сказал, целуя ее:

— Здравствуй, мамочка... Ты сядь, тебе трудно стоять,— и заплакал.

Слезы потекли сами собой, а почему, Маврик не знал. Может быть, ему было обидно видеть мать такой. Может быть, его страшила боль, которую мать должна перенести. А может быть, у него родилась ревность к неродившемуся.

Свидание с матерью было недолгим. Екатерина Матвеевна настояла на переезде Маврика в дом тети Лары.

— И тебе там пока будет лучше, Мавруша, и маме будет легче выздороветь.

Смышленому мальчишке вполне достаточно было этих слов. Оказаться у тети Лары, проводить время с Илюшей в штемпельной мастерской, помогать солить капусту, есть хрустящие кочерыжки, спать на новом месте... Да мало ли радостей сулит длительное гощение у тети Лары.

Через несколько дней Маврик узнал, что у него появилась сестричка, которую назовут Ириной в честь деревенской бабушки Ирины Дмитриевны, которую еще не знал Маврик.

Все обошлось хорошо. Мама очень скоро поправилась. Маврику показали сестру. Она, кричащая, какая-то слишком розовая, не произвела на Маврика приятного впечатления. Но ее нужно было любить, и Маврик пообещал любить ее, как только она начнет ходить.

Маврик снова жил с тетей Катей на втором этаже. Тетя Катя рассудила очень разумно:

— Ириночка будет будить ночью Маврика... Да и тебе, Любочка, удобнее без него. Не где-то же он, а в одном доме.

Лучшего Маврик и не хотел, но иначе рассуждал его отчим.

— Дорогая Екатерина Матвеевна, я очень ценю вашу заботу о нас, но пользоваться бесплатно вашей квартирой не позволяет мне совесть. Квартира дает вам обеспечение. А платить за нее столько, сколько она стоит, я не в состоянии.

— Герасим Петрович, да что вы, да бог с вами,— принялась уговаривать Екатерина Матвеевна.

Но это было напрасно. Самолюбивый Непрелов, привыкший жить только на заработанное им, знающий цену деньгам, не захотел прожить в наследственном доме Екатерины Матвеевны и одной зимы. Вместе с должностью конторщика мильвенского пивного склада ему полагалась и квартира. Доверенный склада, обожавший честного, исполнительного и энергичного Непрелова, был очень плох. Открывались виды занять его место. Жена доверенного фирмы прямо сказала матери Маврика:

— Мой Иван Иванович едва ли доживет и до рождества. Смерть не перехитришь, Любочка. И ему очень хочется, чтобы твой Герасим

Петрович зарекомендовал себя и чтобы Иван Иванович при жизни мог передать ему ключи и должность.

Даровая квартира от фирмы Болдырева представляла собой огромную мрачную комнату со сводчатым потолком. Здесь когда-то было питейное заведение. Сохранились еще высокие и глубокие полки, отделявшие питейный зал от кухни.

— Это же та же пермская «Сенная площадь»,— ужасалась квартирой Екатерина Матвеевна.— Только этот склеп и саженью дров не напиши. Неужели, Люба, ты и Маврика потянешь за собой в такую трущобу?

Любовь Матвеевна не сказала сестре, что кроме Маврика у нее есть грудной ребенок, которому тоже нужны тепло и свет. Она знала, что к этому ребенку Екатерина безразлична. У нее только Маврик свет в глазу, ее не рожденный ею сын.

— Что скажут другие, если я оставлю Маврикия у тебя, Катя? Каких собак понавешают на меня мильвенские бабы, да и не одни бабы со Скворцовой улицы.

«Что скажут другие» — самые страшные и самые ненавистные слова для Маврика опять оказываются сильнее всех слов. «Что скажут другие» было сказано, когда его увозили в Пермь. И теперь эти слова уведут его из дедушкиного дома. А кто эти «другие»? Какое им дело до него с тетей Катей и бабушкой?

Плохо начиналась зима. Был только один радостный день — день рождения Маврика, когда ему исполнилось девять лет, да и этот день был последним. И он переехал в большой «склеп». Но и это еще не так страшно. Тетя Катя сказала:

— Пусть все думают, что ты живешь там, а жить будешь тут. Поспишь ночку-другую у матери — и ко мне. А потом видно будет.

И он жил и там и тут. Но неприятности, как оказалось, — «что твои грузди — не живут в одиночку». На десятом году жизни Маврик попал в историю, о которой заговорила вся Мильва.

Все началось с волшебного фонаря...

IV

В школе стало известно, что у Толлина есть волшебный фонарь. И этим фонарем он ребятам со своей улицы показывает картины, а его дружок — Илька Киршбаум — читает по книжке или рассказывает о том, что показывается. А Санчик Денисов подает Маврику стекла с картинками, и получается «ух как здорово» и «до чего хорошо».

Всех ребят своего класса Маврик не мог позвать домой и показать им туманные картины. А видеть их хотелось всем. Всем трем классам. И ребята упросили Манефу Мокеевну показать картины в школе. Она согласилась. И был назначен «вечер туманных картин».

Маврик и Санчик торжественно принесли волшебный фонарь, натянули экран — простыню с красными каемками. Появился и Илюша. Несмотря на то, что это был «земский» школьник, которого полагалось отлупцевать, его встретили приветливо и даже почтительно.

— Сказка о сестрице Аленушке и о братце Иванушке, — объявил чистый голос Илюши.

На белой простыне появилась первая картина: Аленушка ведет своего братца Иванушку по лугу, на котором цветут цветы, зеленеют травы и голубеет небо.

Ребята замерли. Они, кажется, перестали дышать. Потом вырвался восторженный вздох. Затем кому-то захотелось ощупать простыню, на которой такая красочная, такая яркая картина. Теплая ли она, эта

картинка... Не зальет ли красками белое полотно... Не прожжет ли, наконец, простыню яркий свет, бьющий из белой трубки с увеличительными стеклами волшебного фонаря.

Когда простыню-экран ощупали все, Илюша принялся читать дальше, Маврик — показывать картину за картиной, а Санчик — исправно подавать ему один диaposитив за другим.

Затем Илюша громко объявил, став перед простыней-экраном, освещенный лучом волшебного фонаря:

— А теперь мы вам покажем «Бог правду видит, да не скоро скажет», рассказ графа Льва Николаевича Толстого.

Рассказ и картины произвели огромное впечатление даже на Манефу. Пришлось показывать дважды. Второй раз Илюша не читал рассказа. Его знали. Смотрели только картины.

Чуть ли не весь класс проводил Маврика до дома. Проводили до дома благодарные зрители и «земского» Илюшку Киршбаума. Гость же. И потом так хорошо читал.

Ничто не предвещало беды. Наоборот, в земской школе стали просить Илюшу, чтобы он привел своего товарища Толлина и показал картины. К Маврику пришли ходоки из земской школы. И тетя Катя сказала:

— Конечно, конечно... Чем же хуже ребята из земской школы? Дружнее будете жить.

«Вечер туманных картин» в земской школе прошел с большим успехом. Туда школьники привели своих младших братишек и сестер. В земской школе — большой и широкий коридор. Сидели на полу. Учительница принесла стулья. Здесь Илюша показал себя еще лучше. Он был в своей школе. У него была слушательницей его учительница Елена Емельяновна Матушкина.

И она сказала Маврику:

— Вон какой ты, оказывается, просветитель... Хорошо бы показать эти картины и в девичьей школе.

Маврик был очень рад. Там учатся девочки Краснобаевы. Но все повернулось неожиданно плохо...

Стало известно, что скончался Лев Николаевич Толстой. И все заговорили об этом. И заговорили по-разному. Одни говорили, что умер великий человек и великий писатель русской земли, а другие... Другие, например отец Михаил, говорили очень плохо. Отец Михаил, глава кладбищенского прихода и законоучитель школы, где учился Маврик, слыл злым и разгульным попом. Про него говорили, что он не боится никого, потому что у него двоюродный брат архиерей. Он мог бы продвинуться и стать милвенским протоиереем, то есть старшим священником, если бы не перепивался на свадьбах, крестинах и похоронах, если бы его пьяного не уводила под ручку кладбищенская просвирня Дударина, о которой тоже говорят всякое. Школьницы знают, что отец Михаил «плюет на всех с большой колокольни» и не боится опаздывать к обедне и служит ее «трень-брень на скорую руку», так что за ним не поспевают псаломщик.

На этот раз появление отца Михаила в школе не предвещало ничего хорошего.

Он собрал всех учеников в самом большом первом классе. Никогда такого не бывало. Никогда не видали таким и отца Михаила. От него пахло не одной лишь селедкой, но и винцом. Всклокоченная борода, потемневший сизый нос, злые глаза пугали детей. Он впервые появился в классе без нагрудного креста. В первый класс пришли и стали у стен все три учительницы школы.

Отец Михаил расчесал пятерней бороду, как он это делал всегда, и объявил классу:

— Смертью грешника на захоластной станции кончил свои дни отлученный от церкви, втопавший в грязь свою сословную честь граф Толстой. Забвение имени его! Смерть творениям его, писомым по наущению сатаны и приспешников ада.

Распалая себя, отец Михаил стал рассказывать о тлетворной жизни очернившего свой графский титул чернокнижного лиходея, обмакивающего свое перо в зловонный сосуд, пополняемый богоотвратным Люцифером кровью отцеубийц и повешенных царееотступников.

Не жалея хулящих слов, перемежая свою речь выражениями, вгоняющими в краску учительниц, робеющих у стены, отец Михаил обрисовал жизнь отлученного от церкви и проклятого самим богом, черту подобного графа, не постеснялся заявить, что блудница Каренина Анна была писана им с одной из потаскух, которых было великое множество в его имении под городом Тулой, где на сто верст вокруг посохли деревья, померла каждая седьмая тварь и перестали гнездиться птицы, множиться звери и метать икру рыбы.

Выпитый с утра шалик водки во многом способствовал измышлениям отца Михаила. Очернив память великого писателя России, законоучитель перешел к теме, имеющей отношение к данной школе.

— Находятся и в нашей приходской школе отроки, а равно и потрафляющие им наставники, которые, пребывая в тумане ослепления своего, может быть и не ведая того, туманят себе и другим головы туманными картинами... Толлин! — выкрикнул отец Михаил. — Выдь к доске и покайся!

Испуганный Маврик исполнил приказание.

— Ну, что же ты молчишь, господин Толлин? Показывал мерзопакостные картины?

— Йя... йя,— начал заикаться Маврик,— я показывал хо-хо-хорошие картины. Про Аленушку, про...

— А про невинного... который якобы заточен был в темницу по лживому доносу? Мог ли ошибаться суд праведный, суд помазанника божиего царя-батюшки? Ну, что же ты молчишь?

— Не знаю,— ответил Маврик.— Наверно, мог ошибиться. Мой дедушка тоже невинно сидел шесть дней.

Отец Михаил задышал чаще. Жилы на его висках надулись. Он закашлялся.

— Вот как? Невинно? Откуда тебе это знать?

— Бабушка говорит, и тетя Катя, и все. Хоть кого в Мильве спросите.

— Значит, ты не признаешь вины своей перед богом и перед сверстниками,— сказал, указывая на притихших учеников, отец Михаил.— И не каешься в том, что ты показывал богоотступническое...

— Отец Михаил,— стал защищаться Маврик,— если бы вы посмотрели и прослушали «Бог правду видит», вы бы сами сказали, какой это хороший рассказ. Всем, всем ребятам понравились эти картины. Они почти что священные...

— На колени! — не крикнул, а заорал отец Михаил.

У Маврика начали было сгибаться колени, но в эту минуту он вспомнил, как тетя Катя внушала ему и другим: «Если ты не уважаешь себя, за что же тебя будут уважать другие?» И его ноги сами собой распрямылись.

— За что же, батюшка? — взмолился Маврик.— За что же, отец Михаил?

— На колени! — взревел священник и больно схватил за ухо, чтобы пригнуть к полу неслуха.

Маврик и не собирался кусать руку отца Михаила. Он это сделал

помимо своей воли, так же как Мальчик укусил, хотя и не больно, руку Маврика, когда он потянул собачонку за ухо.

Отец Михаил отдернул укушенную руку и тотчас же, размахнувшись, ударил Маврика по скуле и сбил его с ног. Упавший затрясся, заскулил по-щенячьи. Он плакал не столько от боли, сколько от обиды, от несправедливости, от беззащитности.

Кто-то всхлипнул в классе. Это был Санчик. Плач повторился в другом конце. С учительницей первого класса стало плохо. Ее вывели. Отец Михаил опешил. Он хотел было поднять Толлина. Но водка и самолюбие не позволили этого сделать. И он схватил Толлина за шиворот.

— Еретический выродок! Змееныш,— крикнул он и пнул под зад Маврика так, что тот своим лбом открыл дверь и очутился за нею.

Более ста мальчиков опустили головы.

Отец Михаил понял, что произошло непоправимое. Он попытался объяснить, что его гнев — гнев небес, но видя, что никто не верит этому и все против него,— он снова перешел на крик и проклятия. Но и страх оказался бессилён. Школьники не подымали глаз на своего законоучителя.

— Встать!

Они встали.

— Поднять морды!

Они подняли головы, но глаза их были опущены.

— Воды! — приказал отец Михаил.

Манефа принесла воду в жестяной кружке.

— Худо мне, дети мои, — схитрил отец Михаил и вышел из класса. Занятий в этот день в церковноприходской школе не было.

V

Ошеломленный Маврик, выплакавшись на груди школьной сторожихи, не вернулся домой на Купеческую улицу. Не пришел он и к тетке. Начались розыски. Его нашли в доме Кулеминых. Маврик боялся, что за укус руки священника его не простят ни мать, ни тетя Катя, ни бабушка. А все оказалось совсем не так.

Екатерина Матвеевна, осыпая поцелуями найденного племянника, орошая его слезами, называла кладбищенского попа неслыханными до этого Мавриком словами:

— Я доберусь до этого упыря с Мертвой горы. Я выведу на чистую воду этого дударинского демона. Будет он у меня старым расстригой Мишкой. Не примет земля его подлые кости. Станет он ползать после своей окаянной смерти безглазым могильным змеем, изъеденным вечной паршой и бородавками.

Такой тетю Катю никогда не видел племянник. Не узнавали ее и Кулемины. Всегда строгая, расчетливая в словах, она готова была осуществить свои угрозы: выдрать до волоска сивую гриву кладбищенского попа, вытащить его из алтаря за грязные полы богохульственной рясы и всенародно назвать его тем, кто он есть.

— И его не защитит никакой суд, — говорила она. — Ни мирской, ни духовный. Тишка Дударин — живое доказательство незамолимого греха распутного попа, вогнавшего свою жену в доски.

Разволновавшись, Екатерина Матвеевна с трудом сдерживала себя. Ей хотелось, чтобы племянника осмотрел доктор Комаров, что было важно во всех отношениях.

Доктор Комаров приехал в тот же вечер. Потрясенный случившимся, он, почитатель Толстого, поставивший силами мильвенского обще-

ства любителей драматического искусства пьесу Льва Николаевича «Плоды просвещения» и замышляющий поставить «Власть тьмы», готов был, еще едучи к Зашейным, преувеличить увечье мальчика вплоть до того, чтобы положить его в заводской госпиталь.

Осмотрев Маврика, Комаров нашел повреждение хрящей правого уха и, ощупывая скулу, хотел найти, но не нашел раздробление кости.

— Я не могу определить всего в домашних условиях,— сказал он.— Это я сделаю завтра в приемном покое.

Маврику были прописаны обезболивающая мазь и покой. Уходя, доктор сказал, что сегодня же фельдшерица забинтует ему голову, а завтра он прилет за пострадавшим свою лошадь. От платы за визит Комаров категорически отказался.

— Что вы, что вы, уважаемая... За этот удар расплатятся другие, и, уверяю вас, дорогая моя, это им будет дорого стоить. Очень дорого,— повторил он уходя.

Маврик, счастливый вниманием к нему, с удовольствием выслушивал соболезнования соседей, родных и школьников, навестивших его в этот вечер. А утром была подана лошадь, и он, забинтованный, ехал медленно с тетей Катей через всю Мильву в приемный покой заводской больницы. И все останавливались, разводили руками, а некоторые даже крестились.

Еще вчера, не зная того, Маврик стал героем Мильвы.

Более ста мальчиков рассказали о том, что было в школе, более чем в ста семьях. В Мильве не выходила газета, и молва заменяла ее. Заменяла, приукрашивая, добавляя, расцветчивая. Кладбищенского попа не любили и без того. И если до этого говорили приглушенно об его пьянстве, разгуле и лишь намекали на его связь с просвирней Дударинной, то теперь об этом рассказывали у каждого уличного колодца.

Осложнял дело и дурачок Тишенька Дударин. Этот «божий человек» бегал по улицам Мильвы босым и в морозы. Бегал и бормотал или выкрикивал «пророческие слова». Теперь его «пророчества» откровенно лгали. Он поносил безвинного зашейнского внука, называя его «учеником дьявола», что явно противоречило здравому смыслу даже самых темных верующих старух.

«Блаженный» впервые получил оплеуху от неизвестного. А в окно отца Михаила был брошен горшок с нечистотами. Горшок выбил стекла двойных рам и разбился, ударившись об изразцовую печь, обрызгав обои, «озловонив чертог иерея», как писал в жалобе приставу Вишневецкому отец Михаил.

Но пристав не только не учинил розыска, но посоветовал отцу Михаилу «не дразнить гусей» и отсидеться дома. Вишневецкий понимал, как может обернуться «школьное происшествие», и для предосторожности поставил к поповскому дому передетого полицейского. Сегодня горшок с нечистотами, а завтра «красный петух»... Спят отца Михаила, и концы в воду. Бывало и такое в тихой Мильве.

На всякий случай, в целях возможных запросов из губернии, было заведено дело, названное «Неблаговидное происшествие в школе кладбищенского прихода Усть-Мильвенского завода». Дело начиналось с показания Манефы Мокеевны, не обелявшей законоучителя, продолжалось донесениями полицейских и агентов по тайному надзору. Сюда же было подшито заявление отца Михаила о горшке с нечистотами.

Маленькое дело, заведенное «на всякий случай» и «для предосторожности», росло с каждым днем. К нему были присоединены письма известных и неизвестных лиц, посланные в газеты и перехваченные почтой. Известные и неизвестные лица требовали мирского и духовного правосудия над попом, порочащим великую православную церковь. О Толстом не говорилось ни слова, хотя, конечно, во имя защиты его

памяти писались эти письма известными и неизвестными лицами, якобы защищающими и оберегающими религию от «растленных пастырей».

Пристав понимал, что всех писем не перехватить почте. Какие-то из них могли быть посланы и не из Мильвы. Особенно опасался он юридически образованного Валерия Тихомирова. Поэтому дело «о неблаговидном происшествии» велось с особой тщательностью. Пристав должен знать все. И если что — «Не извольте беспокоиться. Все до последней бумажечки подшито и пропумеровано».

Матушкин собрал своих, чтобы обсудить, как воспользоваться для пропаганды случаем в церковноприходской школе. Валерий Всеволодович должен был информировать об этом партийную печать и подготовить заметки для легальных либеральных газет, на страницах которых прозвучит сенсацией избиение законоучителем ребенка.

Тихомирову также было поручено встретиться с протоиереем Калужниковым и попросить его о невозможном: об извинении кладбищенского попа перед оскорбленными школьниками и, конечно, перед Мавриком.

— Подобное извинение не подобает священнослужителю, — заявил протоиерей Тихомирову. — Это унижительно.

Ожидавший примерно такого ответа, Валерий Всеволодович сказал:

— Сожалею и опасуюсь, не пришлось бы вместо отца Михаила отцу протоиерею приносить более широкое раскаяние с соборного амвона. Госпожа Зашенна сильнее, чем вы думаете. За нею общественное мнение. Тысячи людей. А за вами? — спросил Тихомиров, вставая и раскладываясь. — Имею честь. Я выполнил свой долг. Предупредил.

Встревоженный Калужников остался сам не свой. Он знал, что в Мильве теперь будет известно всем о посещении Тихомирова и об отказе протоиерея признать виновность кладбищенского попа и заставить его повиниться. Протоиерей не ошибся. Его порицали не только в рабочих семьях, но и в близких ему домах, где он бывал запросто.

Разговоры разговорами, пересуды пересудами, — произошло нечто худшее для священнослужителя. Воскресную позднюю обедню в соборе обычно служил сам протоиерей. Торжественность службы, отличный звонкоголосый хор, показ невест, парад холостяков, возможность блеснуть обновкой, обменяться взглядами, наконец замолить грехи, накопленные за неделю, и просто желание поглазеть собирали немало народа. А на этот раз диакон произнес вступительные слова литургии в полупустом храме.

Отец протоиерей, облаченный в нарядную ризу, сразу понял, в чем дело. Все же он надеялся, что к середине службы подойдут обычно запаздывающие господа. Этого не случилось. Наоборот, стали уходить некоторые из тех, кто пришел, хотя никто их не уговаривал покинуть храм, и вообще этот своеобразный бойкот воскресной обедни не был организован. Люди стихийно, не сговариваясь, пришли к одному и тому же выводу: «Коли протопоп таков, так не пойду, и все».

В этих словах или в других выражался протест, но церковь была пуста. Отец протоиерей, бледный, с трясущейся бородой, наскоро дослуживал обедню. Хор необыкновенно громко и как-то жутковато громко звучал в безлюдном храме.

Тихомиров и не предполагал, как скажется его посещение. Этого никто не ожидал.

Артемий Кулемин, рассказывая об этом Екатерине Матвеевне, вселил в нее силы и уверенность:

— Вы не одна, Екатерина Матвеевна.

И этому верила Екатерина Матвеевна. Она знала, что сказанное Кулеминым чистая правда. Все сочувствовали ей.

— Не позволяйте смягчаться обиде в своем сердце, Екатерина Матвеевна,— сказал Емельян Матушкин, встретив ее на базаре,— он достоин отмщения. И каким бы это отмщение ни было, все его признают правильным.

Екатерина Матвеевна решила действовать.

VI

Отец Михаил не выходил из дома дня три. Сказался больным. Екатерина Матвеевна ежедневно появлялась в кладбищенской церкви, чтобы объяснить с попом. Но служил другой священник из собора. Откладывать встречу не хотелось. Пройдет неделя-другая, и она растеряет припасенные и продуманные слова.

— Пойду к нему домой,— сказала она и пригласила с собой соседку Краснобаеву и мать Санчика.

Отец Михаил сидел дома без подрясника, в полосатых штанах, в сатиновой рубаше, в меховых котях на босу ногу. Покуривая трубку, обозленный поп ожидал возвращения просвирни Дудариной, посланной за псаломщиком и церковным старостой. Они опасались появляться в поповском доме. Теперь, после «горшка», после оплеухи, полученной «блаженным» Тишенькой, можно было ожидать и не такого.

И когда отец Михаил услышал на кухне голос просвирни: «Проходите, проходите», он решил, что это пришли избегавшие его псаломщик и староста, которых следовало проучить за вероломство и трусость.

Еще у себя в комнате начал он громкое и сложное ругательство, которому позавидовал бы и грузчик на камской пристани, и появился на кухне в чем был — в полосатых штанах, в котях на босу ногу и с трубкой в зубах.

— Ага-а... Пришли, сволочи! — в ярости крикнул он пришедшим к нему Екатерине Матвеевне, Краснобаевой и Санчиковой матери.

Женщины попятились. Екатерина Матвеевна закрыла лицо руками. Ни одной из них никогда в жизни не приходилось видеть попа в штанах, да еще с трубкой в зубах. Появление священнослужителя перед прихожанками, и особенно перед прихожанками, в таком виде было делом неслыханным. Это понял и отец Михаил, остолбеневший и потерявший дар речи. Зато Екатерина Матвеевна обрела его.

Отняв руки от своего лица, но не открывая глаз, она иступленно перекрестилась, затем простерла руки к небу и проникновенно начала проклятие:

— Именем бога! Именем пресвятой троицы отца, сына и святого духа я, непорочная дева Екатерина, расстригаю тебя, распутный поп! Трижды анафема тебе отныне и вовеки веков... Анафема!

— Анафема!.. Анафема! — повторили громко Краснобаева и Денисова, назкальтированные певучим голосом и словами проклятия.

Не открывая глаз, Екатерина Матвеевна повернулась к двери. Поспешно ушли вслед за ней Краснобаева и Денисова. Около ворот их ожидали человек двадцать сочувствующих и любопытных.

— Ну как? Ну что там он?

На Зашейной не было, что называется, лица. И все заметили это. Бледная, взволнованная, не видя никого, она прошла мимо толпившихся, не слыша их вопросов. Зато Денисова и Краснобаева дали исчерпывающее и распространенное интервью. Не забылись полосатые штаны, трубка, брань и, конечно, злополучное обращение: «Аг-га... Пришли, сволочи».

Одни всплескивали руками. Другие крестились и повторяли: «Анафема ему, расстриге!» Для них он уже был расстрижен и лишен сана.

Проклятие благочестивейшей девицы Екатерины Зашенной от имени бога-отца, сына и святого духа, которое теперь неизбежно повторится сотнями уст, предрешит все.

Отец Михаил не сразу пришел в себя. Очухавшись, он бросил в просвиру Дударину подвернувшейся под руку крынкой, схватил ее за волосы и обрушил весь остальной запас брани, приготовленный для псаломщика и старосты.

— Как же ты, мокрохвостая дьяволица, не дала знать — кто пришел ко мне...

Просвирия отбивалась как могла, она тоже не затруднила себя выбором слов и не бсялась давать волю рукам.

Их разняли подоспевшие староста и псаломщик, уже знавшие о происшедшем. Они подобрали с пола черепки, подмели клочья сивых и черных волос.

— Отец Михаил, да уймите же, ради Христа, свой гнев... Все перемелется, — неуверенно гундосил псаломщик.

Староста тоже искал слова, смягчающие сердца, но сказанное Зашенной звенело в ушах попа, сидящего с трясущейся бородой на лавке кухни, и просвиры, плачущей под образами в разорванной кофте.

Наутро добрая половина Мильвы знала о новой выходке кладбищенского попа. А еще через день появилась листовка, отпечатанная на гектографе, с заголовком, каллиграфически выведенным пером «рондо», каким обычно пишут на чертежах ученики технического училища: «Видит ли бог правду?» В листовке говорилось о бесправии детей, о глумлении над прихожанками, об изуверском разгуле черных сил, о попустительстве властей и полиции, об осквернении памяти великого сына России Льва Николаевича Толстого. Листовка заканчивалась призывом: «Проснитесь, честные люди! Скажите свое слово! Да здравствует правда! Да здравствует разум!»

Листовка, отпечатанная в малом количестве, рассчитанная на таких, как доктор Комаров, не получила большой огласки. Зато через два дня вышла другая листовка, отпечатанная типографским способом. Она была разбросана до первого свистка на улицах, примыкавших к проходным заводам. Листовка начиналась как церковная проповедь: «Ей Господи царю, услышь правду свою!»

И далее она, переключаясь с первой, гектографической, листовкой, спрашивала бога: «Ужли ж Ты, царь царей, владыка владык, не видишь надругания служителей Твоих и допускаешь избивание чад Твоих и горение в храмах, воздвигнутых Тебе, иудиных свечей, насылаемых сребролюбивыми блудодеями, наживающимися на имени Твоем?»

В холодном поту пристав Вишневецкий вчитывался в строки переваченных листовок.

«Кто автор? Где отпечатаны они?» И снова — «кто?» и снова — «где?» стучит в голове пристава, в головах поднятой на ноги тайной и явной полиции. Он должен знать, «кто» и «где» до того, как придет запрос из губернии. А белая листовка в затейливой рамочке издевательски молитвенно, строка за строкой, спрашивает:

«Ежели всякая власть от Тебя, Господи, то неужели ж и эта власть жиреющих на вере в Тебя, стяжающих в темноте неведения Твоего, страшщих возмездием Твоим, тоже дана Тобой, Всеблагий молчащий Господь? За что же, Господи? За непосильное труждение от зари до зари, за безропное примирение с тяготами, штрафами и поборами? За что, Господи? За темноту душ и умов, молящихся Тебе? За редьку и квас, вкушаемые не только в посты Твои? За гнев и порабощение законом Твоим?..»

И управляющий округом Андрей Константинович Турчаковский не мог сдержать волнения и отмахнуться от воскресшего призрака тысяча

девятьсот пятого года. Уж он-то, образованный человек, понимал, какое воздействие на простой народ произведет этот крик души.

И он не ошибался. Листовка не столько читалась, сколько пересказывалась. И каждый пересказывал ее по-своему, соответственно своим взглядам и убеждениям. Листовка пересказывалась и в церквях. Правда, там замалчивали ее последние строки, ради которых писалась и печаталась листовка. А последние строки выглядели ультиматумом:

«Ей Господи царю, не будь глух к взывающим Тебе, отверзи уста свои, возри на землю Твою. Смиловись, не понуждай глас народа громоподобно призвать к низвержению царствующего от имени Твоего, не дай поднять гневную руку на прислужников и палачей его, казнящих и тиранящих, обирающих и гнетущих, унижающих и темнящих во славу Твою».

И, наконец, последняя строка жирным крупным шрифтом:

«Твою ли, Господи? И славу ли?»

— Протоиерея... Немедленно протоиерея... Лошадь за ним! — приказал лакею Андрей Константинович и отправился в соседнюю комнату, где на стене висел массивный, орехового дерева телефон фирмы Эрикссон с двумя белыми блестящими колокольчиками и с черной изящной ручкой. Теперь в Мильве установлено почти сорок телефонных аппаратов, и один из них — у отца протоиерея. Хотя он и является лицом, к заводу не имеющим прямого отношения, но завод имел отношение ко всем. И управляющий округом управлял не одними заводскими цехами. Это была главная власть, которой так или иначе подчинялись все.

VII

К телефону подошла матушка и ответила Турчаковскому, что отец протоиерей находится у Зашейных по делу отца Михаила.

— Поймите, дочь моя Екатерина Матвеевна, — разъярял протоиерей Зашейной, — духовные лица, как и светские лица, дома пребывают в мирском одеянии.

— Я понимаю это, отец протоиерей, и не виню его за то, что он появился в таком виде и с курительной трубкой во рту. Пусть курит. Это его грех. Но брань, оскверняющая родившую его и всякую рождавшую в том числе... — не договорила Екатерина Матвеевна, переводя глаза на икону богородицы, висевшую среди других в переднем углу большой комнаты дома Зашейных, где был принят протоиерей, — эта брань незамолима для священника, каким он перестал быть.

— Екатерина Матвеевна, не вас же он бранил, — увещевал проникновенным голосом протоиерей Калужников. — Он бранил избегавших его псаломщика и старосту.

— Я допускаю... Я верю вашим словам, отец протоиерей... Но разве псаломщик и староста — не служители церкви? И если бы они были даже арестантами или каторжниками, то и в этом случае мог ли он тогда, еще нося сан священника, произнести эти слова. Нет прощения расстриге! Нет... нет... И не уговаривайте меня. Меня нельзя уговорить.

— Екатерина Матвеевна, отца Михаила никто не расстригал и никто не лишал его сана иерея, и притом благочинного.

— Бог расстриг его! Бог, — Екатерина Матвеевна перекрестилась, — отнял его сан.

Тут протоиерей попробовал перейти в наступление.

— Мирянка Зашейна! Ты слуга божия, а не служительница его! — заговорил он приподнято. — Бог не облакал тебя, женщину, властью расторжения рукоположенного во иереи отца Михаила! Это грех, женщина, и за него может быть наложено церковное наказание...

— Господин Калужников,— Екатерина Матвеевна поднялась,— вы гость в моем доме и сказались другом этого дома, войдя в него. Бог не женщину облакал своей властью, а девственницу, не знавшую в отличие от рукоположенных плотского греха. Это — первое. А второе — не я, а всевышний моими устами предал анафеме распутного попа-двоеженца, прижившего при живой благочестивой матушке Евгении Константиновне умопомраченного сына. И третье, и самое последнее...— Тут Екатерина Матвеевна повернулась лицом к иконам и снова перекрестилась.— Разрази меня господь, если лгу, что ты вложил в уста мои анафему предавшему тебя попу Мишке с Мертвой горы. Покарай меня смертью без святого причастия, если я не твоим именем, бог-отец, бог-сын, бог-дух святой, расстригла распутника, торгаша, пьяницу, избивающего младенцев.

Протоиерей Калужников видел на своем веку фанатический экстаз моления, он знал разрывающих на себе одежды кающихся женщин, ему ведомы были леденящие кровь моления «общающихся с богом праведниц». Сейчас он увидел большее. Он чувствовал себя маленьким седеньким старичком, чем-то похожим на домового рядом с этой, святой своим человеческим величием.

Отца протоиерея зазнобило.

— Четвертого не назову,— сказала, повернувшись, Екатерина Матвеевна,— но если кладбищенский расстрига хотя бы одной ногой ступит на церковный амвон или, того хуже, посмеет войти в алтарь, бог вложит в мою руку перо и перу даст слова, которые будут прочитаны в Санкт-Петербурге. Будут!

Калужников понимал, что это говорилось не для красного словца. Он знал, что юридически образованнейший Валерий Всеволодич, волшебник слова, изъявил желание написать прошение в Петербург. Екатерина Матвеевна могла прибегнуть к этому. Не зная, как вести себя далее, протоиерей услышал спасительные слова:

— От его превосходительства, за отцом протопопом.

Это говорил в кухне за тесовой перегородкой кучер Турчаковского.

— Я здесь, Аким, я сейчас,— отозвался Калужников и хотел было, прощаясь, благословить, как всегда, Зашеину и дать ей поцеловать ручку, но Екатерина Матвеевна постаралась не заметить этого.

— Бог вас простит, отец протоиерей. Молитесь. И не защищайте впредь низложенных богохульников. Поклон матушке Любви Захарьевне... Маврик, где ты? — направилась в другую комнату Зашеина, не желая проводить до дверей протоиерея.

Его трясло в управительской карете.

VIII

Управляющий принимал протоиерея в домашнем кабинете, оклеенном золотыми тисненными обоями. Терпеливо выслушав рассказ возмущенного Калужникова о посещении Зашеиной, Турчаковский спросил:

— И к каким же выводам пришли вы, отче?

— Вывод один — привести к покорности возгордившуюся и непомерно возомнившую о себе Зашеину.

— А каким способом, премудрейший отче? — с игривой иронией спросил Турчаковский.

— У церкви много способов, Андрей Константинович. Проповедь. Принуждение к покаянию. Увещевание и, наконец, угроза наложения эпитимьи, а то и отлучения...

— Уг-гу-у! — пробасил, откашлявшись, управляющий.— А не угодно ли отцу-отлучителю, милостивейшему увещевателю, прочесть сию со-

циал-демоническую энциклику некоего проповедника, «глаголом жгущего сердца», а потом уже избрать способ принуждения к покаянию непорочной дочери «спасителя» мильвенского завода Матвея Романовича Зашейна, пожалованного медалью и кафтаном его величества. Читайте, отче!

Турчаковский положил перед протоиереем листовку и принялся расхаживать по ковру кабинета, позванивая маленькими шпорами, привинченными к каблукам его тупоносых башмаков.

— Читайте, читайте! — повторил управляющий. — Вникайте в слог, в искусство словосочетания незаурядного ратора, наторевшего открывать сердца куда более успешно, нежели приставленные к этому бесчинствующие благочинные.

Дзюнь, дзюнь, дзюнь — малиново позвякивали серебряные шпоры. Ходит из угла в угол начавший сесть и грузнуть, но все еще энергичный управляющий мильвенскими заводами. Их теперь шесть. Они процветают под началом заботливого управляющего округом его высокопревосходительства и кавалера орденов Турчанино-Турчаковского, лично принятого и облаканного всемиловитившим государем императором Николаем Александровичем.

По ковру ходил, позвякивая стальными колесиками шпор, сановник отечественной промышленности, получивший право непосредственного обращения на высочайшее имя. И в этом заводском округе не было лица выше его.

Руки протоиерея Калужникова, дочитывавшего второй раз листовку, тряслись. Очки то и дело сползали по скользкому, вспотевшему розовому носу.

— Так что же это, почтеннейший Андрей Константинович? — спросил упавшим голосом протоиерей.

— Я вам хочу задать, всепочтеннейший Алексей Владимирович, этот вопрос, а затем спросить вас — кем благословлено это похабное невежественное возмущение умов, связанное со смертью графа Толстого?

— Указание из епархии, Андрей Константинович... С благословения преосвященного. Письменного, почтеннейший Андрей Константинович...

— Преосвященный благословил священнослужителей приходить в школы «подтурахом» после водочного излияния? Епархиальный архиерей указал появляться без нагрудного креста и в затрапезном подряснике? — говорил все громче и громче управляющий. — Епископ повелел бить внуков уважаемых и благочестивых мирян, а затем пинком под зад вышвыривать из класса?.. Доводить до потери чувств учительниц? Сеять смуту в цехах доверенных мне заводов? Это приказал преосвященный?

Калужников опустил голову.

— Отвечайте же, отец протоиерей, — потребовал Андрей Константинович.

— Отец Михаил поставлен мною на поклоны. На сорок сороков покаянных поклонов...

— И только-то? Хорошо наказание прелюбодее, осквернившему церковь! Вы бы еще, Алексей Владимирович, посоветовали церковному старосте после каждых сорока поклонов этого тупого болвана поднести ему квартиру церковнославянского вина да подослать подушечку, чтобы расстрига не разбил свой чугунный лоб от усердного моления.

— Он не расстрига, — мягко заметил Калужников. — Он двоюродный брат преосвященного.

— Ах вот как? — сказал и зло усмехнулся Турчаковский. — Прошу принять мои сожаления обоим братьям, а равно и вам, отец мильвенских приходов. Не хотите ли хереса? Херес весьма способствует просветлению мышления. Нет? Как угодно.

Турчаковский залпом выпил стакан хереса.

— Теперь поговорим келейно и государственно, отец протоиерей, как за карточным столом. Ход мой! — объявил Турчаковский, садясь в кресле перед своим столом напротив Калужникова. — Не задумывались ли вы над тем, что наш обожаемый монарх, имея неограниченную власть над верноподданными, почел за благо обеспечить неприкосновенность личности графа Толстого? Почему? Не из боязни ли? А? Ни в коей мере. Мудрость руководила императором, благоразумное нежелание будить в народе смятение.

— Но граф отлучен от церкви, — вставил свое замечание протоиерей.

— От церкви, — поправил Турчаковский, — а не от империи.

«Не все ли равно?» — хотел сказать Калужников, но управляющий предупредил его:

— В этом есть свои тонкости. И эти тонкости нужно понять священникам. Отец Никандр из Никольской церкви и отец Александр Троицкий, да и остальные мильвенские попы провели в школах и училищах моего округа мягкое собеседование. Мягкое! А этот расстриженный просвирнин боров... Как он повел себя?

— Да не расстрижен же он, Андрей Константинович. — Странно же, право, слышать от вас такие слова, — упорствовал Калужников.

— Расстрижен. Низложен. Растоптан. И не Зашеиной, а тысячами верующих и безверных жителей Мильвы. Послушайте, что говорят в цехах, в благородном собрании, в церквях... Не защищать, а добить безмозглого кабана. На сало... На мыло... На благо веры, царя и отечества. Милейший и первосвященнейший... Не одну сталь приставлен я плавить здесь да клепать мосты и шаланды. К сожалению, мне приходится укреплять нравственность и религию, чем должны были заниматься вы и присные с вами... Неужели вы, образованный человек, не понимаете, — снова поднялся Турчаковский и принялся расхаживать по кабинету, — что Зашеина, до глубины души потрясенная богохульством этого ослейшего из ослов, может стать своего рода мильвенской Жанной д'Арк и, вооружившись крестом, как мечом, наголо... вот так, — показал Турчаковский, подняв руку над головой, — повести за собой христолюбивую толпу, чтобы тем же именем бога-отца, сына и святого духа разметать логово еретика Мишки с Мертвой горы. А он — еретик... Этого не опровергнет и святейший правительственный синод... И неизвестно, отче протопопе, кто примкнет к этой христолюбивой толпе и чем окончится возмущение умов, начатое маленьким инцидентом в церковно-приходской школе. Вы забыли о бунтах. Я не уверен, сколько и каких горшков может влететь в окна вашего дома, если вы возьмете на себя роль адвоката хулителя нравственности и осквернителя веры. Читайте и перечитывайте листовку... Вот эту строку... Вот эти слова: «Не дай, Господи, поднять гневную руку на прислужников и палачей...» Не самообольщайтесь силой своей проповеди и угрозой отлучения... Не забывайте, что треть рабочих Мильвенского завода умеет довольно бегло читать. И в эти дни чудовишно возрос интерес к чтению книг Толстого. Либеральная интеллигенция Мильвы раздала все толстовские произведения вашей пастве. Не удивляйтесь, Алексей Владимирович, если сегодня, с наступлением темноты, объединяемые союзом Михаила-архангела предупредят возможные волнения рабочих и степенно выбьют стекла в доме кощунственного, носящего имя вышеназванного архангела, а затем при блистательном бездействии полиции заставят вашего соученика по семинарии признать низложение его девствующей Зашеиной и поклясться не переступить порога кладбищенского храма. Бить не будут, но рясу прикажут снять и разойдутся с пением: «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояния твоя...»

— Откуда вам известно это, Андрей Константинович? — взмолился Калужников.

— Мне все известно, — сказал Турчаковский. — Я управляю, а не при сем присутствую. Мудрость управления состоит и в том, чтобы опережать возможные события, убавлять давление в котле и выпускать из него излишние пары. Лучше пожертвовать одним растленным дураком и оградить этим от возможных эксцессов мужей, благоразумных и верных своему служению отечеству. Выпьете хересу, Алексей Владимирович?

— Пожалуй, — совсем тихо ответил Калужников.

IX

Пока Турчаковский разливал оставшееся в бутылке, у протоиерея возник новый вопрос:

— А что скажет на это губернатор?

Турчаковский небрежно заметил:

— Мой друг еще в первых классах корпуса был сметливым малым и подавал хорошие надежды, в которых я пока не разуверился. За ваше благоразумие, отец протоиерей, — сказал он, чокаясь с ним, и перевел разговор. — Давненько мы с вами не сражались в преферанс, — а потом будто бы так, между прочим, спросил о достраивающейся часовне у плотинной проходной.

— Если бы рабочие завода, — сказал Калужников, — были так же усердны в завершении строения, как они усердны в ночных самоуправствах, то Михайловская часовня была бы освящена в Михайлов день восьмого ноября...

— Михайловская?.. В Михайлов день? — переспросил Турчаковский, будто не понимая, что значат эти слова. — А почему она Михайловская и почему ее нужно открыть в Михайлов день? Кто ее так назвал?

Протоиерей разъяснил:

— Главного жертвователя купца Чуракова зовут Михаилом. Михаилом Максимовичем.

— И что же из этого?

— Как что, Андрей Константинович? За пожертвованные Михаилом Максимовичем деньги он хочет увековечить свое имя — Михаил.

— Уг-гу... Увековечить... За деньги... А не кажется ли вам, отче, что Михайловская часовня и самое имя «Михаил» не будут популярны в этом году? Не станет ли Михайловская часовня перекликаться вольно или невольно с кладбищенским Михаилом...

— Что вы, Андрей Константинович! Он-то при чем тут?

— При чем не при чем, однако же на каждый роток не накинешь... подрясник. Часовня, как и вера, нужна не одному богу, но и заводу. Не поискать ли другое, более известное и уважаемое в Мильве имя? Мало ли их в святцах и на языке у рабочих.

Протоиерей решил, что речь идет о покойном Зашеине.

— Оно конечно... Богу служи, а о людях думай. Часовня могла быть названа и Матвеевской... Именем евангелиста Матфея. Памятное и уважаемое в заводе имя...

— Вот видите, — сказал Турчаковский, испытующе глядя своими пронизывающими темными глазками в большие, начинающие светлеть от старости глаза Калужникова. — Херес — отличное просветляющее вино. Велю прислать вам полдюжины бутылок. Допивайте, отец протоиерей, не оставляйте в стакане зла. И я допью, чтобы начать новую.

— Куда же, зачем же, Андрей Константинович? — учтиво противясь, сказал Калужников.

— Превосходное имя — Матвей... Матвеевская часовня. Часовня, связанная с почтеннейшим корпусным мастером, рабочим Зашейным. Какой козырной удар по листовкам... Однако же, отче, не много ли мужских имен даем мы храмам и часовням... На Голянихе церковь... Никольская, Замильвенская — Петра и Павла, на кладбище — Ильинская... Опять святой мужского пола...

— Зато на Рыдае — Благовещенский храм...

— Это верно, отец протоиерей, но, насколько я понимаю, главным героем в благовещении был благовестник Гавриил. Не так ли?.. Часовню, мне кажется, неплохо бы назвать именем святой женщины... Девственницы...

— Екатерининской? — спросил протоиерей, поняв, куда клонит речь Турчаковский.

А тот, будто сделал открытие:

— Екатерининской... Именем преподобной Екатерины...

— Не преподобной, а великомученицы. Не темните, Андрей Константинович.

— Позвольте, отец протоиерей, это вы, а не я назвал первым это звучнейшее из имен... Екатерининская часовня! Огромная икона великомученицы во весь рост, написанная умным и тонким иконописцем.

— Великомученицу писать в очках или без? И если в очках — то в золотой оправе или в простой металлической?

Глаза Турчаковского сверкнули зло и угрожающе.

— Не кощунствуйте, отче.

— Да до кощунства ли мне... Пас. Откроемся. Ход ваш.

— Так-то лучше, — все так же повелительно продолжал Турчаковский. — Насколько мне позволяют мои знания, святые, как и носящие их имена, не были лишены ушей, лбов, носов и ртов, — отчеканивал управляющий, — равно и всего прочего, присущего людям, например, величавого сложения, покатоги плеч, цвета волос и глаз... И почему одной из достойнейших, носящих имя великомученицы, не повторить по божьему промыслу ее черты?

— Это требование?

— Праздные размышления между первой и второй бутылкой. Где слыхано, чтобы какой-то заводской чиновник требовал у главы многих приходов, как называть часовни, и наставлял в тайнах иконописи?

Турчаковский посмотрел на каминные часы с амурами, потом на карманные золотые, зевнул и сказал:

— Как я задержал вас, отец протоиерей!

А тот, понимая, что его выпроваживают, вынужден был ответить согласием Турчаковскому ранее, чем этого требовали приличие и сан.

— Екатерининская так Екатерининская... А что сказать Чуракову?..

— Сказать, что его преосвященству епархиальному архиерею, а равно его высокопревосходительству управляющему мильвенским заводским округом лучше знать, как следует называть заводские часовни. А если ему этого покажется недостаточно, то верните ему пожертвованное и попросите от моего имени убираться к мадам Чураковой из призаводских лавок, которые будут сданы безвозмездно заводской потребительской кооперации. Прошу вас еще по единой свежееоткупоренного, отец протоиерей.

— Господи владыко... Я ли это? — спросил себя Калужников и опустил на впалую грудь отяжелевшую голову.

ВТОРАЯ ГЛАВА

I

В церковноприходскую школу Маврик не вернулся, хотя и мог бы. Новый молодой законоучитель из Никольской церкви, заменивший кладбищенского попа, не советовал Екатерине Матвеевне переводить мальчика среди года в другую школу, но Зашейна на это сказала:

— Там у вас и стены будут плохим напоминанием для него.

— Ни за что,— подтвердила Любовь Матвеевна.— Мой сын может учиться и дома, как другие дети из порядочных семей.

Маврик, разумеется, не мог учиться дома. Конторщик пивного склада Герасим Петрович Непрелов получал небольшое жалованье. О наиме домашней учительницы можно было только говорить «для дурацкого блезиру и для фанфаронского гонора», как выражалась Екатерина Матвеевна, считавшая теперь, что ее племянник должен учиться и жить среди ребят, какими бы они ни были. Она теперь верила, что к хорошему не прильнет плохое, а хорошее, как например честность, правдивость и, конечно, религия, всегда восторжествует над плохим. Этому живой пример — ее победа над кладбищенским извергом.

А победа была. Не случайно же, не просто же так приезжал к ней сам Турчаковский, чтобы выразить ей свое восхищение и заверить, что на ее стороне правда, которая неизбежно восторжествует. Он также спросил, не нужно ли ей провести за счет завода электрическое освещение и установить телефон. Екатерина Матвеевна сказала, что по телефону разговаривать ей не с кем, а электричество притягивает молнию, что весьма опасно для деревянного строения, к тому же в керосиновой лампе живой горячий огонь, с чем управляющий безоговорочно согласился и попросил разрешения послать ей хотя бы несколько кубических сажен дров, обшить тонким тесом дом, что необходимо для светлой памяти личного друга управляющего Матвея Романовича. Екатерина Матвеевна обещала подумать относительно обшивки, а дрова согласилась взять, но не бесплатно, а за недорогую плату, чтобы в Мильве не говорили, будто она извлекает выгоду из доброй славы ее бескорыстного папочки.

В конце концов было решено перевести Маврикия в земскую школу на Купеческую улицу. Там его встретили приветливо и шумно. Учительница Елена Емельяновна Матушкина, сестра зубного врача Матушкиной, сказала, что новичка Толлина лучше посадить с его товарищем — с Ильей Киришбаумом. Так и сделали.

За стенами школы текла далекая от нее и неразрывно связанная с нею жизнь, размеренная заводскими свистками, получками два раза в месяц и праздничными гулянками.

События, связанные со смертью Толстого, улеглись. Листовки забывались, домашние хлопоты, заботы о корове, квашне, обеде, тяготы будничной жизни рабочих семей главенствовали над остальным. Ранние глубокие снега, затем и морозы, сковавшие реки, приглушили и без того тихую жизнь Мильвы. Узенькая кривая дорога с еловыми ветками-вехами оставалась единственным путем сообщения, по ней раз в день, а то и через день пробегала кошевка «дележанца» к дальней железнодорожной станции.

Началась зима. Длинная, белая, с короткими днями, с неизменной стужей мильвенская зима. Уж коли надел в октябре валенки, можешь не снимать их до конца марта. Оттепель — редкая гостья в Мильве. Да и та чуть растопит верхний слой снега на солнечной стороне улиц, погостит час-два, и снова «клящая стынь-стужа».

Полиция так и недоискалась, кем была выпущена досадная ли-

ставка. Киршбаум остался вне подозрения. В его мастерской было так мало шрифтов, что их не всегда хватало для штемпелей с большим текстом, заказываемых заводом. И ни один из имеющихся у Киршбаума шрифтов при сличении с листовкой не был схож и отдаленно.

Киршбаум не мог нарушить указания уральского подполья и центра. Ему запрещено было печатать и распространять в Мильве листовки, прокламации, чтобы оградить подпольную типографию и от тени подозрений. И если в Мильвенском заводе будут появляться листовки, то с обращением к населению других заводов и городов. Например: «К рабочим Н. Тагила» или «Товарищи горняки, гороблагодатцы!» и тому подобное. Такая листовка и в Мильве делает свое дело, но Киршбаум останется вне подозрений.

Вообще принимались все меры, чтобы Григорий Савельевич и Анна Семеновна выглядели далекими от революции, чуждыми новшествам и реформам. Киршбаумы отлично играли свою роль предпринимательской четы, мечтающей выйти в буржуа.

Розыски полиции привели в типографию Халдеева, где оказались шрифты, схожие со шрифтом листовки.

И более того, при тщательном сличении обнаружилось совпадение букв листовки, совпадающие с дефектами этих же букв в бланках и объявлениях, набранных и отпечатанных в халдеевской типографии. Но типография работала только днем. В тесноте, где один рабочий мешал другому, невозможно было набрать и тем более отпечатать довольно просторную листовку. Это абсолютно исключалось опрошенным Халдеевым, как и приставом, у которого были «проверенные глаза» в типографии. Вечером типография закрывалась самим Халдеевым. На ночь в ней оставался только слепой старик Мартынич, прозванный Дизелем за то, что он был главным «двигателем», приводившим в движение большую афишную машину, вращая рукоять ее приводного колеса. Не мог же слепец, совмещавший обязанности сторожа типографии, набрать и напечатать листовку ночью. Это подозрение подняло бы на смех и усердного пристава в глазах его помощников.

Шрифты не были украдены из типографии. Этого, правда, не сказал приставу владелец типографии Халдеев, потому что ему выгоднее было выглядеть пострадавшим и придерживаться версии, что шрифты похищены.

Киршбаум, Тихомиров, Кулемин, Матушкины тоже терялись в догадках. Им было неинтересно и безразлично знать, кто еще работает рядом с ними. Валерий Всеволодович был убежден, что листовку набирал профессиональный наборщик. Это подтверждало множество деталей набора. Наборщик листовки по всем данным был и ее автором, хотя бы потому, что выделение некоторых фраз нельзя было предусмотреть рукописным оригиналом.

Так, распутывая узелок за узелком, исключая одно, опираясь на другое, сидя над листовкой в комнате мезонина тихомировского дома, Валерий Всеволодович приходит к заключению, что набор был сделан либо в темноте на ощупь, либо...

...Либо слепым. Несколько букв, перевернутых вниз головой, несколько букв из других гарнитур того же кегля. Этого никак не мог не заметить и не устранить зрячий, просматривающий, пусть даже при малой освещенности, первый оттиск. Хотя бы при свете спички, где-то в темном уголке, в чулане, всякий зрячий, ведший набор в темноте, обязательно должен был проверить набранное, чтобы не выпускать листовки с изъянами.

Значит, ее набирал человек, не имевший возможности прочитать оттиска.

Валерий Всеволодович спускается к отцу и спрашивает, не знает ли

он, когда ослеп халдеевский Дизель — Мартыныч — и кем он работал прежде.

Всеволод Владимирович отрывается от чтения и, вспоминая, говорит:

— Кажется, он работал в синодальной типографии. И ослеп после какого-то отравления... А почему тебя это заинтересовало, Валерий?

Этот ответ обрадовал Валерия Всеволодовича, и он вдруг стал походить на мальчишку, на Маврика, решившего трудную задачу. Он едва не захлебнулся от восторга.

— Эту листовку составил, набрал и отпечатал слепой Мартыныч... Папа, у революции больше друзей, чем мы думаем. Их много. Их очень много, папа. И не все из них знают, что они друзья! Зашейна, не сознавая того, борясь за правду, оказалась не по ту сторону баррикад, а по эту. Правда всегда объективна, папа. И правда маленького Маврика, пострадавшего за рассказ Толстого. И пусть эта правда не осознана этими людьми, но подсказана им объективной оценкой жизни. Меньшевики видят меньше, чем слепой Мартыныч. Революция близка, папа. Ее ключи пробиваются всюду, и даже в Мильве, пораженной страшной из общественных болезней — мещанством и обывательщиной. Революция близка, верь мне, папа.

Всеволод Владимирович молчит, задумавшись в своем кресле. На какую революцию можно надеяться, если вот уже три года не может он уговорить образованных, более или менее просвещенных людей создать в Мильве свою мужскую политехническую прогимназию... Когда ему не удастся уговорить омутихинских мужиков взять на артельных, кооперативных началах, без уплаты за аренду его мельницу... Когда он еле-еле сумел добиться создания в деревянной, часто горимой Мильве дружины добровольного пожарного общества.

Валерий Всеволодович сел за письменный стол и обратился к тому многоликому и неизвестному, которого мы в обиходе называем читатель.

Тихомиров и не предполагал, что мильвенская листовка подскажет ему большой разговор в партийной печати о том, какие резервы революционного подполья таятся в народе. Такими людьми бывают малодушные, не рискующие открыться другим и вынужденные скрывать свои убеждения, боясь быть отверженными в своем кругу. Например, отец Петр, законоучитель из земской школы, левый из левых. Но он, священник, не может сказаться и невиннейшим либералом. А учитель рисования из женской гимназии Аркадий Викентьевич Грачев — явный большевик по своим взглядам, но сторонящийся своих единомышленников. Разве такие, как он, не резерв революции? Мало ли таких среди рабочих, замыкающихся в себе, боящихся сделать несчастной семью, обездолить детей, лишив их поильца и кормильца, престарелых родителей.

II

Статья «Скрытые резервы», родившаяся так неожиданно и для самого автора, касалась множества лиц, которых, организационно не вовлекая в подполье, можно было заставить действовать, как действовал Мартыныч. Тихомирову очень хотелось привести в своей статье пример с листовкой. Но это было невозможно. Это сразу навело бы на след и был бы обнаружен не только Мартыныч, но и автор статьи «Скрытые резервы». Валерий Всеволодович нашел аналогичные, придуманные, но реально возможные случаи, и статья вскоре была опубликована. Она, как и большинство из публикуемого Тихомировым под различными псевдонимами, вызвала живой отклик. Откликнулся на этот раз человек, в котором никак нельзя было заподозрить читателя большевистских га-

зет. Это был владелец аптеки, живущий в доме напротив Тихомировых, провизор Мерцаев.

Аверкий Мерцаев в бытность аптекарским учеником мечтал стать факиром. Эта мечта не сбылась, но с нею он не расстался. В зрелые годы он вырастил длинную черную бороду, принимал все меры, чтобы походить на восточного мудреца, каких он встречал на страницах иллюстрированных бульварных романов. Факирство свое он применил также в фальсификации корня жизни, в приготовлении бурды из трав, продавая это все тайно, помимо своей аптеки, стяжая не только деньги, но и славу тибетского целителя.

Второе увлечение Аверкия Трофимовича Мерцаева состояло в том, что бедняга мнил себя прирожденным сыщиком, прозорливцем и открывателем чужих тайн, чем он занимался с разным успехом. По этому поводу доктор Комаров острил, утверждая, что жгучий брюнет факир, женатый на черноволосейшей из всех черноволосых женщин, так и не знает до сих пор, почему его единственный сын Игорь оказался рыжим.

Прочитав статью «Скрытые резервы», доморощенный сыщик-любитель почувствовал в статье знакомые интонации и словесные обороты. Нужно сказать, что чтение запрещенной литературы доставляло Мерцаеву особое наслаждение. Не принадлежа даже отдаленно к прогрессивно настроенным, он с удовольствием бывал в чужом непонятном революционном мире. В этом было что-то таинственно-факирское. Скрытые организации. Спрятанные типографии. Люди, живущие двойной жизнью. Убегающие с каторги. Неуличенные царотступники. И вдруг он находит, открывает, разоблачает.

— Аверкий Трофимович, как же это вы могли? Это же непостижимо...

А он:

— Это все пустяки, господа, пустяки... Я просто так, между делами, изобретая новое лекарство от дурных запахов рта...

Это была мечта. Сон. Честолюбивые фантазии. А теперь явь! Он готов положить на плаху свою голову, готов поручиться всем движимым и недвижимым. Он открыл революционера: «Аг-га! Наконец-то поймут, кем я рожден».

Долго горит свет в кабинете Мерцаева. На тридцати страницах собственноручно перебеливается тайный трактат о том, как была обнаружена подлинная личность господина Тихомирова В. В. И этот трактат будет переслан не куда-то, а самому губернатору, потому что невежественная полиция и недостаточное образованные жандармские чины не могут понять неуловимых тонкостей опознавания словесного почерка.

Мерцаев ничего не имел против Валерия Всеволодовича. Более того, был расположен к нему. Но личные симпатии — личными симпатиями, а дело — делом. Разве Аверкий Трофимович плохо относится к прекрасным животным лосям? Он восхищается ими, но идучи на охоту и встречаясь с лосем, он... убивает его.

Отправив губернатору пакет за пятью печатями, Мерцаев как истинный охотник решил «проверить зверя», желая еще более убедиться в неоспоримости своего изумительного открытия. И встретившись с Валерием Всеволодовичем, он показал ему статью «Скрытые резервы» и сказал, испытующе глядя в его глаза своими «факирскими» глазами:

— Такое словесное совершенство и такая риторическая неоспоримость, что я, читая эту статью, почувствовал себя скрытым резервом революционного подполья.

Валерий Всеволодович сумел сдержаться себя.

— О чем вы, право, опять?.. И как это, право, вы можете в такую погоду читать какие-то скучные листки?

Это было сказано с таким естественным безразличием, что провизор

почувствовал себя заблуждающимся дураком, как уже косвенно называли его в губернии. Но так он чувствовал себя недолго.

Тихомиров же, как никогда, понял, что его участь предрешена. Его распознали. Он рассказал старику Матушкину. Медлить было нельзя. На другой же день дочь Матушкина Варвара Емельяновна уехала в Пермь, чтобы узнать, как должен поступать теперь Тихомиров.

В тот день, когда Варвара Емельяновна Матушкина разговаривала с Бархатовым, пермский губернатор хохотал, дочитывая трактат Мерцаева, удивляясь, как чурбан в таком изумительно чистом виде, без признаков хотя бы первобытного разума может вести аптечное дело, не пугая салные свечи с каплями датского короля.

Губернатор необыкновенно был доволен своим остроумием, считая себя самым умным человеком в губернии. Да и его подчиненные не могли позволить, чтобы какой-то мильвенский аптекарь поучал их, как нужно раскрывать врагов империи.

III

В церковноприходской школе, как думали, Маврикий учился плохо потому, что там была отвратительная Манефа-урядница, но плохо учился он и в земской школе, где преподавала милейшая из милейших — Елена Емельяновна Матушкина, ожидавшая места словесницы в женской гимназии.

Герасим Петрович Непрелов объяснял неуспеваемость пасынка его избалованностью, изнеженностью, потворством Екатерины Матвеевны и вообще его обреченностью вырасти шалопаем-бездельником и почему-то «петрушкой». Отвратительный почерк Маврика был гарантией, что из него не получится даже делопроизводитель и уж конечно счетовод, бухгалтер, которые должны выводить циферки как печатные.

У Герасима Петровича был отличный почерк, и только по одному его почерку можно было безошибочно предположить, что это человек отличного делового склада ума, хотя он и не везде ладит с орфографией, зато его слова не расходятся с делом, а если расходятся, то в лучшую сторону. Именно так и оценивал глаза фирмы «Пиво и воды» Иван Иванович Болдырев своего конторщика, успешно заменявшего больного доверенного мильвенского склада.

Екатерина Матвеевна считала, что на Маврике сказались пережитые им потрясения, поэтому он плохо учится.

Елена Емельяновна терялась в догадках, как может плохо учиться способный и даже одаренный мальчик.

А учился Маврик плохо потому, что считал ненужным многое из того, что задают в школе.

— Зачем, ну зачем, Иля,— убеждал Маврик,— учить наизусть рассказ или стихотворение, когда ты его прочитал и понял, когда ты его запомнил и можешь рассказать, о чем написано. Лучше в это время прочитать другой рассказ или другое хорошее стихотворение.

— Это само собою,— спорил Иля,— но некоторое нам нужно знать наизусть, навсегда, на всю жизнь, как имя друга, как себя...

— Например? — спросил в упор Маврик.

— Я не на экзамене...

— А зачем учить таблицу умножения? — возмущался Маврик.— Зачем? Если тебе понадобится узнать, сколько восемью восемь, то ведь можно посмотреть в задачнике.

— А если нет под руками задачника,— спорил Илюша,— и тебе вот

как,—показывал он на горло,—нужно знать, сколько восемь восемь, тогда что? Если ты покупаешь для ребят восемь билетов по восемь копеек, как ты будешь знать, сколько нужно заплатить? Могут же обсчитать.

Маврик на это возражает:

— А если тебе нужно купить двенадцать билетов по двенадцать копеек, как ты будешь знать, сколько заплатить? В таблице же нет двенадцатью двенадцать. А если тебе нужно купить сто тридцать девять билетов по семьдесят три копейки?.. Ага! Попался! А тысячу сто пятьдесят три билета по сто девяносто три рубля?..

На уроках Маврик слушал только интересовавшее его, а когда началось повторение пройденного или таблица умножения в разбивку, Маврик уплывал на каком-нибудь волшебном корабле или на спине гуся-лебедя в далекие страны или думал о том, как хорошо было бы достать маленьких веселых человечков с карандаш ростом или чуть побольше. Лучше поменьше. Они могут ездить на курице. Это очень смешно.

— Над чем ты смеешься, Толлин? — слышится голос Елены Емельяновны.

Маврик старается больше не думать о постороннем. Но постороннее само лезет в голову. Сам по себе приходит Екатеринин день — тети Катрины и бабушкины именины. Очень трудно не думать о них, когда соберутся все. Все-все! Три тети Лариных дочери. Три дяди Лешиних девочки. Придет Санчик с Илюшей. Краснобаевых едва ли разрешат приглашать. Все не усядутся за столом. Их можно позвать в другой раз. Запросто. Без рыбных пирогов и желе. Но что подарить тете Кате и бабушке? Бабушке можно подарить рисунок, а вот тете Кате?..

— Маврик! — говорит присевшая рядом с ним на парту Елена Емельяновна. — Урок давно уже кончился. И все ушли. О чем ты думал сейчас?

— Я?.. Обо всем. Хорошо бы... хорошо бы, Елена Емельяновна, если бы не было зимы, — выдумывает он, — если бы в школе можно было учиться ночью. Во сне. Когда спишь. Спишь — и учишься во сне. Семью семь — сорок семь.

— Сорок девять, — поправляет учительница.

— Все равно, — соглашается Маврик. — И время бы ночью не пропадало на разные сны, и днем бы не нужно его терять...

Елена Емельяновна крепко прижимает к себе Маврика. Если у нее будет сын, то пусть будет такой. Двоечник. Фантазер. Выдумщик. Но только такой.

— А ведь я вас тоже люблю, Елена Емельяновна, — прикикает к ней Маврик. — Не больше, чем тетю Катю, но и не на очень меньше. На дважды два — четыре. А может быть, и на одиножды один... На один!.. И вообще, — добавляет он, — Валерий Всеволодович Тихомиров для вас хорошая пара. Только его могут посадить в тюрьму... Но что же делать... Мой дедушка тоже сидел шесть дней.

У Елены Емельяновны холодеют руки, немеет язык. И она спрашивает:

— Ты знаешь, сколько тебе лет, Маврик?

— Мне? Я только на два года моложе Леры Тихомировой.

— А она-то тут при чем?

— Просто так, — неопределенно ответил Маврик и принялся укладывать в ранец свои книги, тетради, карандаши.

Елена Емельяновна долго еще сидела в классе, после того как ушел самый плохой и самый любимый ученик Маврикий Толлин.

Екатеринин день в Мильве был шумным, пьяным, пляшущим, провожальным днем горьких разлук любящих сердец и тягостных расставаний друзей. Это был последний день рекрутского набора, день призыва на тяжелую бесправную службу в армию муштры, мордобоя, в армию разнuzданного жестокого произвола, последовательного истребления в человеке всего человеческого.

С утра плачут в Екатеринин день осипшие еще вчера тальянки, двухрядки, венки и дедовские семиладки с колокольчиками. Ватагами ходят по заводским улицам новобранцы — «некруты» с товарищами, молоденькими женами, родней, соседями и просто досужими провожателями.

Через двойные рамы окон слышит Маврик истошные песни, женские причитания и пьяные выкрики. Со Скворцовой улицы тоже многим «забрили лоб». Уходит в солдаты младший брат Артемия Гавриловича Кулемина — Павел. Жалко. Хороший молодой токарь. Приветливый. Молчаливый. Хотел жениться на старшей Санчиковой сестре — Жене. Ждал Екатерининного дня. Надеялся, что не возьмут. Тогда была бы свадьба. И могли бы его не взять. Завод подавал какие-то «тихие» списки — на «тароватых» мастеров из молодых. Их не брали. Находили непригодными к военной службе. И Павла, как «быстро и точно» токаря, тоже хотели оставить, да не оставили. Нашлись почище. С деньгами. Сумели дать. А у кого есть деньги, тот все купит. И цеховое начальство и волостную власть.

Жалко. Очень жалко. Прощай, Женечка Денисова. Она обещает ждать. Какое там «ждать»! Сколько лет службы! Пусть уж одна молодость гибнет, а не две.

Рекрутский набор в Мильве принимался как неизбежное зло, как неминуемая болезнь. Уж коли суждено переболеть в детстве корью или скарлатиной или быть лицу изъеденным оспой — никуда не денешься, как и от солдатчины. Царствовали веками «проверенные» изречения утешительного самообмана: «От судьбы не уйдешь», «Кому что написано на веку...» и так далее — добрая сотня пословиц, присловиц, поговорок, канонизированных «мудрыми».

...Сегодня Маврик не пошел в школу. Предстояло много интересного. Тетя Катя за себя и за прихварывающую бабушку отстояла обедню, получила первые поздравления «со днем ангела, с Катерининым днем» и вернулась домой принимать «поздравителей» и визитеров.

Перебывало до десятка нищих и, конечно, Санчикова бабка Митяиха, получившая кроме специально для нее испеченного небольшого изюмного пирога двугривенный. Просто нищим, из непривилегированных, давалось по две новеньких блестящих, наменанных в казначействе копейки. Копейку за здоровье одной Екатерины и копейку — другой. Если же нищий или нищенка, благодаря за подавание, упоминали имя покойного Матвея — давалась еще копейка.

Юродивых, блаженных, обиженных богом разумом дурачков в Мильве числилось до двух, а то и более дюжин. Такое количество «нетунайных людей» было заметным излишеством и для многонаселенного Мильвенского завода. Для него хватило бы вполне и одной дюжины. Правда, не все из ближних и юродивых заслуживали находиться в этом разряде.

Тишенька Дударин не притворялся дурачком. Он был им. Но все же дурачком «себе на уме». Бегая босым по снегу, выкрикивая «вещие» слова, услышанные от других, а то и подсказанные другими, он привлекал к себе внимание и значился в разряде юродивых уже потому, что его способность бегать босым по снегу в морозные дни поражала и самого доктора Комарова, не находившего этому объяснения.

В зашеинском доме и вообще в чьих бы то ни было домах Тишенька никогда не бывал и милостыни не собирал. А сегодня он, босой и продрогший, выглядевший более чем всегда долговязым, прибежал к Екатерине Матвеевне и принес на посеребрянной тарелке очень большую, не менее полутора-двух фунтов, румяную просфору. Войдя на кухню, он принялся бормотать:

— Во весь роток свистит свисток... Обедать пора! Обедать пора! А великомученица-то... Великомученица-то с небес сошла, в часовенку зашла... Слава тебе, восходи-восподь, слава тебе... Изыде, архангел Михаил, тут мой каменный домик, моя кирпичная келейка... Изыде, изыде! — прокричал он и подал просфору.

Не взять просфору от блажененького Екатерина Матвеевна не могла, как не могла и принять ее, испеченную Дудариной, у которой теперь открыто жил ушедший на покой бывший кладбищенский поп.

— Спасибо. Поставь на стол,— сказала она Тишеньке и, не зная, чем отблагодарить его, вспомнила о старых подшитых валенках Матвея Романовича, лежавших в кладовке, сказала.— Подожди, я сейчас отблагодарю тебя!

Тишенька увидел через дверь Маврика и снова принялся наговаривать:

— Иван-дудак в гробу сопрел... Непрелый Герасим на пиво сел...

— Хватит, Тишенька,— остановила его Екатерина Матвеевна.— Не от бога эти слова, а от злых языков. Это тебе от Матвея Романовича,— сказала она и подала подшитые валенки.

Тишенька тут же обулся в них и забормотал:

— Ногам тепло... Голове холодно,— и убежал.

Через минуту он мчался босым по Большому Кривулю и, размахивая валенками, кричал:

— Турчака-дурчака в валенки обувай... Архангела не обуешь...

Просфору Екатерина Матвеевна отдала старому нищему, прибавив к ней медный пятак, и наказала ему:

— Молись о смягчении кары грешной души Михаила.

— Буду, матушка, буду,— понимающе ответил старик, опуская в кошель тяжелую милостыню.

В этот день была получена и другая просфора, посланная протоиереем Калужниковым с соборным диаконом, поздравившим обеих Екатерину и пригласившим их на открытие часовни, имеющее быть после свистка на обед. Им же было вручено «Житие великомученицы Екатерины», отпечатанное тем же шрифтом, что и листовка, которую все еще помнили в Мильве.

— Поучительное житие, доподлинно и специально перепечатанное для мирян в типографии господина Халдеева,— сообщил диакон, не смеющий отказать себе в откушении рыбного пирога, а ровно в испитии двух чарочек в честь двух именинниц и третьей для усиления голоса, который понадобится ему сегодня на молебне в честь открытия Екатерининской часовни при многочисленном стечении почитателей великомученицы и носящих имя ее.

Все шилось слишком белыми нитками, и это настораживало чуткую Екатерину Матвеевну. В этом было что-то нарушающее основы веры и оскорбляющее великомученицу и носящую ее имя Екатерину Матвеевну. Но ведь она-то здесь ни при чем, и ей не следовало ходить на открытие часовни, чтобы не дать пищу молве.

Это же подтвердил и Терентий Николаевич, появившийся испить свою чару и подарить низенькую скамеечку, на которой хорошо сидеть у топящейся печки.

И забежавший в обед Артемий Гаврилович Кулемин тоже одобрил решение Екатерины Матвеевны.

— И хорошо, что не пошли туда,— сказал он,— тем более что икона весьма и очень похожа на вашу фотографическую карточку ранней молодости. Конечно,— постарался смягчить он,— все девичьи лица имеют схожесть, и чего не надо искать, того нечего и выискивать. Но ведь могут найтись люди... И все же кто бы что бы ни говорил, а я скажу, что и отцу протоиерею приходится нынче кадить подумавши.

Большого он сказать не мог. Но и этого вполне хватило, чтобы впервые за всю жизнь Екатерина Матвеевна усомнилась в святости икон. Не всех, разумеется, а некоторых...

V

Штемпельная мастерская «Киришбаум и К^о» процветала. Заказов оказалось куда больше, чем предполагал, чем хотел Григорий Савельевич и чем нужно было для его главной работы.

Григорий Киришбаум, имевший дело с подпольной печатью, убедился, что неизбежная громоздкость типографий и при малых размерах оборудования приводит нередко к провалу.

И в самом деле, как доказывал он товарищам по подполью в Перми и Екатеринбурге, всякая, даже маленькая, типография должна иметь, кроме шрифтовых ящиков-касс, печатную машину. Пусть самую небольшую, но все равно требующую места. И если печатается всего лишь тысяча листовок, это тую бумагу, который нужно внести, а затем вынести, что всегда нелегко.

И подпольную литературу трудно перебрасывать на далекие расстояния. Это связано с риском и жертвами. Другое дело, если вся «типография» может быть спрятана в голенище сапога, в переплете книжки, за подкладкой дамской сумочки и где угодно, вплоть до пирога, в который ее можно запечь.

Киришбаум доказал, что листовки должны печататься на месте их распространения и при этом простейшим способом. А для этого нужно централизованно изготавливать каучуковые штемпеля-стереотипы, которые легко пересылать, перевозить, переносить в самые отдаленные уголки страны. И даже самая маленькая подпольная группа, и даже один человек могут в лесу, в квартире, в купе вагона печатать листовки. Для этого необходимы всего лишь лоскуток сукна, пропитанный штемпельной краской, бумага и доска наподобие пресс-папье, на которую наклеивается штемпель-стереотип. А если применить простейший рычаг или пресс, то можно сравнительно быстро сделать многие сотни оттисков.

Григорий Киришбаум утверждал, что прокламация может быть очень маленькой по размеру и краткой по тексту. Кто мешает изготовить множество штемпелей-призывов: «Долой самодержавие!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Боритесь за восьмичасовой рабочий день!»... И такие штемпеля можно ставить на театральных афишах, на листах книг, выдаваемых в библиотеках, на кромках тканей, продаваемых в магазинах, на конвертах писем, на стенах домов и всюду, где представляется возможность подпольщику сделать отпечаток и остаться неуловимым.

Созданная уральцами штемпельная мастерская в Мильве была подчинена Казани. Придерживались проверенного принципа — дальше спрячь, ближе найдешь, лучше сохранишь.

Казанские товарищи установили хорошую связь. Коммивояжер-экспедитор, обслуживающий земский писчебумажный склад в Мильве, поставлял некоторые мелочи для мастерской Киришбаума. Мало ли новинок в мире штемпелей и печатей!

Почему не удружить приятному человеку Киршбауму и не заработать на нем лишнюю десятку? Так говорил он, объясняя свое посещение штемпельной мастерской. Экспедитор, будучи человеком оборотистым, всегда что-нибудь увозил из Мильвы. Теперь он увозил все то, что в предыдущий приезд было заказано Григорию Савельевичу.

Киршбаумы и не представляли, что они будут так довольны своей работой. Сбылось задуманное. Отсюда, из далекой Мильвы, затерявшейся в прикамских лесах, они рассказывают людям, живущим в Казани, в Самаре, в Нижнем, в Саратове, в Царицыне, о самом главном, о том, как добыть счастье для всех людей.

Казань будет пересылать штемпеля и в южные города России. И там, где-нибудь в Феодосии, в Симферополе, будет печататься и читаться рожденное здесь, на Песчаной улице.

Штемпелей изготовлялось все больше и больше. Этим занималась Анна Семеновна. Пока дети были в школе, она набирала одну полоску, не более листка школьной тетради. Сделав набор, она приступала к изготовлению прочной каолиновой матрицы, тотчас же разбирая набранную полоску листовки или странички брошюры, чтобы на случай неожиданного, хотя и никак не ожидаемого обыска расплющить ладонью сырую матрицу.

И когда каолиновая матрица-форма затвердевала, можно было изготовлять самые штемпеля. Для этого нужно на подогретую матрицу положить лист сырой резины, затем зажать этот лист также нагретой крышкой пресса, вдавливающей резину в форму-матрицу, а затем ждать, когда сырая резина, «испекшись», станет штемпелем. Этот процесс вулканизации, хотя и не такой сложный, но и не такой скорый, был перенесен к Артемию Гавриловичу Кулемину, освоившему нехитрую науку в течение нескольких дней. Но и кулеминская баня тоже оказалась не очень подходящим местом для изготовления резиновых стереотипов. По предложению Валерия Всеволодовича вулканизация была переведена в надежнейшее место, на тихомировскую мельницу, куда был нанят сторожем слепой Дизель — Мартыныч. Ему было сподручнее жить на заброшенной мельнице, ловить рыбу, что делал он не хуже зрячих, и получать от «генерала» Тихомирова десять рублей в месяц за то, что он живет на мельнице и кормит старого пса Голиафа, которому тоже нечего было сторожить, кроме всячего замка на дверях старого дома, служившего Тихомировым летом дачей и пустующего зимой.

Наняв Мартыныча и дав ему обжиться, Валерий Всеволодович познакомил его с человеком, имени которого слепой не знал и называл просто Мастером. Тихомиров сказал Мартынычу:

— Всякий, у кого есть свои тайны, умеет уважать чужие секреты.

— Это верно, — ответил Дизель, не допытываясь, о каких тайнах идет речь.

Когда же Валерий Всеволодович очень прозрачно намекнул, что тысячи и сотни тысяч листов, зовущих к правде, значат больше, чем одна даже такая хорошая прокламация, которую ему довелось читать минувшей осенью и автора которой никогда и никто не найдет, Мартыныч на это ответил:

— Не худо ты, Всеволодыч, в темноте видишь. До тебя и слепому далеко, — а затем сказал прямо: — Помогу, чем только могу.

И как-то заскрипел снег. К лунке, где ловил рыбу Мартыныч, подошел человек, пожелал счастливого улова и принялся бить пешней свою лунку, затем, как бы между прочим, сказал:

— А я ведь тоже мастер из-под льда окуней таскать...

Дизель понял, кто этот «мастер», и сказал:

— Коли мастер, так поучи.

Артемия Гавриловича Кулемина знали в Мильве как «ушибленного рыбой», как человека, для которого «и семь верст не околица ради десятка ершей, и мороз не препона отъявленному рыбаку». Поэтому ловля рыбы на Омутихинском пруду и появление Кулемина в избушке Мартыныча ни у кого не могли вызвать подозрения.

Три вулканизационных пресса были перевезены в ящике с полозьями, куда обычно мильвенцы складывали припасы, снасти, еду, а затем сидели на этом ящике подле лунки, пробитой во льду. В этом ящике будет увозить Артемий Кулемин на мельницу каолиновые матрицы, а оттуда привозить отвулканизированные стереотипы листовок, прокламаций, страниц будущих подпольных книжек.

Слепой ученик оказался на редкость переимчивым и обогнал своего учителя в умении «чувствовать нажим пресса» и в способности определять по запаху начало и конец вулканизации.

Киришбаум искал сложностей, а они были в простоте. В хитрейшей простоте. Разве не этими словами следует назвать упаковку очередной партии стереотипов, уложенных в бадейку и залитых топленным маслом, которое в Мильве значительно дешевле, чем в Казани? И всем, даже самому глупому полицейскому на пристани, ясно, зачем «мелкий делец» из земского склада уврзлит из Мильвы разные разности вплоть до мильвенской плотвы, засоленной под сосьвенскую селедку.

В конце концов Киришбаум понимал, что кажущаяся простота конспирации достигалась большой изобретательностью, напряженными поисками многих товарищей. И его поисками тоже. И он был счастлив.

Мартыныч тоже был по-своему счастлив. Читая и перечитывая на ощупь стереотипы, он прозревал. Оставаясь слепым, начинал видеть мир, залитый счастливым светом. Этот свет всего лишь брезжил, когда он был зрячим и работал в синодальной типографии. А теперь он так счастливо видит свою страну солнечной и свободной.

И если он сумеет прессовать эти резиновые пластинки всего лишь одну зиму, один месяц, а потом его арестуют, то все равно он скажет, что не зря прожил жизнь. Он помогал революции, которая будет и которая не может не быть.

VI

К елке готовились сдержанно. День ото дня хуже и хуже чувствовала себя бабушка Екатерина Семеновна Зашейна. Маврик подолгу просиживал возле ее постели.

На последней неделе перед рождеством, когда Терентий Николаевич привез и поставил в снег за окном большую пушистую пихту и бабушке стало гораздо лучше, она, усадив Маврика рядом с собой на низенькой кровати, доверительно и спокойно сказала:

— Пора уж, Маврушенька, мне к дедушке собираться.

— Почему же пора, бабушка? — спросил Маврик. — Тебе еще только семьдесят девять лет. И ты обещала пожить с нами еще четыре года, до дедушкиных восьмидесяти трех годов.

— Так-то оно так, голубок, да не получается. К себе дедушка требует. Сегодня опять во сне приходил. Исхудалый такой, в неглаженной рубашке и ласковехонько так сказал: «Стосковался я, Катенька, без тебя, давай начинай подсобирываться».

— А ты что сказала ему, бабушка?

— А что я? За всю жизнь твоему дедушке поперечного слова не говорила и тут не сказала. Только, говорю, до весны-то уж не так долго ждать, Матвей. И Терентию, говорю, на Мертвой горе талую землю легче копать... И меня, говорю, по теплой поре больше народа проводит...

— А он что, бабушка?

— А что он? Он, как и ты... Что в голову войдет — вынь да положь. Не отступится. На хорошем у нас месте старая баня стояла, а ему вступило в голову передвигать ее... Я и пять перечесть не успела, а баня пошла-поехала на новое место. А зачем, спрашивается, ей на новом месте быть? Аршином дальше, аршином ближе — не все ли равно? Характер...

Маврик не может согласиться с требованиями бабушки, ему хочется внушить бабушке, чтобы она отложила свой уход, он искренне верит, что это зависит только от нее. И он убеждает:

— Ну право же, бабушка, ну чего же хорошего сидеть с бабушкой на облачке. Насидишься еще. Разве хуже тебе пить чай с горячими талабанками, рассказывать сказки, ходить к обедне? Тетя Катя купила двух уток, большого гуся и будет к рождеству запекать окорок. Знаешь, какие будут вкусные корочки...

— Да как не знать, Маврушенька... Только отъела уж я их. Три зуба осталось. И главное, рубаха там у него неглаженная...

— Ну неужели же, бабушка, надо умирать ради рубахи, — не соглашается внук. — Неужели там ему некому ее выгладить? Сколько там хороших знакомых, мильвенских покойников...

— Не в одной рубахе дело, Маврушенька. Рубаха — что? Зовет он. Зовет меня...

Долго разговаривает Маврик со своей бабушкой, прося ее не покидать их, потому что тогда совсем пусто будет в доме.

Говорят они серьезно, рассудительно, будто речь идет не о конце жизни, не об уходе навсегда, а о поездке в Пермь или в другой город, и будто эту поездку можно было отменить или перенести. Тем не менее бабушка соглашается подождать до весны. Ей значительно лучше. Но дедушка Матвей Романович оказался настойчивее своего внука.

В сочельник вечером бабушку соборовали при стечении всей родни. Горели свечи. Соборовал отец Петр, самый уважаемый священник в Мильве.

После соборования остались только свои да Марфенька-дурочка. Все тихо расселись в большой комнате, где у стенки стояла новая крашеная крестовина для елки.

— Ну вот, — сказала Екатерина Семеновна, — посидим перед дорогой. С сухими глазами простимся. Слушайся папочку, — обратилась она к Маврику, — слушайся, как родного отца. А вы, Герасим Петрович, — перевела она взгляд на Непрелова, — не отличайте детей. Не дайте моим и дедовским косточкам почернеть против вас.

Герасим Петрович наклонил голову и тихо пообещал:

— Не дам, Екатерина Семеновна. Обещаю при всех.

— Ну и бог благословит тебя за это, Герасим Петрович. А ты, Катенька, — обратилась Екатерина Семеновна к дочери, — за дом не держись. Зачем он тебе одной? Стены — не память. Бревна они есть бревна. Дерево. Но кому ни попади тоже не продавай. Чтобы мне ли, Матвею ли в день своего ангела не совестно было в этом доме побывать.

— Ну зачем ты об этом, мамочка? — остановила старушку Екатерина Матвеевна.

— Обо всем надо не забыть. Вон уже сколько часов, — кивнула в угол, откуда послышался бой часов. — Долю выделишь Мавруше на уче-ние, как было сказано его бабушкой. И зачем только кудри ему состригли? — сказала она, привлекая к себе стриженую голову внука. — Не ссорьтесь, дочери, без меня. Обедя дорогого не надо затевать. А водочки-то купи. Без нее какие поминки. Да ведь и рождество... Люба, глянь в окно, зажглась ли первая сочельничья звезда?

— Много звезд, мамочка, — ответила Любовь Матвеевна, — яркие звезды.

— Значит, родился уж,— кротко улыбаясь, сказала старушка.— Дождалась. Открой, Катя, миску со святой водой. И положи меня на кровать. Не ссорьтесь тут без меня,— еще раз попросила Екатерина Семеновна, обращаясь ко всем, и махнула на прощание слабеющей рукой.

Как никогда горько Екатерина Матвеевна осознавала свое женское одиночество и почему-то подумала в эти минуты об Иване Макаровиче Бархатове. И ей стало стыдно.

Неторопливая смерть кротко смежала покорные старые веки Екатерины Семеновны. Дочери, чтобы не омрачить тихого ухода матери, сдерживали рыдания. Плач начался тотчас, как Марфенька-дурочка сказала, указывая на миску с водой, стоящую на столе:

— Глядите, глядите, кунается в воде ее душенька...

Маврик этого не видел и не мог видеть, потому что он был обыкновенный, а не блаженный. Марфенька же видела, как душа Екатерины Семеновны, трижды окунувшись в святой воде миски и этим смыв с себя все земное, подлетела к портрету Матвея Романовича и коснулась его лица, после чего Матвей Романович улыбнулся душе. Этого Маврик тоже не мог видеть по той же причине. Но что это было именно так — мальчик не сомневался.

VII

В эту зиму не было елки у Маврика. А та, что доставил Терентий Николаевич, пошла на похоронную хвою. Обрубленные ветви елки были разбросаны вместе с другими привезенными из леса от зашеинского дома до кладбищенских ворот.

Траур по бабушке не позволил Маврику побывать и на других елках. Ему не запрещали этого, но ему было понятно и так, что в этом году неприлично скакать и петь по крайней мере сорок дней после смерти бабушки, которые он проживет у тети Кати.

Тетя Катя очень часто плакала по бабушке, и Маврику приходилось каждый раз утешать ее.

— Неужели ты, тетя Катя, не понимаешь, что ей там будет лучше с дедушкой. О чем же ты?

— Лучше-то лучше,— соглашалась тетя Катя,— но дома тоже неплохо было мамочке.

Это настораживало мальчика. В бога, в загробную жизнь он верил твердо и непреложно.

Тягостно тянулись сорок дней большого траура, но не успели они кончиться, как пришло известие о смерти бабушки Толлиной. Начался второй траур, хотя и не такой строгий.

Хоронить ее никто не поехал. Письмо из богадельни пришло после того, как она была похоронена. Да и кто мог поехать! У мамы на руках маленькая Ириша, у тети Кати свое горе. Да и зимой из отрезанной Мильвы не так-то просто, а главное недешево было поехать в Пермь.

В письме сообщалось, что оставшееся имущество после Пелагеи Ефимовны Толлиной передано монастырю, взявшему на себя расходы по похоронам. А о том, что в бабушкиной подушке были зашиты для Маврика деньги и эти деньги выпорола из подушки старуха Шептаева, кровать у которой была напротив бабушкиной,— об этом никто не знал.

По бабушке Толлиной тоже было заказано сорокадневное моление. Бабушка ведь... Хоть и строгая, но мать Маврикова отца.

Нехорошая была эта зима. Траурная. Снег и тот лежал какой-то черный. Говорят, что переменился ветер и дул из Замильвья — от этого садилось много сажки из заводских труб.

Была этой зимой еще одна смерть. Умер Иван Иванович Дудаков. Маврику тоже пришлось быть на его похоронах, потому что Иван Иванович всегда угощал Маврика конфетами «Снежок». Отчим и мать Маврика также любили Ивана Ивановича и плакали у его гроба. Но в этих слезах кроме горя было что-то другое. А что — Маврик не хотел догадываться. Нельзя сказать, что ему было стыдно за мать, но как-то все-таки было неудобно, когда сразу же после похорон пришла телеграмма от хозяина фирмы «Пиво и воды». Болдырев сожалел о смерти честнейшего человека Ивана Ивановича Дудакова и в этой же телеграмме назначил, согласно воле покойного, на его место господина Непрелова.

Жена Ивана Ивановича, как ни просили ее Мавриковы папа и мама, не захотела оставаться в старой квартире и сразу же после похорон начала продавать вещи, которые ей были не нужны.

Она через день освободила квартиру. Пришла Кумыниха и Санчинова мать и вымыли комнаты горячей водой с карболовой кислотой, чтобы не пахло покойным Иваном Ивановичем и ладаном. Запах карболовой кислоты убивает все запахи.

Длинная и узкая, как пенал, квартира стала квартирой нового доверенного — Герасима Петровича Непрелова. Маврик там тоже получил хороший уголок с письменным столиком и полкой для книг. В квартире тепло и светло, но квартира чужая. Кухня в доме у тети Кати и та ближе, роднее, дороже.

Герасим Петрович теперь не конторщик. Он будет получать семьдесят пять рублей в месяц при готовой квартире, при готовых дровах и освещении за счет фирмы, да еще особо по копейке с каждого проданного ведра пива и по три копейки с каждого ведра игристых фруктовых вод. Воды идут плохо. Их пьют только благородные и попы. А остальные предпочитают пиво. Вода — это газ и ничего больше. А пиво — это сытость. Оно хлебное.

Герасим Петрович теперь вполне может одеться в кредит у Куропаткина. Будет чем заплатить. И они с мамой покупают одежды, а длинный сюртук для визитов и для общественного собрания заказывают. Куропаткин шьет даже рясы, подрясники и форменное платье. У него пять швейных мастерских. Заказывай что хочешь, если ты кредитоспособный заказчик.

Непреловым хотелось объявить приемные среды или четверги, но год был траурным. Придется повременить, хотя тетя Катя и говорит:

— Пожалуйста, Герасим Петрович, пожалуйста. Вы теперь лицо коммерческое, а мамочка вам не родная мать, и вас никто не осудит.

Но Герасим Петрович человек учтивый и осторожный, ему не хотелось хоть чем-то оказаться неприятным Екатерине Матвеевне, безупречной во всех отношениях, разумеется, кроме воспитания Маврика, которого она любит непростительно и пагубно «чересчур»...

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

I

Скрытая, кропотливая работа петербургских ищеек, неустанное изучение дел сосланных большевиков, проверка круга их знакомств, разведывательная работа среди эмигрантов за границей позволили в удивительной тишине кабинетов политического сыска столицы, куда стекалось множество сведений, на первый взгляд и не имеющих никакого отношения к слежке, распознать некоторые новые следы. И один из них вел в Мильвенский завод, на Купеческую улицу, в дом Тихомирова.

Валерий Всеволодович Тихомиров, подозреваемый в причастности к пятой конференции Российской социал-демократической партии, происходившей два года назад в Париже, но не уличенный даже косвенно, был выслан из Петербурга в Мильву на срок, определенный ничего не определяющими словами: «впредь до выяснения».

«Выяснения» показывали, что находящийся под гласным надзором Тихомиров ведет себя безупречно, подозрительных знакомств не заводит, суждения имеет либеральные, но не представляющие большей опасности, чем суждения того же доктора Комарова и других господ, болтающих иногда о прибавке жалования учителям и об открытии больниц для простого народа.

Донесения мильвенского пристава Вишневецкого подтверждались надежнейшими сообщениями тайных агентов, о существовании и работе которых в Мильве не знал пристав, так как они были подчинены непосредственно губернскому жандармскому управлению. И косвенно проверяли деятельность всех чинов, в том числе самого господина Вишневецкого.

Агенты добросовестнейше перечисляли всех знакомых Тихомирова, включая Илюшу и Маврика, бывавших в тихомировском доме и любимых молодой женой Тихомирова — Еленой Емельяновной, урожденной Матушкиной. О мальчиках упоминалось в донесениях не по глупости агентов, а по прямому указанию наезжающего в Мильву резидента из губернии, сказавшего, что «и собака может быть связным коварных подrywников устоев империи». Поэтому, видимо, с тихомировской собаки Пальмы, одержимой весенними радостями и бегавшей по улицам, был снят ошейник. И если уж в собачьем ошейнике искалось крамольное, то почему бы не предположить, что смысленный Илюша Киршбаум и обиженный кладбищенским попом Маврикий Толлин, принятые во многих домах, не могли быть использованы как связные, причем мальчикам необязательно знать об этом. Отдай дяде имярек конверт с деньгами да смотри не потеряй, не показывай, еще вытащат. Вот и тайная связь через связного, не посвященного в тайну.

Окруженный редкостным вниманием двойного и даже тройного сыска (отец протоиерей тоже интересовался Валерием Всеволодовичем), Тихомиров аттестовался с самой хорошей стороны. И все шло к тому, что будут сняты ограничения в передвижении Тихомирова по империи и ему снова будет разрешено проживание в столичных городах, но Вишневецкий получил краткий приказ об усилении надзора за Тихомировым. А затем подробное разъяснение, в котором говорилось, какие вопросы и как нужно задавать Тихомирову и о чем нужно сообщить в течение ближайшей недели.

Ревностный пристав отправился к Тихомирову.

II

— Христос воскресе, господа... Христос воскресе, ваше превосходительство! Христос воскресе, Варвара Николаевна! Христос воскресе, Валерий Всеволодович,— поздравил Вишневецкий всех и каждого по очереди из Тихомировых, произнося слова пасхального приветствия, как «здравия желаю».

Его провели, предложили сесть, а затем Валерий Всеволодович спросил, в чем он провинился и за что наказывает его Ростислав Робертович столь редким посещением.

— Я и сегодня не решился бы навестить вас, Валерий Всеволодович, если бы, во-первых, не особые обстоятельства и, во-вторых, не христианский и дворянский долг нанести праздничный визит.

— Полагаю, мы начнем разговор с «в-третьих». Рябиновой или шустовского с колоколом? — спросил Валерий Всеволодович, когда отец и мать, извинившись, удалились в соседнюю комнату, где нужно было продолжить с протоиереем Калужниковым разговор об открытии мужской прогимназии.

— Я однолюб. Остаюсь верен все той же рябиновой.

— И я! — сказал Валерий Всеволодович, откупорив высокую коническую бутылку рябиновой. — Воистину воскресе, Ростислав Робертович.

Выпили стоя, не чокаясь.

— Шустов прославит себя в веках не коньяком, а, уверяю вас, рябиновой.

— И я такого же мнения, Ростислав Робертович! Мне иногда приходит в голову не где-то, а в нашем рябиновом краю создать хотя бы небольшое предприятие северных вин... малиновых... рябиновых... черемуховых... можжевеловых... смородиновых... брусничных и... и даже березовых. И не смейтесь! — предупредил Валерий Всеволодович. — В этом есть национальный шарм, и я уверяю вас, Ростислав Робертович, не прошло бы и пяти лет, как прибыли фирмы «Северные вина» стали бы измеряться сотнями тысяч рублей.

— Вы серьезно, Валерий Всеволодович?

— Пока нет... Но если Чураков, Куропаткин и овдовевшая парохдчица Соскина согласятся образовать акционерное общество, я бы не задумываясь отдал ему все свои силы.

— И поселились бы здесь? В Мильве? А столица?

— Кто же мешает бывать там раз или два в году? Было бы на что! Но я человек реальный. Не мечтая о журавле в небе, я предпочту ограничиться небольшой молочной фермой в пойме Омутинки. Неподалеку от нашей мельницы, а может быть, и на месте ее.

— И давно вы одержимы этим, Валерий Всеволодович?

— С тех пор, как женился. Впрочем, во мне давно, хотя я и не знал, живет предприниматель. В самом деле, какой-то Киришбаум приезжает в Мильву с тремя засаленными трещницами, ему оказывают кредит портные, сапожники, часовые мастера, и он менее чем через год становится предпринимателем — буржуа, который угрожает вытеснить, а затем съест малоприбыльную типографию вместе с господином Халдевым. Почему же безвестный делец из Варшавы может стать обеспеченным человеком, а я, столбовой дворянин, внесенный в третью бархатную книгу, должен зависеть от подачек своего отца, обуреваемого либеральными прожектами создания политехнической гимназии, как будто Мильве мало городского училища и технического.

— Что с вами произошло, Валерий Всеволодович?

— Ничего. Просто-напросто я недавно встретил на Омутинке обстоятельного человека. Герасима Петровича Непрелова. Нового доверенного пивного склада. Очаровательнейшая личность и великолепный охотник. К сожалению, не пьет.

— И что же он?

— Он поразил меня. Оказывается, для начала достаточно тридцати хороших холмогорских коров... Лучше тагилок, чтобы открыть молочную ферму. Масло кружочками. Масло брусками. Масло с кислинкой. Масло с слезинкой. А затем сыр — а-ля голландский, а-ля швейцарский, а-ля черт знает какой. Свой дом на опушке с видом на цветущий луг. Своя небольшая псарня... И, конечно, пруд. Пруд тоже не безубыточный и... И десять... пусть пять тысяч годового дохода, и ты... и ты граф Омутинский, герцог Примильвенский, кум короля, государев крестник.

— А идеи?

— Какие идеи?

— Возвышенные идеи общественного переустройства?

— А-а-а...— будто вспомнив, рассмеялся Тихомиров.— Идеи под старость. В папином возрасте, когда уже не нужно заботиться о хлебе насущном.

— А я думал, что сегодня обрадую вас, Валерий Всеволодович.

— Хотели предложить несколько тысяч в кредит?

— Хотел порадовать вас ожидаемым в скором времени снятием с меня попечения по надзору за вами и разрешением проживания вам, где только вы пожелаете,— лгал Вишневецкий.

— Увы и ах!— сказал, разводя руками, Тихомиров.— Разрешение проживать, где я пожелаю, пригодилось бы мне при деньгах. Петербург— это деньги. Москва— деньги. Лондон— тем более, а Париж— это деньги в квадрате, в кубе, в сто двадцать четвертой степени. Пейте, Ростислав Робертович, и спуститесь на землю. Зачем нам с вами свобода, которой мы не можем воспользоваться? Мы сосланы с вами в Мильву не кем-то, а обстоятельствами... Обстоятельствами имущественного состояния... Еще год тому назад я хотел удрать за границу...

— Разве это так просто, Валерий Всеволодович?

— Конечно.

— Каким же образом?

— Самым обыкновенным. Выходите вы из дому. С ружьем. С собакой. Все думают, что вы отправились на охоту. А вы отправились во Францию. И идете все прямо, прямо на запад.

— А паспорт?

— У вас же ружье, Ростислав Робертович. Вы же всегда можете с его помощью попросить встречного одолжить вам на время его паспорт, пообещать по миновании надобности выслать его ценным заказным... Наконец, Ростислав Робертович, ваш урядник за сто рублей выкрадет вам отличный паспорт. Сто рублей— это пять коров. Шестая— ферма. И в конце концов могли бы и вы как дворянин дворянину оказать паспортную услугу так, что вас никто бы не мог уличить при самом пристрастном разбирательстве дела.

— И мог бы. И могу! Я никогда не был трусом. Я был и остался уланом.

— Знаю. Я же вижу сквозь этот надетый теми же обстоятельствами имущественной несостоятельности полицейский мундир вашу добрую душу. Попроси я сейчас у вас что угодно— и я получу. Но мне не надо. Не надо. Здесь есть хотя бы свой стол, за которым я могу сидеть, и своя бутылка, из которой я могу наливать... А там? Что ждет меня там? Благородное нищенство? Скитания? А во имя чего? Я не утопист. И если в России произойдут какие-то реформы, то не ранее чем при наших внуках. Наливайте, пожалуйста, без церемоний, Ростислав Робертович...

— Я уже опьянен вашими речами,— сказал пристав.— Зачем вы мне говорите все это? Не играем ли мы в прятки, дорогой Валерий Всеволодович?

— Наверно. Людям трудно говорить правду в лицо. Ну как скажу, например, я вам— лицу официальному, что не вы за мною должны следить, а я за вами. Вы же не можете простить личных обид, нанесенных вам в полку, и разжалования вас в рядовые. Вы же отлично понимаете, оставаясь наедине с самим собой, что при иных обстоятельствах вы могли бы занимать пост товарища министра. Но этого не случилось. А отчего?

— Я не знаю,— сказал ошарашенный пристав. Он изо всех сил хотел не верить Тихомирову, но не мог. Не мог, потому что все, и агентура, не зная о разговоре пристава с Тихомировым, опровергала подозрения из губернии о побеге Тихомирова. Недавно Тихомиров более

двух часов провел у Герасима Петровича Непрелова, совещаясь с ним, как лучше и дешевле прикупить десяток шестидесят — семьдесят земельных угодий, прилегающих к мельнице на Омутихе. Тихомиров заботился и о деньгах. Он предлагал купцу Чуракову приобрести у него редчайшую коллекцию старинных пистолетов, которую начал собирать его дед, а отец подарил ему. Он побывал у нотариуса Шульгина и спрашивал его о ценах на землю и о возможных рассрочках платежей. Наконец, он из библиотеки города взял все книги, имеющие отношение к маслу, молоку, коровам. К тому же было перехвачено письмо, адресованное в Петербург книготорговцу Шаликову, с просьбой сообщить, какие книги он может достать о коровах, масле, молоке и обо всем связанном с этим. И все же то, в чем теперь был совершенно убежден пристав, и в малой доле не поколебало жандармское управление.

III

Нелегальная политическая литература, обнаруженная властями, обычно уничтожалась, кроме тех немногих экземпляров, которые нужны были как улики для следствия и как материал для выяснения сочинителей.

Среди таких неопознанных авторов листовок, статей, брошюр был некто, прозванный в политическом сыске Петербурга «ядовитым златоустом», «неуязвимым трубадуром». Написанное им узнавалось проверщиками текстов довольно быстро. Он не только не стремился изменять манеру своего письма, что делали иногда другие, а, наоборот, будто бравировал своей простотой, выразительностью фраз, выбором точнейших и острейших слов. По мнению большинства, этот «ядовитый златоуст» находился за границей. Политический анализ свидетельствовал, что это большевик, близко знающий Ленина.

Другие деятели столичной охранки утверждали, что «неуязвимый трубадур» очень даже уязвим, потому что эта «ядовитая кобра» живет в Казани или поблизости от нее. К этому прилагались доказательства — листовки, отпечатанные штемпельным способом, явно написанные тем же лицом, кого в сыском деле считают эмигрантом.

За штемпельными мастерскими Казани началась слежка. Следили за штемпельщиками и в Самаре, Саратове, Царицыне, Харькове. Если б знал Григорий Киршбаум, сколько хлопот причиняют жандармам его штемпеля!

Обнаруженные в одесском порту штемпельные листовки, а затем и один из штемпелей, изготовленный на омутихинской мельнице Мартынычем, дали повод предположить, что поиски нужно перенести в Турцию. «Трубадура» стали искать в Константинополе. Обещали награды частным сыщикам. Успеха не было. А «ядовитый златоуст» день ото дня становился опаснее. Написанное им пересказывалось, перечитывалось, запоминалось, ходило в списках. Это было не привычное «да здравствует» и «долой», а лаконичная, пламенная, неотразимая пропаганда, производившая впечатление и на тех, кто, служа царю-батюшке, поддавался сомнениям.

Дело росло и запутывалось. Оно, наверно, запуталось бы окончательно, если бы не пришел предательский пакет из канцелярии его императорского величества.

Оказывается, провизор Аверкий Трофимович Мерцаев, оскорбленный тем, что губернатор не соизволил заметить трактат о Тихомирове, жаловался на высочайшее имя.

Образованные и высокопоставленные жандармы Санкт-Петербурга не только прочли со вниманием вторично собственноручно перебеленный провизорский трактат, но и все, что можно было добыть из написан-

ного Валерием Всеволодовичем. В частности, был прочитан его студенческий реферат «Защита и обвинение», подшитый к следственному делу.

Подозрения подтвердились, утверждения не требовали дальнейших доказательств. Литературный почерк, манера письма, авторский стиль выдали Валерия Всеволодовича с головой.

Теперь все ясно. Нетерпеливый следователь торопит арест Тихомирова. С каким блеском будет предъявлено арестованному обвинение! С какой неоспоримостью ему будет доказано, как бессмысленно отрицать лексическую схожесть текстов! Затем суд... Каторга... Награждение следователя... Благодарность провинциальному аптекарю...

Все это так бы и было, если бы решал только следователь. Борзые и легавые чинами повыше решили, что торопиться с арестом не следует, так как всякому ясно, что Тихомиров не один. Через кого-то и кому-то им пересылались рукописи листовок и брошюр. А через кого? Кто и где его сообщники? В Казани? В Одессе? В Самаре? В Москве? Это необходимо узнать. Следовательно, нужно усиленно и умно следить. Однако слежка не дала никаких результатов. И даже напротив — осложнила дело. В печати более не появлялось ни одной тихомировской статьи. Ни одной листовки. Как отрезало.

Неужели его кто-то предупредил? Кто-то выдал тайну? Такое случалось в жандармских кругах. Все что-то стоящее может быть продано.

Тихомирова вторично насторожил тот же Мерцаев. Если в первый раз его разговор о статье «Скрытые резервы» можно было объяснить простым совпадением, излишней мнительностью Тихомирова, тем более что потом было все тихо и благополучно, то теперь этого сказать было нельзя.

Мерцаев, получив через губернского чиновника, побывавшего в Мильве, секретную благодарность из Петербурга, поделился этой радостью с женой. Правда, он попросил ее поклясться перед иконой хранить тайну до того, как сообщит ей, что его наконец-то удостоили чести быть тайным сыщиком империи. Жена Мерцаева не выдала этой тайны жене доктора Комарова просто так. Она заставила Конкордию Павловну Комарову тоже поклясться перед иконой и только после этого сообщила, что Тихомиров кандидат на каторгу.

Конкордия Павловна, принадлежа к независимым, передовым и прогрессивным, не стала заставлять Валерия Всеволодовича клясться перед иконой. Она рассказала все и посоветовала бежать.

Матушкин и Кулемин сообщили через Бархатова о положении дел. А Бархатов тем временем уже получил решение о переброске Тихомирова за границу. Оставлять далее его в России значило потерять талантливого пропагандиста, заметного партийного публициста. При переезде за границу партия сохраняла своего верного трибуна. Теперь оставалось осуществить побег.

Выполнение решения было поручено Бархатову, благополучная сапожная мастерская которого доживала последние дни. Туда повадились подозрительные клиенты. Зоркий Иван Макарович, имевший дело с петербургскими мастерами слежки, стал жаловаться шпицам на малые доходы и большие расходы. Готовясь к отъезду в Мильву, он говорил, что Пермь — дорогой город и что он отправится искать свое сапожное счастье в тихие места.

Мастерская была закрыта. Явка перенесена. Иван Макарович для отвода глаз ездил в Чусовую, в Пашию, в Кушву, но нигде пока не приглядел для себя места.

Наконец, прошел камский лед, и можно было отправиться в Мильву.

Еще вчера, перед отъездом в Мильву, казалось, что все обстоит очень хорошо. Филеры оставили Ивана Макаровича, а сегодня на пристани он почувствовал на себе чужие глаза.

Иван Макарович не знал, что жандармам известно о готовящемся побеге Тихомирова. Хотя донесения об этом были расплывчаты, в них не указывалось подробностей и фамилии связного, все же было сказано, что некто поедет в Мильвенский завод с первым пароходом.

Сапожник Бархатов, числившийся в подозрительных, купил билет до Мильвенской пристани.

На пароходе к нему пристал молодчик, сказавшийся приказчиком из Ирбита, которого прогнал приревновавший к своей жене хозяин магазина. Поэтому приказчику ничего не оставалось, как искать нового хозяина, а пока он не найдется, выпивать и закусывать.

Спешащий признаться в неблагоприятных поступках приказчик не мог не вызвать подозрения Ивана Макаровича, и он, желая проверить, что это за «приказчик», не отказался пообедать с ним на пароходе.

— А вы куда, ваша честь, изволите ехать? — спросил приказчик.

— Не знаю, — ответил Иван Макарович. — Может быть, сойду в Чермозе, а может быть, проеду в Чердынь. А вы?

— Я тоже не знаю.

— Значит, нам по пути. Вы ищете магазин, а я ищу, где можно будет открыть мастерскую по мелкому сапожному ремонту. Говорят, что в Пожве на этот счет рай.

— Ну, коли рай, — сказал деланно заплетающимся языком приказчик, — поедем вместе. Я приплачу к билету, и вся недолга.

— А докуда у вас взят билет, уважаемый?

Приказчик сделал вид, что не расслышал вопроса. Тогда Иван Макарович повторил его, и приказчик ответил:

— А я спяну и не посмотрел. Сказал — вверх по Каме и подал деньги. Где захочу, там и сойду. Понравится место, и сойду.

Подозрения оправдывались. Они оправдывались тем более, что приказчик и ночью появлялся на палубе, не пропуская ни одной пристани. Значит, не пропустит он и Мильвы. И Бархатов не ошибся. Камская пристань Мильвы была утром. Приказчик появился на палубе и сделал вид, что не заметил Бархатова. А Бархатов был уверен, что он тоже сойдет вместе с ним. Но в задачу «приказчика» не входило следовать по пятам за Бархатовым. Вместо него на пристани сошел другой. Вот он-то и пойдет по следу Бархатова. А «приказчику» всего-навсего нужно было проверить, не проспал ли, не проглядел ли его агент Бархатова.

Молодой и подающий надежды следователь жандармского управления Саженцев, хотя неуклюже, но небесполезно притворявшийся приказчиком, теперь был окончательно убежден, что Бархатов едет для встречи с Тихомировым и везет ему все необходимое для побега. И он почти не ошибался, если не считать, что Иван Макарович Бархатов, прошедший хорошую школу подполья, не вез при себе ничего. Это было бы слишком опрометчиво. Теперь, после встречи с приказчиком, Бархатов еще раз убедился, как правильно поступил он и его товарищи, отправляя в Мильву двоих. Второй никак не мог быть заподозрен, и его не посмели бы даже обыскать.

Но и следователь не так прост и легкомыслен. Он не оставит на попечение агента преследуемого Бархатова. Следователь застанет его на месте преступления в доме Тихомировых и тотчас допросит с уликами в руках. Поэтому он сойдет с парохода двумя-тремя верстами выше. За поворотом реки. Капитан остановит пароход и высадит чиновника особых поручений при губернаторе — у него есть и такие документы — на лодке у первой деревни. А там староста предоставит ему лошадь.

Игра стоит свеч.

(Окончание следует)

НОВЫЕ СТИХИ

Часовщик

Бывает, рядом человек
Живет негромко, незамечен
И славою не изучечен,
Живет, как будто пустоцвет.

А человек к тому привык.
Его не радуют ужимки.
Он века тонкие пружинки
Рассматривает, часовщик.

Он видит мелкие, как дробь,
Пульсирующие рубины.
И часики, неуловимы,
Качают время, словно кровь.

Они идти не устают.
Стучат негромко и
привычно.
И малые, как сердце птичье,
От башенных не отстают.

Их часовщик сработал сам
Не для похвал и одобренья.
И надо бы проверить время
По этим маленьким часам.

* * *

Все меньше думаю о том,
Кому понравлюсь, как понравлюсь.
Все больше думаю о том,
Куда пойду,
куда направлюсь.

Где путь меж добротой и злобой?
И где граничат свет и тьма?
И где он, этот мир особый
Успокоенья и ума?

Когда обманчивая внешность
Разочаровывает всех,—
Где это мужество и нежность,
Вернейшие из наших вех?

И нет священной злобы!
Нет,
Не может быть священной злоба.
Зачем, губительный стилет,
Тебе уподобляют слово!

Кто прикасается к словам,
Не должен прикасаться к стали.
На верность добрым божествам
Не надо клясться на кинжале.

Отдай кинжал тому, кто слаб,
Чье слово лживо или слабо.
У нас иной и лад и склад,
И все. И большего не надо.

Оправдание Гамлета

Врут про Гамлета,
 что он нерешителен,—
Он решителен, груб и умен,
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителем
И глядит в перископ времен.

Не помедлив, стреляют злодеи
В сердце Лермонтова или Пушкина,
Не помедлив, рубит гвардеец,
Образцовый, шикарнейший воин,
Не помедлив, бьют браконьеры,
Не жалея, что пуля пущена.
Гамлет медлит, глаза прищурил
И нацеливая клинок.

Гамлет медлит. И этот миг
Удивителен и велик.
Миг молчания, страсти и опыта,
Водопада застывшего миг,
Миг всего, что отринуто, проклято,

И всего, что познал и постиг.

Ах, он знает, что там, за портьерой,
Ты, Полоний, плоский хитрец.
Гамлет медлит застывшей пантерой,
Ибо знает законы сердец,
Ибо знает причины и следствия,
Видит даль за ударом клинка,
Смерть Офелии, слабую месть ее,—
Все, что будет потом, на века.

Бей же, Гамлет, бей без промашки,
Не жалея загнивших кровей:
Быть — не быть — лепестки ромашки!
Бить так бить! Бей, не робей!

Не по злобе, не от угару,
Не со страху, унявши дрожь!
Доверяй своему удару,
Даже если
себя убьешь...

Перед снегом

И постепенно устает вода,
И это означает близость снега.
Вода устала быть ручьями, быть дождем,
По корню подниматься, падать с неба.
Вода устала петь, устала течь,
Сиять, струиться и переливаться,
Ей хочется утратить речь, залечь
И там, где залегла,— там оставаться.
Под низким небом тяжелей свинца
Усталая вода сияет тускло.
Она устала быть самой собой,
Но предстоит еще утратить чувство,
Ей предстоит еще оледенеть,
Ей предстоит уже не петь-звенеть.
Ну, а покуда в мире тишина,
Торчат кустов безлиственные прутья.
Распутица кончается, распутица
Подмерзли, но земля еще черна.
Вот-вот повалит первый снег...



Линогравюра Ю. Иванова

Лев Шейнин

ПОМИЛОВАНИЕ

ПОВЕСТЬ

КОЛОТОВ ОБНАРУЖИВАЕТ ПРЕДАТЕЛЯ

В республике готовились к выборам в Верховный Совет. В городах и селах были расклеены лозунги, плакаты и портреты кандидатов. На предприятиях проходили предвыборные собрания.

Как-то в те дни к секретарю ЦК (это происходило в одной из республик) вошел его помощник и доложил:

— Вас хочет видеть по срочному вопросу некий товарищ Колотов из Москвы. Он приехал сюда в командировку, увидел портрет одного из кандидатов в депутаты и в связи с этим просит немедленно принять его.

— О каком кандидате идет речь? — спросил секретарь ЦК.

— Не знаю, Колотов говорит, что скажет об этом только вам лично.

— Ну что ж, пусть войдет.

И через две минуты в кабинет секретаря ЦК вошел пожилой человек, с седой головой, невысокий и сухощавый.

— Здравствуйте, товарищ Колотов, — встал ему навстречу секретарь ЦК, протягивая руку. — Садитесь, пожалуйста. Что привело вас ко мне?

— Действительно привело, — ответил Колотов. — Извините, я немного волнуюсь и вряд ли смогу достаточно коротко и связано все рассказать. Но дело серьезное.

— Понимаю, и, пожалуйста, рассказывайте подробно, время найдется,— ответил секретарь ЦК.

Колотов вздохнул, помолчал, а потом начал:

— Так вот, приехал я в вашу республику случайно, по командировке, не был в этих местах давным-давно, почти сорок лет. И вот вчера увидел я портрет кандидата в депутаты Верховного Совета... А ведь я его должен был убить... Этого самого Логинова... Понимаете, убить...

— Убить? — удивился секретарь ЦК.— Как это — убить?

— Да, убить как предателя,— повторил Колотов.— Мне было поручено это подпольным ревкомом. В Зареченске. Сорок лет тому назад. Дутовская контрразведка тогда напала на след нашей подпольной организации. В одну ночь было арестовано семеро коммунистов. Среди них и этот Логинов...

— И в чем же дело?

— А вот послушайте. Через месяц наших товарищей судил военно-полевой суд, всех семерых приговорили к смертной казни через повешение. Мы тогда ломали себе головы: кто же их предал? С одной стороны, все семеро были действительно активными участниками нашей подпольной организации, и с этой точки зрения контрразведка действовала безошибочно. С другой стороны — арестом этих семерых дело ограничилось, и это как будто говорило за то, что наши товарищи, несмотря на пытки в контрразведке, никого не выдали. Кто же их выдал? Мы строили разные предположения, и некоторые даже высказали подозрение, что один из этой семерки — провокатор. Правда, когда суд приговорил всех семерых к смертной казни, это подозрение было сразу отброшено. Ненадолго, к сожалению...

— А почему? — спросил секретарь ЦК.

— Вот здесь-то и начинается самое главное,— сказал Колотов и снова тяжело вздохнул.— Казнь была публичная, на базарной площади... Наш подпольный ревком постановил, чтобы три члена ревкома присутствовали при казни. Эти трое должны были стоять как можно ближе к виселицам, чтобы осужденные их видели и, таким образом, поняли, что дело, за которое они гибнут, не рухнуло. Этим мы хотели хоть как-то их поддержать... И вот одним из этих трех был я...

Колотов замолчал, и секретарь ЦК, заметив, как нарастает его волнение, сказал:

— Одну минуту, товарищ Колотов. Давайте попросим чайку. Разговор у нас, кажется, будет не короткий, судя по началу...

— Да, разговор большой,— согласился Колотов, стараясь совладать со своим волнением.— Ну что ж, от чая не откажусь.

Принесли чай. Колотов прихлебнул из стакана и стал продолжать:

— Рано утром мы пришли на площадь, где должна была состояться казнь, заняли подходящие места. Народ прибывал и прибывал, и к часу, когда была назначена казнь, площадь была забита до отказа. Теперь, вспоминая об этом страшном дне, я могу сказать, что разный там был народ. Были люди, искренне жалевшие осужденных и в глубине души сочувствовавшие нам; были и «тузы» из местного дворянства и купечества — народ жестокий, люто нас ненавидевший; были и просто обыватели, пришедшие полюбоваться острым зрелищем...

Колотов опять замолчал и долго сидел, опустив голову. Молчал и секретарь ЦК, хорошо понимая состояние своего собеседника. Потом, как бы очнувшись, Колотов сказал:

— Да, так вот, привезли, наконец, в тюремной карете осужденных. Эскадрон казаков с шашками наголо окружил их. Из кареты вывели по одному всю семерку, и палачи развели их к виселицам. Они были закованы в кандалы, и на площади стало так тихо, что звон кандалов разносился, казалось, по всему городу, и, не поверите, вот и сейчас, спустя

сорок лет, я слышу этот звон!.. Тут я всех их и увидел. И сейчас вижу как живых!..

Колотов достал папиросу, долго закуривал, а затем произнес:

— Извините, заговорился... В конце концов все это не имеет отношения...

— Нет, нет, почему не имеет? Напротив. Пожалуйста, говорите.

— Так вот одним из этих семи был Николай Логинов, студент Московского высшего технического училища. Случилось так, что я стоял почти против него — нас отделяла лишь цепь казаков, но мы хорошо видели друг друга... Он даже улыбнулся мне... И он и все остальные были страшно измождены, измучены, еле держались на ногах. Но все вели себя мужественно, и когда им накинули на головы мешки, они закричали: «Да здравствует партия!», «Слава революции!», «Да здравствует наша правда!», «Прощайте, товарищи!». Кричал и Логинов — я сам это слышал!..

И вдруг в самый последний момент, когда им уже накинули петли на шею, раздался сигнал трубы и на всю площадь прогремел чей-то бас: «Стойте, стойте!» К месту казни подскакал адъютант атамана Дутова. Он соскочил с седла, взобрался на эшафот и громко зачитал постановление о помиловании одного из семерых, а именно — Николая Логинова. И тут я услышал страшные слова: «Ввиду того, что Логинов раскаялся в своей злоумышленной деятельности и доказал это всем своим поведением — ему можно доверять»... Толпа ахнула. Тут же палач сдернул мешок с головы Логинова, и мы встретились с ним взглядом. Он был почти синим, как-то жалко смотрел на меня и шевелил губами, что-то шепча, но я ничего не слышал... Видимо, поняв это, он растерянно развел руками и отвел глаза.

И тут я вспомнил, что говорили товарищи, подозревавшие в одном из осужденных провокатора. Мне вдруг стало ясно, что этим провокатором был именно Логинов. Ведь в постановлении о его помиловании было прямо сказано, что он заслужил его «всем своим поведением».

— Да, дело серьезное,— медленно проговорил секретарь ЦК.— Как же дальше было?

— Сорок лет прошло с тех пор, но и сейчас я волнуюсь, когда вспоминаю об этом,— сказал Колотов.— Мне тогда хотелось плюнуть ему в лицо, крикнуть, что он — подлец, что мы отомстим ему за предательство. Но его тут же окружили казаки, увели в карету и увезли. Остальных повесили — повесили под барабанный бой!..

В тот же вечер на окраине города, в надежном месте, собрался наш подпольный ревком. Я и двое других товарищей, присутствовавших при казни, рассказали обо всем, что было. И мы поклялись при первой возможности уничтожить предателя. Мне поручили свершить это, и я бы, конечно, убил Логинова, но он загадочно исчез. У нас были связи с тюрьмой, нам удалось узнать, что в тот же день Логинова куда-то увезли — невесть куда, невесть к кому, невесть зачем. Все наши попытки разыскать его оказались безуспешными.

И вот вчера, в одном из районов вашей республики, я нашел Николая Логинова. Вот он!.. Я сорвал этот плакат...

И Колотов вынул из кармана, развернул и протянул секретарю ЦК плакат, на котором были напечатаны портрет кандидата в депутаты Верховного Совета республики Николая Петровича Логинова, а также его биография. В этой биографии, между прочим, говорилось: «В 1917—18 годах т. Логинов состоял в подпольной организации в г. Зареченске. В дальнейшем, после его ареста дутовской контрразведкой, т. Логинов сумел бежать и добровольно вступил в партизанский казахский отряд Каратаева, который потом влился в Чапаевскую дивизию».

— Ну как же, я знаю Логинова,— произнес секретарь ЦК.— Дирек-

тор завода, старый член партии, активный общественник, хороший коммунист. Так по крайней мере мы все считали. Может быть, это случайное совпадение имен и фамилий? Случайное сходство, наконец? Товарищ Колотов, поймите: обвинение, которое вы сейчас выдвигаете, слишком тяжело, чтобы бросить его, не отмерив семь раз, не подумав десять раз... Наконец, его кандидатура зарегистрирована. Логинов уже выступал перед избирателями, он достаточно известный человек...

Колотов вспыхнул.

— Зачем вы мне все это говорите? — почти закричал он. — Разве я сам не понимаю серьезности того, о чем идет речь, и своей ответственности? Какое тут может быть совпадение фамилий? Ведь в напечатанной биографии прямо сказано, что он состоял в зареченской подпольной организации. И ни слова, заметьте, не сказано о том, что он был помилован атаманом Дутовым... Ни слова!..

— Да, это, конечно, странно, по меньшей мере, — согласился секретарь ЦК.

— Странно? — вскипел Колотов. — Это не странно, а страшно, будь он проклят! Короче: я отвечаю за каждое свое слово и утверждаю, что Логинов — предатель и что место ему в тюрьме, а не в Верховном Совете республики!..

Секретарь ЦК встал, закурил и, по давней привычке заложив руки за спину, начал расхаживать из угла в угол просторного своего кабинета.

Потом, резко повернувшись к Колотову, он строго сказал:

— Ну что ж, если ты так твердо убежден, то поступил правильно, придя в ЦК. Но я обязан тебя предупредить: все, что ты сказал мне, тебе придется повторить в глаза Николаю Логинову в моем присутствии.

— Я сам хотел просить об этом, — ответил Колотов.

РАЗГОВОР В ЦК

На следующий день секретарю ЦК доложили, что Николай Петрович Логинов, срочно вызванный из областного центра, где он работал директором завода, приехал.

— Хорошо, я сейчас с ним поговорю, — сказал секретарь ЦК помощнику. — А вы позвоните в гостиницу товарищу Колотову и попросите его тоже сюда.

Когда Логинов вошел в кабинет, секретарь ЦК сидел за столом, перелистывая какие-то бумаги, и думал о том трудном разговоре, который ему сейчас предстоит.

Секретарь ЦК не был близко знаком с Логиновым, но несколько раз видел его и много о нем слышал. Логинов



*

Лев Романович Шейнин начал печататься в 1928 году. В 1938 году вышел первый сборник его рассказов «Записки следователя».

Перу писателя принадлежат роман-трилогия «Военная тайна», по которому был создан известный фильм «Поединок», ряд повестей и рассказов.

Л. Шейнин является также автором многих пьес и киносценариев («Ошибка инженера Кочина», «Цепная реакция», «В середине века», «Роковое наследство», «Заморские гости», «Внук короля», «Игра без правил»).

В 1950 году Л. Шейнину, как одному из авторов фильма «Встреча на Эльбе», была присуждена Государственная премия первой степени.

производил хорошее впечатление, и к тому же в ЦК было известно, как любят Логинова на том большом металлургическом заводе, где он работал в течение многих лет.

Кандидатура Логинова в депутаты Верховного Совета казалась весьма подходящей и по его биографии, насколько о ней можно было судить по анкетным данным, и по его работе, и по отношению к нему заводского коллектива.

Теперь, встревоженный сообщением Колотова, секретарь ЦК думал о том, что самые подробные анкеты, увы, далеко не всегда отражают подлинное лицо и подлинную биографию человека.

Но все-таки он еще надеялся, что в данном случае произошло какое-то недоразумение и что Николай Логинов сразу все объяснит.

Вот почему он с таким нетерпением ожидал разговора, который должен был сейчас произойти.

Логинов, войдя в кабинет, остановился на пороге и спокойно сказал:

— Здравствуйте, Леонид Иванович, я прямо с аэродрома, прибыл по вашему вызову.

— Здравствуйте. Садитесь! — коротко ответил секретарь ЦК.

Логинов сел в кресло. У него было бледное, чуть усталое и чуть грустное лицо уже немолодого человека, прожившего большую и нелегкую жизнь. Но он не производил впечатления старика, благодаря своим, не по возрасту ясным, живым глазам.

— Я вызвал вас, товарищ Логинов, — начал секретарь ЦК, — в связи с одним заявлением. В этом заявлении против вас выдвинуто серьезное обвинение.

— С заявлением? — спросил Логинов. — Каким заявлением?

Глядя прямо и пристально в глаза Логинову, секретарь ЦК медленно, очень раздельно произнес:

— Речь идет о вашем прошлом, Логинов. Вас обвиняют в том, что в тысяча девятьсот восемнадцатом году...

— ...я был помилован атаманом Дутовым после того, как военно-полевой суд приговорил меня к смертной казни через повешение, — перебил секретаря ЦК Логинов. — Об этом идет речь?

— Да, об этом.

— Могу ли я узнать, кто автор заявления? — спросил, не скрывая своего волнения, Логинов.

— Да, вы узнаете об этом своевременно. Более того: автор заявления скоро сюда придет и выскажет вам все в лицо. Пока же я советую вам рассказать абсолютно честно о причинах вашего помилования и рекомендую сделать это как можно скорее, — подчеркнуто сухо и строго сказал секретарь ЦК.

— Я понимаю вас, — ответил Логинов, и багровые пятна запылали на его бледном лице. — Скажу больше: я много лет ждал, что рано или поздно партия задаст мне этот вопрос.

— Ждали? А ведь правильнее было бы не ожидать, а самому сообщить партии обо всем, что было.

— Вы правы, конечно, и я поступил бы именно так, если бы... если бы мне было что сообщить партии, — глухо произнес Логинов.

— Послушайте, Логинов, что это за разговор?! — вскипел секретарь ЦК. — То вы говорите, что много лет ждали этого вопроса, то заявляете, что вам нечего сказать! Ведь мы же немолодые люди и хорошо знаем, что есть вопросы, которые не оставишь без ответа, от которых никуда не уйдешь и нигде не спрячешься!.. Даже через сорок лет...

— Да, конечно, — согласился, все более волнуясь, Логинов. — Но самое страшное в том, что я сознаю неизбежность этого вопроса, но ответить на него не могу...

— То есть как это не можете, почему?!

— Потому что сам не знаю причины своего помилования и даже не догадываюсь о ней.

— Позвольте, но ведь помилование ваше было мотивировано тем, что вы заслужили его своим поведением, по-ве-де-ни-ем, черт возьми! О каком поведении шла речь? Давайте говорить прямо!..

— Я не знаю,— тихо произнес Логинов,— честное слово, не знаю! — с отчаянием повторил он.

— И вы полагаете,— с трудом сдерживая все более вскипающую ярость и потому очень тихо сказал секретарь ЦК,— вы наивно полагаете, что формула «не знаю» может нас устроить, а вас обелить? Ведь факты говорят за себя, а вы даже не пытаетесь их опровергнуть или хотя бы как-нибудь объяснить!..

— Да, вы правы, не пытаюсь... По той простой и страшной причине, что мне нечем все это опровергнуть и нечем объяснить.

— Кроме того, вы скрыли в своей биографии факт помилования... Это как понимать?

— Я решил умолчать о помиловании, поскольку не могу его объяснить... Вероятно, это моя ошибка...

— Это не ошибка, Логинов, это обман!..

В этот момент отворилась дверь кабинета, и появился помощник секретаря ЦК.

— Человек, которого вы вызывали, пришел, Леонид Иванович,— доложил он.

— Хорошо, пусть войдет,— сказал секретарь ЦК.

Через минуту в кабинет вошел Колотов. Увидев его, Логинов встал.

— Миша, ты?! — воскликнул он.

— Да, это я, Николай,— ответил Колотов и, подойдя к Логинову, посмотрел ему в глаза.— Да, это я,— повторил он.— А это — ты!..— И, повернувшись к секретарю ЦК, Колотов добавил: — Как видите, это не случайное совпадение фамилий и я прав.

— В чем?! — удивился Логинов.

— В том, что ты — провокатор и предатель! Мы должны были тебя убить еще тогда, но белогвардейцы, спасшие тебя от своей виселицы, спасли и от нашей пули, подлец!

Логинов закрыл лицо руками. Он еле стоял на ногах.

— Сколько вам было тогда лет, Логинов? — спросил секретарь ЦК.

— Двадцать один,— еле слышно ответил тот.

— Я спрашиваю еще раз,— очень медленно произнес секретарь ЦК,— чем вы можете объяснить свое помилование? Наберитесь мужества хоть теперь и расскажите всю правду. Ведь вам все равно не удастся ее скрыть. Может быть, по молодости лет вы тогда не выдержали, не хватило воли, характера...

Логинов стоял молча, все еще закрыв лицо руками. Он тяжело дышал, крупные капли пота катились по его лбу.

Колотов не сводил с него ненавидящих глаз.

— Не хотите говорить? Ну что ж, дело ваше,— бросил секретарь ЦК и, подойдя к столу, нажал кнопку звонка. Тут же появился помощник.

— Логинов должен ждать в приемной,— приказал секретарь ЦК,— он еще понадобится. Ясно?

И он выразительно посмотрел на помощника. Тот понимающе кивнул головой и, подойдя к Логинову, произнес:

— Прошу вас пройти со мной.

Логинов молча пошел к двери. В комнате стояла такая зловещая тишина, что было слышно, как хрипло, с присвистом, он дышит.

Когда Логинов скрылся за дверью, секретарь ЦК подошел к телефону и набрал номер.

— Трофим Петрович,— сказал он,— поступили данные, что инженер

Логинов, кандидат в депутаты Верховного Совета,— провокатор и предатель... Да, да, тот самый!.. Короче: необходимо произвести строжайшее расследование. И вот о чем я хочу тебя попросить: поручи это дело, пожалуйста, молодому следователю, такому, знаешь, с огоньком... Такому, который не считает, что всякий подследственный непременно виноват, но при этом не пожалеет сил, чтобы разоблачить подлинного преступника... Каково мое мнение? А у меня нет пока никакого мнения, кроме одного: строго, со всей объективностью разобраться в этом деле... Да, я с ним беседовал. Говорит, что сам ничего не может понять... И ничего объяснить не может... Да, тем самым отрицает свою вину... И вместе с тем косвенно и подтверждает. Вот почему я и хочу, чтобы следователь был вдумчивый и, конечно, талантливый. И пусть он придет ко мне.

Секретарь ЦК положил трубку. Колотов подошел к его столу.

— Судя по тому, что я сейчас слышал, товарищ секретарь,— сердито произнес он,— вы еще и теперь сомневаетесь в виновности Логинова, даже теперь!..

Секретарь ЦК обошел стол и положил руку на плечо Колотова.

— Ну, чего ты кипятишься, старина? — дружелюбно произнес он.— Ведь мы с тобой — седые люди, жизнь большую прожили, чего только не видали...

— Что вы хотите этим сказать? — еще более настораживаясь, спросил Колотов.

— Что все не так просто — вчера выдвинуть кандидатом в депутаты, а сегодня — бросить в тюрьму. Нужно все тщательно расследовать, все решительно выяснить, до мельчайших подробностей!..

— Чего тут еще выяснять, ведь он сам признает, что ему нечего сказать в свое оправдание, что он ничего не может объяснить. Сам признает!..

— Да, признает. Вот именно это и заставляет меня сомневаться.

— Почему?

— Да потому, что прошло достаточно лет для того, чтобы придумать какую-то легенду, какое-то объяснение, какую-то версию, выгодную для него. А он ничего не придумал, ничего! Конечно, скорее всего, что тут нечисто, но, если есть хоть одна сотая процента сомнения, мы обязаны все проверить. И напрасно ты горячишься, Колотов!.. Кроме того, пойми, что дело не только в том — виновен он или невиновен. Ведь надо еще выяснить — почему и как он стал предателем? Почему, выдав семерку, не выдал остальных? Как мог он, став предателем, потом жить и честно работать — за это говорит вся его биография — сорок лет!.. Ведь это же целая жизнь — не шутка!.. Ее одним махом не перечеркнешь. А тюрьма, коли он ее заслужил, от него не уйдет.

— Ну, допустим. А как вы объясните, что Логинов скрыл в своей биографии, опубликованной в предвыборном плакате, факт своего помилования? И тем самым вновь обманул партию и народ? Это вы как объясните? — не унимался Колотов.

— Я спрашивал его об этом. Он признает, что обошел этот факт потому, что не знал, как объяснить свое помилование.

— Да это же курам на смех! — воскликнул Колотов.— Хороша формулировка: «обошел этот вопрос»!.. Простите, но мы с вами действительно седые люди и старые коммунисты, и я хочу вам сказать откровенно...

— Давай, давай! — улыбнулся секретарь ЦК.— Выкладывай все, что думаешь...

— Мне непонятна ваша позиция в этом деле. Почему вы так стараетесь найти оправдывающие Логинова обстоятельства, вопреки логике и неопровержимым фактам?

— В самом деле, почему? — снова улыбнулся секретарь ЦК.— Ты как полагаешь?

— Не знаю. То ли вы слишком доверяете этому Логинову и он вам чем-то дорог и мил... То ли вас, может быть подсознательно, пугает неизбежный скандал, учитывая выдвижение этого подлеца кандидатом в депутаты... Ну, честь мундира, что ли... Бывает и такое...

Призносся эти слова, Колотов не видел лица своего собеседника и потому не заметил, как больно задел его. Секретарь ЦК вспыхнул и хотел было резко оборвать Колотова и пристыдить его за то оскорбительное предположение, которое он только что высказал. Но тут же, сдержав себя, подумал, что Колотов ведь прямо говорит все, что думает, и такая прямота похвальна сама по себе. Кроме того, в его непримиримой позиции есть своя логика, своя правда, своя боль. Ведь по всему видно, как тяжело переживает он эту историю с Логиновым, и его горячность тоже понятна и тоже говорит в его пользу. Но как мог он все-таки хотя бы на одну секунду допустить, что осторожность секретаря ЦК объясняется «честью мундира»?!

И, прервав затянувшуюся паузу, секретарь ЦК тихо сказал:

— Честь мундира, говоришь? Что ж, а ведь ты, пожалуй, прав...

— В каком смысле? — удивился Колотов, менее всего ожидавший такой реплики и уже сожалеющий в глубине души о своем предположении.

— Да во всех смыслах, старина, во всех!.. Честь мундира тоже не шутка, если только правильно ее понимать. И применительно к данному случаю честь коммуниста состоит в том, чтобы не допустить ошибки, решая судьбу человека, не искалечить ему понапрасну жизнь, одним словом — не наломать дров, как довольно их наломали при Сталине... И это наша общая беда и наш общий стыд!..

— Не понимаю, какое отношение это имеет к делу Логинова? — развел руками Колотов.

— Это имеет отношение к каждому из нас, ко всей партии, а значит, и к Логинову. Если один коммунист обвиняет другого, это еще не значит, что у того, кто обвиняет, больше прав, чем у того, которого обвиняют. Равные у них права, до окончательного решения — равные!..

— Вы сомневаетесь, что Логинов провокатор? И что ему место в тюрьме и по совести и по закону?

— Очень возможно. И даже более чем вероятно. Но пойми же ты наконец, что ни одно дело сегодня мы не можем так решать и рассматривать, как это было прежде!.. Не можем и не будем, никогда не будем!.. Мы все говорим о ликвидации последствий культа личности, и уже многое сделали для этого. Но мало убрать портреты Сталина и его монументы, реабилитировать безвинно пострадавших, восстановить законность... Надо еще вытравить последствия культа в самих себе, в своих привычках, в своем отношении к людям, к правам каждого человека и во многом другом... Вот ты берешь меня за горло — немедленно решить судьбу Логинова и посадить его... А я хочу как следует разобраться, хотя, не скрою, сам думаю, что он виноват, и признаю, что многое — против него...

— И ничего — за него! — выкрикнул Колотов.

— Э, врешь, братец! — в свою очередь закричал секретарь ЦК.— Врешь!.. Как это — ничего?.. А сорок лет, прожитых безупречно? А фронты? А уважение и любовь коллектива, которые он заслужил?.. Это же целая человеческая жизнь, дуб ты этакий!.. Как можно об этом забывать и не принимать это во внимание?!

— Ты чего ругаешься? — заворчал Колотов.— Кто из нас дуб — время покажет...

— За дуба извини — погорячился. А время действительно покажет...

МОЛОДОЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ

Следователю Леониду Каргину было ровно двадцать два года, почти как и Николаю Логинovu в тот давний день, когда, стоя у виселицы, он узнал о своем помиловании.

На следственную работу Каргин пришел из комсомола — он был прежде вторым секретарем сельского райкома, и было ему тогда двадцать лет.

Теперь, два года спустя, Леонид в глубине души считал себя уже опытным криминалистом. Невысокий, вихрастый, с задумчивым взглядом и совсем еще мальчишеским лицом, он был увлечен своей новой профессией и, твердо решив посвятить ей свою жизнь, работал старательно, проходя одновременно курс заочного юридического института. Это было совсем нелегко, но Леонид считал необходимым получить высшее юридическое образование и весь свой не слишком богатый досуг отдавал учебе.

Кроме того, он начал читать все, что хотя бы косвенно могло относиться к его работе. Он зачитывался книгами по психологии и судебной психиатрии, воспоминаниями Кони, речами знаменитых русских адвокатов — Плевако, Карабчевского, Андреевского, Урсова.

Однажды ему повезло: в архивах городской библиотеки он наткнулся на запыленные тома дореволюционного издания «Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах» и с интересом их проштудировал.

Перед ним прошли десятки самых запутанных и сложных дел, по которым были высказаны самые противоречивые мнения и допущены иногда трагические судебные ошибки. Будучи различными по своей фабуле и характеру, эти дела, как бы дополняя одно другое, красноречиво свидетельствовали о том, как сложна бывает жизнь со всеми ее противоречиями, конфликтами, случайностями и самыми непохожими человеческими характерами, и как роковое стечение обстоятельств, которых нередко не знает и потому бессилён объяснить обвиняемый, беспощадно обрушивается на его голову и бессмысленно и жестоко калечит его жизнь.

Однажды Леонид прочел, что в начале века в Парижском институте усовершенствования судебных следователей знаменитый французский криминалист Атален неизменно заканчивал курс тактики допроса обвиняемого ссылкой на «Преступление и наказание» и говорил: «В заключение, месье, я могу вам дать только три совета: читайте, читайте, читайте Достоевского!..»

Леонид, конечно, читал этот роман и прежде, но после этого перечитал его снова и поразился той степени психологической глубины, которой отличались допросы следователя Порфирия Петровича. Тогда Леонид понял, почему знаменитый французский криминалист считал нужным дать своим слушателям, судебным следователям Франции, эти три последних совета...

Так, благодаря своему пытливому уму и гревосходной памяти, Леониду удалось отобрать и запомнить из прочитанного то многое, что могло в той или иной степени обогатить его как криминалиста и пригодиться ему в работе, ответственность и сложность которой он уже вполне себе представлял. А главное, все прочитанное окончательно убедило его в том, что из всех, как говорят юристы, «обстоятельств дела» самым решающим и главным всегда и неизменно является человек.

Леонид был направлен на следственную работу вскоре после XX съезда партии. Тогда многие коммунисты и комсомольцы пришли в органы прокуратуры и безопасности в связи с разоблачением тех массовых нарушений законности, которые были допущены в период культа

личности. Были восстановлены надзорные права прокуратуры, до этого сводившиеся к пустой формальности. Строжайшее соблюдение Закона стало обязательным и непрременным. Простое и великое слово — Справедливость, попиравшееся в течение многих лет, вновь обрело свое значение, свой смысл, свою силу.

Началась массовая реабилитация людей, безвинно осужденных в свое время по ложным доносам, в результате всякого рода провокаций и произвола, порожденных в те трагические годы. Разоблачение культа личности и ликвидация его последствий оздоровили не только атмосферу всей общественной жизни, но и психологию людей. Правда, суровая, прямая правда, как бы ни была она тяжела, живительна сама по себе. И народ, которому партия открыла правду, все правильно понял и по заслугам оценил и смелость, с которой партия разоблачила все, что породил культ личности Сталина, и твердость, с которой партия начала восстанавливать ленинские нормы во всех областях жизни страны.

...Узнав, что его срочно вызывает секретарь ЦК, Леонид Каргин чуть оробел: ему еще никогда раньше не приходилось беседовать с этим человеком.

В приемной ЦК Леонид заметил пожилого человека, задумчиво сидевшего в углу, и обратил внимание на то, что этот человек держит в руках газету, но не читает ее.

Леонид подошел к помощнику секретаря ЦК и назвал себя.

— Пройдите, вас ждут, — коротко сказал помощник.

Леонид осторожно открыл дверь, переступил ее порог и, встретившись взглядом с секретарем ЦК, сидевшим в глубине большой комнаты за письменным столом, произнес:

— Следователь Каргин явился по вашему приказанию, товарищ секретарь ЦК!

— Ну, зачем же так официально? — поднялся навстречу хозяин кабинета. — Во-первых, я не приказывал, а просил; а во-вторых, товарищ Каргин, садитесь и поговорим по душам.

И сразу заметив застенчивость молодого следователя и поняв, что тот немного оробел, секретарь ЦК подошел к нему, обнял за плечи и повел к креслу.

Они сели друг против друга, и начался разговор о заявлении Колодова и обо всем, что произошло в связи с этим заявлением.

Леонид слушал очень внимательно, и дружеский тон секретаря ЦК и вся его манера говорить постепенно освободили молодого следователя от того чувства некоторой скованности, с которым он вошел в кабинет.

— Так вот, товарищ Каргин, — продолжал секретарь ЦК, — таковы обстоятельства дела. Кстати, как ваше имя-отчество?

— Леонид, — простодушно ответил молодой человек, еще не привыкший к тому, чтобы его называли по отчеству.

— Ну, значит, тезка. А по батюшке?

— Михайлович, — ответил Леонид.

— Если не ошибаюсь, вы прежде были секретарем райкома комсомола?

— Да, в Сергиополе, — ответил Леонид.

— Мне кажется, я вас припоминаю, — секретарь ЦК прищурил глаза. — Это вы выступали на республиканском съезде комсомола по вопросу об антирелигиозной пропаганде?

— Да, я, — вспыхнул Леонид, сразу вспомнив свое выступление и то, как сидевший тогда в президиуме, а теперь сидящий против него человек бросил ему одобрительную реплику.

— Очень толковое было выступление, — сказал секретарь ЦК. — Расскажите, как вам сейчас работается?

Леонид начал рассказывать. Теперь он уже чувствовал себя совсем свободно и откровенно рассказывал о том, как постепенно втягивался в новую работу, как полюбил ее, как совмещает эту работу с учебой и с какими трудностями в связи с этим сталкивается.

Секретарь ЦК слушал его очень внимательно. Ему все больше нравился этот паренек, его непосредственность и откровенность, широкий круг его интересов.

«Да, из него несомненно выйдет толк, побольше бы таких следователей», — думал он, слушая Леонида и задавая ему по ходу беседы разные вопросы.

Они просидели более часа. Прощаясь, секретарь ЦК сказал:

— Ну что ж, я надеюсь, что вы отлично справитесь с этим делом. Рассматривайте его прежде всего как серьезное партийное поручение и помните, Леонид Михайлович, что мы будем вам равно благодарны и в том случае, если вы окончательно докажете виновность Логинова, и в том случае, если, наоборот, докажете его невиновность. Нужна полная и абсолютная ясность.

— А каково ваше впечатление об этом человеке? — спросил Леонид.

Секретарь ЦК поморщился: ему не понравился этот вопрос. Он давно и хорошо понимал, как осторожно следует ему высказывать свое мнение, учитывая его значение для окружающих. И он не доверял людям, стремившимся во что бы то ни стало угодить его мнению.

— Мне кажется, товарищ Каргин, — сухо зато ответил он, — что вас должна интересовать истина, а не мое мнение; и только для установления истины вам поручается расследование этого дела. И вообще мой вам совет: меньше всего думайте о чем бы то ни было мнении! Если следователь, производя расследование, хоть в малой степени руководствуется чьим-то «мнением», — это плохо и для следователя, и для дела, и даже для того, чьим «мнением» он руководствуется... Так, увы, показала история...

Потом, вызвав Логинова, секретарь ЦК сказал ему, указывая на Леонида:

— Вот следователь, товарищ Каргин, которому поручено расследовать ваше дело.

Логинов молча кивнул головой.

— Ну что ж, идите, — сказал секретарь ЦК. — Желаю вам, товарищ Каргин, успеха. А вы, Логинов, постарайтесь все-таки вспомнить и рассказать все, что было, и так, как было. Это мой вам последний совет...

Когда они ушли, секретарь ЦК еще долго размышлял об этом деле. Ему понравился Каргин, хотя последний вопрос, который он задал, как-то насторожил его. Но подумав, он понял, что молодой следователь задал этот вопрос вовсе не потому, что хотел, узнав его мнение, подладиться под него.

Как старый партийный работник Леонид Иванович научился разбираться в людях и огорчался всякий раз, встречаясь с проявлениями угодничества и подхалимства.

Дело Логинова серьезно волновало его, и он много о нем думал. С одной стороны, он понимал ярость Колотова, человека несомненно искреннего и правдивого, но, с другой, он почему-то не был окончательно убежден в виновности Логинова, хотя и видел, что решительно все обстоятельства говорят против него. В глубине души секретарь ЦК почти подсознательно надеялся, что Логинов не предатель и что это в конце концов удастся установить.

Несмотря на свои годы, трудную работу и высокий пост, который он занимал, этот строгий и даже хмурый на вид человек отличался душевной мягкостью. Он любил доверять людям и хорошо понимал, что иначе

жить и работать нельзя. Правда, случалось, что ему приходилось иногда сожалеть о своей доверчивости, и люди, которым он доверял, оказывалось, не заслуживали этого. В таких случаях он испытывал чувство горькой обиды — и за себя, и за этих людей. Но все-таки, оставаясь верным себе — на шестом десятке характеры не меняются, — он неизменно считал, что такие случаи — лишь исключения, подтверждающие золотое правило: чем больше доверять людям, тем лучше они живут и работают и тем больше нравственно хорошеют.

Как многие добрые люди, он был вспыльчив и, считая это своим большим пороком, всякий раз, когда выходил из себя, потом стыдился этого и осуждал свою несдержанность. Вот и теперь, вспоминая, как он вскипел на Логинова, накричал на него, секретарь ЦК сокрушался, что опять «полез в бутылку», и, досадуя на свою вспыльчивость, чувствовал себя виноватым перед Логиновым и хотел как-то ему помочь. Подсознательно — сам себе в этом не признаваясь — секретарь ЦК боялся поверить в то, что Логинов — предатель, хотя пока все обстоятельства говорили за это.

ПЕРВЫЙ ДОПРОС

Приехав вместе с Логиновым к себе на работу, Леонид приступил к допросу.

Логинов, как и в разговоре в ЦК, сказал, что ему неизвестны причины, по которым он внезапно был помилован, и что текст постановления о помиловании, оглашенный адъютантом атамана тогда на площади, совершенно ему непонятен.

— Когда меня в тюремной карете привезли обратно в тюрьму, я долго не мог прийти в себя, — рассказывал Логинов. — Я не понимал — как и почему все это произошло? Вечером меня вызвали в кабинет начальника тюрьмы, где сидел военный прокурор — тот самый, который выступал обвинителем в военно-полевом суде и требовал нашей казни. Этот прокурор, насколько я помню, был в звании подполковника. Впервые я увидел его еще в контрразведке, когда велось следствие по нашему делу. Он иногда присутствовал при допросах. При нем контрразведчики нас не избивали и не пытали, но прокурору было хорошо известно, что они это делают. Я сам, например, жаловался ему на пытки, но он в ответ улыбался и один раз сказал: «Голубчик, к чему вы мне все это рассказываете? Право же, это не имеет отношения к существу дела, а контрразведка, согласитесь, не институт благородных девиц».

Вызвав меня теперь, после помилования, прокурор сказал: «Позвольте, Логинов, поздравить вас с возвращением к жизни. Как убежденный гуманист я рад за вас, хотя как юрист — считаю ваше помилование недостаточно обоснованным материалами дела».

Я спросил его, кто писал постановление о моем помиловании, и он ответил, что не знает. Затем он объявил, что я буду отбывать наказание в каком-то «батальоне неблагонадежных», куда меня и отправят.

Как я понял, этот батальон состоял из людей, осужденных военно-полевыми судами. И в тот же вечер меня увезли из тюрьмы и отправили в «столыпинском» вагоне неизвестно куда. В этом вагоне, представлявшем собой маленькую передвижную тюрьму с зарешеченными окошками, было довольно много заключенных, которых я не знал. Коммунистов среди них не было.

Мы ехали долго, несколько дней, и однажды на маленьком полустанке, когда я и двое других заключенных были отправлены за водой, все мы, сговорившись заранее, разбежались в разные стороны. Спровоковавшие нас конвоиры подняли стрельбу, и мне показалось, что один из бежавших упал. Мне же удалось скрыться.

...Внимательно слушая Логинова, Леонид делал заметки на листе

бумаги, чтобы потом написать подробный протокол допроса. Он пока не задавал никаких вопросов, так как уже хорошо знал, что искусство допроса состоит не только в том, чтобы уметь спрашивать, но и в том, чтобы уметь выслушивать обвиняемого — выслушивать внимательно, непредубежденно и спокойно. Это общее правило приобретало в данном случае особое значение: во-первых, слушая рассказ Логинова, Леонид постепенно изучал этого человека, его манеру говорить, состояние его памяти, степень его правдивости, твердость позиции, которую он занял по этому делу; во-вторых, давая ему возможность спокойно высказать все, что он считает нужным, Леонид создавал тем самым ту, единственную возможную обстановку допроса, при которой допрашиваемый начинает верить по крайней мере в объективность своего следователя; и, наконец, в-третьих, Леонид понимал, что для того, чтобы правильно разобраться в деле, ему необходимо самым подробным образом узнать и живо себе представить всю атмосферу тех давних лет, в которой разворачивались интересующие его события.

Пока только два человека могли рассказать об этих подробностях — сам Логинов и Колотов. И потому Леонид решил начать расследование с выяснения этих подробностей.

Он тогда еще не предвидел и, конечно, не мог предвидеть, что архивные материалы более полно и точно расскажут ему о многих обстоятельствах дела, расскажут с той степенью достоверности, которая всегда так свойственна «показаниям немых свидетелей».

А Логинов продолжал рассказывать.

После своего удачного побега он выяснил в ближайшей деревне, что находится очень далеко от того уездного города, из которого его увезли. Он узнал также, что примерно в ста километрах от этой деревни уже находятся красные.

Логинов решил пробираться туда. Он шел три дня, определяя свой путь по солнцу, и на четвертый день, на рассвете, наткнулся на красноармейский разъезд. Его привели к командиру отряда, и он рассказал обо всем, что с ним произошло. Командир зачислил его в отряд. Это был Каратаев — командир казахского отряда, который позже влился в Чапаевскую дивизию.

— Вернемся, однако, к обстоятельствам вашего ареста, осуждения и помилования, — впервые перебил Логинова Каргин. — Вам довелось позже бывать в этом городе и встречаться со своими товарищами по подполью?

— Нет, — ответил Логинов. — Дело в том, что судьба занесла меня потом на другой фронт, и лишь после окончания войны с белополяками я был демобилизован и, уехав в Москву, возобновил свои занятия в МВТУ — Высшем техническом училище, студентом которого я был до восемнадцатого года. Кроме того, в Зареченске у меня не было родных, единственный близкий человек — мой отец, работавший фельдшером, — внезапно скончался еще до моего ареста, а мать умерла еще до революции.

— А других близких в этом городке у вас не было?

Логинов замялся.

— Как вам сказать, — медленно протянул он. — Родственников у меня не было, но... там жила одна девушка, которую я любил... Случайно я узнал, что она уехала оттуда вместе со своим отцом... Теперь меня ничто не тянуло в Зареченск. И, откровенно говоря, я и не хотел туда возвращаться, так как не мог объяснить причин своего помилования... Я не знал, как ко мне отнесутся люди, присутствовавшие при объявлении помилования... Я не мог забыть и никогда не забуду, как смотрели на меня люди, когда меня вели с эшафота... В их глазах было такое презрение и такая ненависть!..

- Понятно. Вернемся, однако, к обстоятельствам вашего ареста и суда. Вы признавали себя виновным на следствии?
- Нет, не признавал.
- Что вам инкриминировали?
- Принадлежность к подпольной организации.
- Это вы признавали?
- Нет.
- Что же вы показывали на следствии?
- Я отрицал свою принадлежность и к ревкому, и к подпольной организации.
- Кто вел следствие?
- Начальник дутовской контрразведки капитан Петрищев и его помощник хорунжий Скворода.
- И они вас уличили?
- У них были данные наружного наблюдения и, видимо, какие-то доносы. Но они не открывали своих карт.
- А другие арестованные также отрицали свою принадлежность к подпольной организации?
- Да, судя по тому, что они говорили на суде. Что они показывали на следствии, я не знаю.
- У вас были в стадии следствия очные ставки с кем-либо из них?
- Нет. Это также говорит за то, что никто из них никого не выдал. Вместе с тем я видел, что и Петрищев и Скворода абсолютно уверены в том, что мы коммунисты.
- Им были известны адреса конспиративных явок?
- Да, они знали две наших явки. Благодаря этому их филеры и засекли нас, меня в частности. Теперь я понимаю, что не был достаточно осторожен. Как, вероятно, и мои товарищи по подполью.
- Кто возглавлял подпольный ревком?
- Стефан Зигмундович Федецкий. Он был поляк, профессиональный революционер и попал в наш городок в качестве ссыльного. Однако и в ссылке он не прекращал партийной работы, был связан с оренбургской большевистской организацией и являлся как бы ее уполномоченным в нашем уезде. Мы все очень его любили и уважали. Сам он был опытным конспиратором, но мы, по молодости лет, не очень точно выполняли его инструкции... К нашему несчастью. Между прочим, как выяснилось на суде, когда контрразведчики приехали ночью арестовывать Федецкого, он отказался открыть им дверь, и пока они ее взламывали, успел облить керосином и поджечь свой архив. Об этом говорил на суде прокурор и даже огласил составленный контрразведчиками акт.
- Как объяснял это на суде Федецкий?
- Он улыбнулся и сказал: «Господин прокурор, я должен вас огорчить: вы правы, что я сжигал документы, но они не имели никакого отношения к большевикам. Это были письма моей любимой, и я не хотел, чтобы они попали в грязные руки жандармов. Поэтому я их сжег».
- Может быть, так оно и было?
- Нет. Я точно знаю, что у Федецкого хранился партийный архив и списки членов организации, правда, зашифрованные. Он замечательно вел себя на суде. И делал все возможное, чтобы выгородить нас. Отказавшись давать показания, он сказал: «Я не отрицаю, что являюсь по своим убеждениям коммунистом, и горжусь этим. Но, будучи выслан сюда из Польши, я потерял связь со своей партией. Что касается этих молодых людей, сидящих вместе со мной на скамье подсудимых, то уж они-то вообще не имели никакого отношения к партии. Я не отрицаю, что некоторые из них знали меня и даже иногда приходили ко мне в гости. Мы говорили о литературе, читали стихи, я рассказывал им о

Польше. Иногда пел им польские песни. Но я не считал себя вправе, учитывая разницу в нашем возрасте, говорить с ними на партийные темы, господа судьи. И предание их суду вместе со мной — глубочайшее недоразумение. У меня хоть было революционное прошлое — не спорю, — но у них-то и его не было!.. За что же вы их судите? За что их арестовали?»

— Скажите, Логинов, в составе военно-полевого суда, который судил вас, были жители Зареченска?

— Нет. И судьи и прокурор были приезжие. Только секретарь суда был из Зареченска. Я знал его с детства. Он учился в духовной семинарии, но потом был исключен за дебоши и пьянство. Отец его был священником. После исключения он служил писцом у нотариуса Ковалева. Очень неприятный тип.

— Как его фамилия?

— Благовещенский. Звали его — Виктор.

— Вам не известна его судьба?

— Нет. Тем более, что я в Зареченске так и не был с того времени.

Допрос Логинова затянулся, уже наступал вечер. Последние блики зимнего заката медленно угасали на стенах кабинета Каргина. Еще розовые, но все более темнеющие сумерки постепенно заполняли комнату.

Леонид включил настольную лампу, и усталое, бледное лицо пожилого человека, сидящего перед ним, вдруг обнаружило с удивительной ясностью черты глубокого страдания. Да, по всему было видно, что Логинов раздавлен случившимся и что последняя надежда оправдаться покидает его. «Видимо, он осознал неотвратимость своего разоблачения», — подумал следователь.

— Я вижу, вы очень утомлены, — сказал Леонид. — Ну что ж, для первого раза достаточно. Завтра вам придется прийти сюда снова. Где вы остановились?

— Пока нигде. Я прямо с аэродрома приехал в ЦК, никак не предполагая, что мне придется задержаться.

— А есть у вас друзья, у которых вы могли бы остановиться?

— Как вам сказать? — замаялся Логинов. — Друзья, конечно, есть, но именно теперь я не хотел бы пользоваться их гостеприимством... Прошу понять меня правильно...

— Хорошо, я сейчас постараюсь помочь вам в получении места в гостинице, — сказал Леонид и поднял трубку телефона.

Потом, договорившись о номере для Логинова, он сказал:

— И еще у меня сегодня к вам последний вопрос: скажите, у вас были какие-нибудь личные счеты с Колотовым?

— Нет, не было, — ответил Логинов. — Мы с ним дружили. Мне очень горько, что он искренне ненавидит меня и убежден в моем предательстве. По крайней мере так он сказал мне в лицо, со свойственной ему прямоотой.

— Значит, никаких личных счетов? — переспросил Леонид.

— Да, абсолютно никаких, — еще раз твердо заявил Логинов. — И если он теперь так яростно обвиняет меня, то исключительно потому, что убежден в моей виновности. К несчастью, я так же бессилён доказать ему обратное, как и вам, товарищ следователь...

Леонид ничего на это не ответил.

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Следующий день начался с допроса Колотова, показания которого имели особое значение. Колотов был пока единственным свидетелем, который мог рассказать об обстоятельствах ареста семерых и всех последующих событиях.

Он полностью подтвердил заявление, которое сделал секретарю ЦК, и теперь рассказывал подробности.

На вопрос — каковы его взаимоотношения с Логиновым? — Колотов также подтвердил, что в те годы они были дружны и до помилования Логинова он не сомневался в его партийной стойкости и мужестве.

Как это часто бывает с пожилыми людьми, Колотов, теперь не отличавшийся хорошей памятью, однако великолепно помнил все, что относилось к годам его юности. Рассказывая об этих давних временах, он и сам как бы молодел, живо вспоминая какие-то детали, товарищей по подполью, условия, в которых им тогда приходилось работать, адреса конспиративных квартир, на которых встречались ревкомовцы, и многое другое.

В этом смысле его рассказ, ни в чем не входя в противоречие с показаниями Логинова, дополнял эти показания все новыми подробностями.

Благодаря этому Леонид сегодня уже многое представлял себе гораздо лучше, чем вчера, и ему, совсем еще молодому коммунисту, было особенно интересно как бы погружаться в атмосферу первых огненных лет революции и того уездного городка, в котором развернулись трагические события, являвшиеся теперь предметом расследования.

Удивительна диалектика следовательской работы. Она состоит, помимо всего прочего, в сочетании трезвого и даже холодного анализа, с очень живым воображением и умением по самым незначительным, казалось бы, деталям восстановить всю картину того, что произошло в действительности.

По молодости лет в Леониде пока еще преобладало воображение над рассудком, но каждое новое дело, которое ему приходилось вести, постепенно тренировало его мозг, и он научился мысленно говорить самому себе: «Да, так это мне кажется, и так это я себе представляю. А вот теперь попробуем проверить это объективными фактами и всеми обстоятельствами дела».

* * *

Когда Колотов вышел из кабинета, он сразу увидел в коридоре Логинова, ожидавшего вызова к следователю. Колотов вздрогнул от неожиданности — менее всего он ожидал сейчас этой встречи — и невольно остановился. Поднялся и Логинов, и теперь они стояли лицом к лицу, в тяжелом и давящем обоим молчании. Колотов, страдавший в последние годы сердцем, почувствовал приближающееся удушье, предвестье сердечного приступа. Побледнев, он с трудом выдал:

— Ну, что глядишь? Врагом считаешь?

— Нет, мы не враги,— тихо, почти шепотом, ответил Логинов.— Я не виноват, Мишка, и ты зря обвиняешь меня...

Именно так — Мишка — он называл Колотова в те далекие и такие безвозвратные годы их молодости. И от этого, от одного только обращения «Мишка», Колотова будто обдало теплой и свежей волной, и он сразу, сам дивясь этому чуду, вдруг увидел того — молодого Кольку Логинова, в его студенческой тужурке с молоточками в петлицах, закадычного своего дружка, смелого до озорства, находчивого и ловкого, никогда не унывавшего...

И вспомнились Колотову, как во сне, огонь костра на ночной рыбалке, под видом которой иногда собирался подпольный ревком, и блики этого костра на лицах собравшихся, и тот же Колька Логинов, подкладывающий хворост в костер, и душистая свежесть ночного степного воздуха, которую подчеркивал дымок, вьющийся над пляшущими языками пламени.

Эти нахлынувшие воспоминания были так яркие и живительны, что удушье сняло как рукой, и Колотов вынул из кармана руку, которую только что засунул туда, чтобы достать таблетку валидола, а потом, испугавшись, что, вопреки своему партийному долгу, поддастся минутной слабости, он как-то неловко махнул той самой, только что освободившейся рукой и быстро, словно спасаясь от образов прошлого, зашагал к выходу.

...Как только Логинов вошел в кабинет, Леонид сразу обратил внимание на горячий блеск его глаз и фиолетовые круги под ними и понял, что Логинов в эту ночь совсем не спал.

Сегодняшний допрос отличался от вчерашнего тем, что Леонид начал задавать Логинову вопросы, а тот отвечал на них. Вопросы эти сводились к уточнению обстоятельств ареста семерых, суда над ними и, наконец, помилования Логинова. Логинов отвечал довольно спокойно, и Леонид не улавливал в его ответах и в его глазах той специфической настороженности, которая так характерна для обвиняемых, действительно совершивших преступление и потому считающих, что каждый вопрос, который задает им следователь,— хитроумная ловушка, в которую они могут попасться. Но ведь и спокойствие это могло быть наигранным.

Логинов охотно отвечал на задаваемые ему вопросы и по-прежнему твердо стоял на том, что не знает причин своего помилования, что в стадии расследования дела семерых в контрразведке, как и на суде он никого не выдал и по существу показаний не давал, несмотря на пытки. Да, все шесть подсудимых могли бы это подтвердить, если бы они не были повешены... А других свидетелей у него, к несчастью, нет.

Каргин подробно зафиксировал эти показания и снова отпустил Логинова. Утром он доложил начальнику о ходе расследования, и тот позвонил секретарю ЦК.

— Так вот, Леонид Иванович,— сказал начальник,— первые допросы Колотова и Логинова следователь закончил. Ничего нового они не дали — и Колотов и Логинов стоят на своем. Вместе с тем, как говорит следователь, Логинов ни в чем не запутался, что, впрочем, можно объяснить тем, что он начисто отрицает свою осведомленность о причинах помилования. Притом, однако, он не только не порочит Колотова, а, напротив, дает ему положительную характеристику и заявляет, что никаких счетов между ними нет. Как видите, хитер!.. И с характером, ничего не скажешь...

Закончив разговор с секретарем ЦК, начальник сказал следователю:

— Он еще раз хочет с тобой поговорить, иди в ЦК.

Когда Леонид вошел в знакомый кабинет, секретарь ЦК стоял у окна и, услышав, как стукнула дверь, обернулся.

— Ну, здравствуйте, тезка. Каковы ваши дальнейшие планы?

Леонид подробно доложил о результатах допросов и сказал, что в интересах дела он хочет поехать в тот городок, где все это происходило.

— Конечно, вряд ли удастся там найти все необходимые данные,— закончил он,— но все-таки нельзя исключить, что и теперь еще есть там старожилы, которые что-нибудь помнят. А может быть, повезет с архивными материалами. Одним словом, я считаю, что ехать надо.

— И я так считаю,— согласился Леонид Иванович.— Непременно поезжайте, и как можно скорее. Нужно срочно закончить расследование по этому делу, чтобы решить все вопросы, связанные с выдвижением кандидатуры Логинова в Верховный Совет республики. Дорог каждый день!.. Кроме того, на вашем месте я бы исследовал самым тщательным образом весь жизненный путь Логинова.

Утром Леонид выехал в Зареченск, оказавшийся маленьким глухим городком: утопающие в сугробах улочки с деревянными домишками,

несколько церквей, базарная площадь с каменными рядами и старые черные липы городского сада, разбитого на высоком берегу реки.

На главной улице — дома с колоннами, красное длинное унылое здание бывшей земской управы, в котором находился теперь райком, и затейливый, невесть какого стиля, но очень претенциозный особняк с кариатидами, принадлежавший когда-то уездному предводителю дворянства Протопопову. Теперь здесь был районный Дом культуры. Рядом с этим особняком стоял, как крепость, старый массивный каменный дом с маленькими, похожими на бойницы оконцами, пробитыми в толстых стенах, и с порыжевшими от времени тяжелыми, чугунного литья, дверьми.

— А это что за бастион? — спросил Леонид начальника милиции, который сопровождал его.

— Именно, что бастион, — улыбнулся тот. — Принадлежала эта машина купцу первой гильдии Луке Митрофановичу Потапову, богатейшему скотопромышленнику. Полгубернии держал в руках. Крутой был старик, старовер. Малограмотный, а сотнями тысяч ворочал. Притом был очень набожен, строго соблюдал все обряды и при доме свою модельню имел. О нем у нас целые легенды ходят, говорят — жив еще. А ведь ему, пожалуй, больше восьмидесяти.

— А где он теперь? — заинтересовался Леонид.

— В Нарымском крае, — ответил начальник милиции. — Давно был туда выслан за связи с белогвардейцами. Как только установилась здесь Советская власть, так его сразу взяли за воротник. Мой покойный отец рассказывал. Я ведь сам зареченский.

Леонид выяснил, кто из старожиллов находится теперь в Зареченске. Таких, к сожалению, оказалось мало, а из старых коммунистов, работавших в период подполья, вообще никого в городе не было.

«Надо встретиться и поговорить с оставшимися старожиллами, — решил Леонид, — а кроме того, начать розыски архивных материалов».

Еще перед выездом в Зареченск он условился с Колотовым, что тот, закончив свои служебные дела, тоже придет сюда на несколько дней. Леонид хотел поручить Колотову розыск архивных материалов. Но так как Колотов не мог долго задерживаться в Зареченске, то Леонид решил привлечь ему в помощь местных жителей из числа бывших учителей, теперь пенсионеров. Он встретился с этими людьми, и они охотно согласились принять участие в разработке архивов.

Конечно, Леонид не сказал им, по какому поводу производятся эти поиски, и объяснил, что вся эта работа предпринята с целью приведения в порядок архива и обнаружения материалов, относящихся к деятельности подпольного ревкома, так как материалы эти представляют большой исторический интерес.

Старые учителя, соскучившиеся без дела, с удовольствием согласились сменить нехитрые пенсионерские забавы — рыбалку, разведение цветов — на работу в архивах.

Леонид, кроме того, завел с ними разговор о деле подпольного ревкома и казни шестерых его членов. Они сразу вспомнили о приговоре военно-полевого суда и помиловании Логинова.

— Ну как же, хорошо помню все это дело, — сказал Леониду седой как лунь Сергей Петрович Примм, бывший преподаватель математики. — И Логинова Николая отлично помню, сударь мой. Ведь он был одним из моих учеников и, надо сказать, отлично учился. Я ему и посоветовал по окончании реального училища поступить в высшее техническое учебное заведение. И отца его, Петра Сергеевича, прекрасно знал. Почтенный был человек. Тем удивительнее, что сыночек провокатором оказался...

— Вы уверены, что он провокатор?

— В этом был уверен весь город. Помилуйте, всех повесили, а он вышел сухим из воды... И даже сразу после помилования его куда-то увезли дутовцы... Атаман Дутов зря не миловал...

— Вы присутствовали при казни?

— Нет, я не пошел, но мои друзья присутствовали и подробно мне все рассказали. Как в последний момент прискакал адъютант атамана, остановил казнь и огласил постановление атамана Дутова о помиловании... Весь город тогда ахнул!..

— А вы не знаете, жив кто-либо из оставшихся тогда на свободе членов подпольного ревкома?

— Из старых большевиков того времени сейчас в городе никто не живет. Кроме того, я ведь с подпольной организацией связан не был и даже толком не знал, кто в нее входил,— ответил старый учитель.— Но и я, и все мои коллеги были тогда возмущены до глубины души предательством Логинова, возмущены как интеллигентные люди, хотя мы и не примыкали к партии, а многие и не были согласны с нею.

Зафиксировав показания Примма и его коллег — старых педагогов, Леонид в последующие дни встретился с другими старожилами. Двое из них лично присутствовали при казни и подтвердили все, что показал по этому поводу Колотов, которого они тоже хорошо помнили.

Остальные старожилы, хотя и не присутствовали при казни, но знали о помиловании Логинова и считали его провокатором.

— Потому-то он сюда и глаз не кажет,— сказал один из очевидцев.— Знает кошка, чье мясо съела... А ведь он сам зареченский, как же ему, будь у него совесть чиста, хоть раз сюда не наведаться? Как-никак, родина.

Таким образом, допросы старожилов подтвердили заявление Колотова.

Вскоре в Зареченск приехал Колотов, которого Леонид посвятил в свой план. Колотов горячо одобрил этот план, а узнав фамилии некоторых учителей, просто обрадовался:

— Великолепно! Отлично помню Сергея Петровича! Ну как же, ведь он был еще совсем молодым учителем математики, когда я учился в зареченском реальном училище! А Мария Владимировна, преподавательница русского языка!.. Чудесная женщина, сколько раз мне тройки ставила!.. Ох, как я рад ее повидать! А Петр Николаевич, учитель рисования! Это же был наш общий любимец!..

Он сразу оживился и потребовал как можно скорее организовать встречу с этими педагогами.

Вечером они собрались в кабинете секретаря райкома, которого Леонид доверительно информировал о подлинных причинах проверки архивов.

Старые учителя сразу вспомнили и узнали Колотова и тоже искренне обрадовались встрече с ним.

Совещание у секретаря райкома затянулось до поздней ночи. Было решено, что бригаду «археологов», как выразился Колотов, возглавит он.

И на другой день начались поиски. Первый день не принес ничего, кроме огорчений, так как выяснилось, что все архивы бывшего Зареченского уезда свалены в ужасном беспорядке в сыром подвале. Никаких реестров и описей нет, и потребуется немало усилий, чтобы хоть приблизительно разобраться в этом хаосе.

Но Колотов был не из тех людей, которые опускают руки при первой неудаче. Он очень разумно распределил работу в своей бригаде, и поиски продолжались.

Через день были обнаружены бумаги из архива казачьего атамана Дутова. Белогвардейцы, когда их вышибли из города, бежали, бросив

некоторые документы и значительную часть снаряжения. Потом кто-то (так и не удалось выяснить, кто именно) распорядился сложить все материалы атаманской канцелярии в тот самый темный и сырой подвал, который уже представлял собой кладбище всех уездных архивов.

Когда Леониду сообщили, что найдены архивы атаманской канцелярии, он не выдержал, закричал «ура!» и сразу побежал в этот подвал, расположенный под зданием бывшей земской управы.

Первый, кого он увидел в этом подвале, был Колотов, перебиравший дрожащими от нетерпения руками, при свете свечи, какие-то порыжевшие пыльные папки. За соседними столами рылись в бумагах его помощники.

— Ну как, товарищ Колотов? — спросил Леонид. — Есть надежда?

— Полагаю, что есть, — ответил Колотов, глядя на Леонида поверх очков. — Во всяком случае, часть атаманского архива здесь. Но в ужасном состоянии, черт возьми!

И тут же забыв о Леониде, он погрузился в изучение бумаг.

— Товарищ Колотов, вот интересный документ: ходатайство о помиловании Логинова, — тоненьким голоском пропела бывшая преподавательница русского языка Мария Владимировна, старушка лет семидесяти, сухонькая, подвижная и еще очень энергичная.

Колотов вскочил.

— Не может быть! — воскликнул он. — Давайте скорее сюда!

Мария Владимировна подошла к Колотову и протянула ему большой лист гербовой бумаги, на котором было что-то написано выцветшими от времени чернилами. Колотов жадно схватил лист, быстро пробежал его содержание, а потом, охрипшим от волнения голосом, произнес, протягивая лист Леониду:

— Вот, полюбуйтесь, товарищ Каргин, правду похоронить трудно!..

Леонид взял этот лист и прочел:

«Его высокоблагородию господину атаману Оренбургского казачьего войска, Председателю правительства Оренбургского казачьего войска, полковнику Александру Ильичу Дутову.

Ходатайство дворянства и купечества Зареченского уезда.

Мы, дворяне и купцы первой и второй гильдии, сим обращаемся к Вашему высокоблагородию с покорнейшей просьбой рассмотреть смиренное ходатайство наше о помиловании фельдшерского сына, студента Николая Петрова Логинова, приговоренного военно-полевым судом к смертной казни через повешение за участие в злоумышленной организации большевиков.

Ходатайство наше вызвано не только соображениями молодости осужденного, но, главным образом, тем, что названный Николай Петров Логинов, как мы доверительно докладываем Вашему высокоблагородию, еще до своего ареста вполне раскаялся и, осознав свои заблуждения, оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками, помогая раскрытию их преступной организации.

По соображениям, понятным Вашему высокоблагородию, заявление наше должно остаться в тайне, и в случае, если вы сочтете возможным принять во внимание наше ходатайство и помиловать осужденного, то мотивы этого помилования надлежит, по возможности, не разглашать.

Уездный предводитель дворянства, гвардии корнет в отставке Николай Протопопов.

Дворянин, казачий есаул в отставке Сергей Тихомиров.

Городской голова, купец первой гильдии и почетный гражданин Лука Потапов.

Купец второй гильдии Иван Приходько.

Председатель уездной земской управы Вячеслав Белокопытов.

Помещик Зареченского уезда граф Кушелев.

Игумен Крестовоздвиженского монастыря, благочинный отец Варсонофий».

Леонид, с трудом сдерживая волнение, осторожно уложил полуистлевший лист в портфель, а потом, обратившись к Колотову и членам его бригады, сказал:

— Очень благодарен вам, товарищи, но поиски надо продолжать. В особенности нас интересуют материалы о деятельности подпольного ревкома и обстоятельствах ареста семи его членов. Было бы очень важно найти подлинное дело военно-полевого суда.

НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

К огорчению Леонида, найти судебное дело семерых так и не удалось; по-видимому, оно было увезено дутовским военно-полевым судом при бегстве из города вместе с другими архивами главы «правительства оренбургского казачьего войска».

Но зато Леонид выяснил, что один из тех, кто подписал ходатайство о помиловании Логинова, а именно купец второй гильдии Приходько, и теперь живет в Зареченске и работает кладбищенским сторожем.

Леонид вызвал бывшего купца второй гильдии на допрос. Это был невысокий, еще крепкий старик с румяным лицом, чуть заплывшими хитрыми глазками и багрово-синим, цвета доброй черноморской сливы, носом.

— Здравствуйте! Иван Приходько,— представился он, войдя в кабинет.— Вот вызван, зачем — понятия не имею.

— Садитесь, гражданин,— сказал ему Леонид.— У меня к вам несколько вопросов.

— Вполне к услугам вашим.

— Вы, если не ошибаюсь, бывший купец второй гильдии?

— Эка что вспомнили!.. Я уж сам давно про это забыл — сие дела давно минувших дней, преданья старины глубокой,— ответил улыбаясь Приходько.— Ныне член профсоюза коммунальщиков, кладбищенский сторож. Пятнадцать лет при покойниках состою. И сам таковым скоро стану.

— Но вы были купцом второй гильдии?

— А как же!.. Мне от покойного батюшки мельницы достались. Не отрицаю. Они и теперь работают. Естественно, на государство. И я не ропщу. Пусть работают. А мне и на кладбище неплохо. Покойники народ хороший — анонимок не пишут и жалоб не подают.

— Меня интересуют не мельницы и не ваше купеческое прошлое, гражданин Приходько. Я спросил об этом, чтобы удостовериться, что вы тот самый человек, который подписал один документ.

— О каком, извините, документе речь идет?

— Вот об этом,— Леонид протянул бывшему купцу подлинник ходатайства о помиловании.— Эта подпись ваша?

Приходько надел очки, внимательно прочел документ и сказал:

— Так точно, моя. Что моя, то моя.

— При каких обстоятельствах вы подписали это ходатайство и чем оно было вызвано?

— Из уважения к Луке Митрофановичу,— сразу ответил Приходько.— И не я один подписал, а и другие.

— Лука Митрофанович Потапов?

— Он самый. Первый в нашем крае был скотопромышленник. Мильёнщик. Городской голова. Ума палата. Правда, скупердяй.

— Вы не помните обстоятельств подписания ходатайства?

Приходько засмеялся.

— Как не помнить!..— весело произнес он.— За сколько-то лет Лука Митрофанович ужин закатил для всего общества!.. Да какой ужин, теперь таких и не бывает!.. Одним словом, проклятое царское время...— он хитро прищурился.— Одной птицы домашней сокрушили, страшно вспомнить!.. А какой был осетр!.. Нынче таких и не водится — царь-пушка, а не осетр!.. На что граф Кушелев Всеволод Михайлыч был обжора из обжор, его кухня на всю губернию славилась, не сойти мне с этого места! — так и тот от душевного волнения по случаю таких яств крикнул и сказал: «Лука, сегодня же своего повара выгоню к чертовой матери!» И даже слезу пустил. А Лука Митрофанович ухмыльнулся себе в бороду — он раскольниковым был — и эдак смиренно ответил: «Ваша светлость, не извольте насмеяться над стариком. Куда нам до графской кухни, наше дело мужицкое»... А сам, между прочим, к тому времени уже половину графских земель слопал и до второй половины добрался бы, если б не Великая Октябрьская революция... Вот какой человек был Лука Митрофанович, прямо — бизон!..

— Ну, а прочие, которые подписали ходатайство, тоже были на этом ужине? — спросил Леонид.

— Все поголовье,— живо ответил Приходько.— И предводитель дворянства Николай Валентинович Протопопов, личность, между прочим, пустяшная — его из гвардии за нечистую игру выперли и офицерским судом судили; и казачий есаул Сергей Сергееч Тихомиров — этого во всей губернии никто перепить не мог; и председатель управы Вячеслав Петрович Белокопытов — первый на всю губернию взяточник; и отец Варсонофий, громадного ума мужчина, только жаден был до судорог и пить любил за чужой счет; и аз грешный, раб божий Иван — все были... Всех Лука пригласил.

— А по какому поводу пригласил? День рождения, именины?

— Да мы сами удивлялись — никогда, говорю, за ним этого не водилось. За копейку мог удавиться! А тут расщедрился!.. Что было тогда пито, едено — ужас!.. Отец Варсонофий, помню, в такой раж вошел, что отплясывал камаринского с графом Кушелевым.

— Женщины были?

— Нет. Лука был вдовцом. С дочерью жил — девка красоты неописуемой. Брови взлет, зубы, как кипень, бывало улыбнется — ноги холодеют. Лука в ней души не чаял. Но ее на ужине не было. Николай Валентинович — охоч был покойник до женского пола — заикнулся было: «Лука Митрофанович, где же Ларочка, пусть выйдет хоть на минутку — украсит стол». А Лука только брови насупил и пробурчал: «По нашим обычаям не положено». И все. Его характер всем был введом.

— Перейдем, однако, к ходатайству,— произнес Леонид, с интересом слушая Приходько.— Как зашел о нем разговор?

— Очень просто. Когда все выпили как следует, вытащил Лука из-за божницы этот самый лист — он у него, видать, заранее был припасен — и сказал: «Давайте, господа, доброе дело сделаем. Спасем фельдшерского сына, Кольку Логинова, памяти отца его ради и учитывая молодость его». Все и подписали. И я подписал.

— Но ведь там написано, что Николай Логинов оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Об этом был разговор?

Приходько задумался, припоминая, а потом твердо заявил:

— Нет, не помню. Вообще о политике разговоров не было. Да и пьяны все были, поверьте!.. И большевиков тогда не поминали — всем хотелось отдохнуть...

— А кто вручал атаману Дутову это ходатайство?

— Ей-ей, не знаю. Оно у Луки осталось. Видно, он и докладывал.

Леонид еще долго допрашивал Приходько, но тот ничего больше сообщить не мог. Записав его показания, Леонид спросил:

— А жив Лука Митрофанович?

— Говорят, жив,— ответил Приходько.— Года полтора назад получил от него письмо ныне покойный Ферапонт Максимович Громов, был у нас такой мясник, свою колбасную имел. Сам мне это письмо показывал. Лука писал, что остался жить в Нарымском крае. И работает в колхозе пчеловодом.

— Где именно, не помните?

— Не помню. Да мне и ни к чему запоминать было. Ну пчеловод так пчеловод. Я сам теперь сторож на кладбище.

— Жена Громова жива?

— Нет, и она вскоре померла, царство ей небесное. Хорошая была женщина.

Отпустив Приходько, Леонид начал выяснять обстоятельства высылки Луки Потапова в Нарым, и оказалось, что дочь Потапова — Лариса тогда добровольно последовала за ним.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЮНОСТЬ

Все эти дни Николай Петрович Логинов находился в состоянии депрессии. Он хорошо сознавал сложность и даже безвыходность своего положения. Да, рано или поздно, это неизбежно должно было случиться — недаром почти всю жизнь он так боялся этого!.. И все-таки заявление Колотова поразило его. Так уж устроен человек, что даже понимая неминуемость близкой беды, он все же надеется в глубине души, надеется вопреки здравому смыслу и логике жизни, что случится чудо, и гром не грянет, и буря пройдет стороной...

В данном случае это свойство человеческой психологии было еще помножено на огромную давность — почти сорок лет, прошедших с того страшного дня, когда адъютант Дутова огласил перед заполненной людьми и притихшей площадью атаманское постановление о помиловании Николая Логинова. Тогда, еще ощущая на горле только что снятую петлю, он слышал, как в тумане, голос адъютанта, а потом до него донеслось, как ахнула толпа, и он почувствовал, словно ожог, эти тысячи устремленных на него глаз, полных презрения и гнева.

Неужели так много — сорок лет прошло с тех пор?! А ведь все эти годы он так хорошо, так ясно все помнил, как будто это было вчера!..

Да, он помнил, он все хорошо помнил — и арест, и допросы в контрразведке, и приторную вежливость капитана Петрищева, сменявшуюся дикими криками и побоями, и его увещевания «взяться, наконец, за ум и подумать о себе — ведь вся жизнь еще впереди», и обещания, что, если Логинов «покается и все честненько расскажет, этого никто, никогда, ни за что не узнает — слово капитана Петрищева!»...

И военно-полевой суд, члены которого восседали за столом, крытым зеленым сукном, все в офицерской форме, только секретарь суда, бывший семинарист Витька Благовещенский, был в штатском... Тогда, когда их привели на суд под усиленным казачьим конвоем, он впервые после ареста увидел своих товарищей. Увидел Машу Карелину, бывшую бестужевку, бледную, тоненькую, с пронзительно синими глазами, Машу, Машеньку, которую все они так любили за ее смелость, доброту и совсем материнскую, несмотря на молодость, заботу о товарищах... И Ваську Воронова, паровозного машиниста, плечистого, крепкого, с упрямым подбородком и строгими глазами человека, всегда требовательного и к себе и к другим... Да, Ваську, с которым можно было спокойно идти на самое рискованное дело — такой он был ловкий, находчивый, осмотрительный... Именно он, за два месяца до ареста, взорвал по заданию ревкома дутовский склад боеприпасов, расположенный вблизи Зареченска.

И Сарру Глазман, дочь часового мастера, маленькую, худенькую, черноглазую, умевшую так звонко и заразительно смеяться, что ее прозвали Колокольчиком. Это с нею, с Саррой, довелось ему за месяц до ареста везти из Оренбурга свежие листовки, которые они получили на конспиративной квартире Оренбургского ревкома. Ночью в вагоне всех разбудили для проверки документов, подозрительных пассажиров обыскивали. Сарра не растерялась: разбудила сидевшего рядом пожилого грузного священника и, указав на корзину, в которой были листовки, выразительно шепнула: «Это корзина ваша, батюшка!», а когда священник отрицательно замотал головой, она молча открыла свою сумочку и показала ему лежавший в ней браунинг. При этом девушка так сверкнула своими черными глазами, что батюшка, странно икнув, тут же согласился: «Моя, моя, барышня!» И осенил себя крестным знамением. Когда к ним подошли дутовцы, проверявшие поезд, священник, не ожидая вопросов, поспешил заявить, что корзина принадлежит ему. Потом, когда проверка кончилась, священник встал и взял свой чемодан, явно намереваясь перейти в другой вагон, но Сарра его задержала, сказав: «Благословите, батюшка, и дальше ехать вместе с вами, так будет вам спокойнее и нам верней». Священник безропотно остался, всю дорогу шептал про себя какие-то молитвы, испуганно косился на Саррину сумочку и продолжал равномерно, как метроном, икать. Когда поезд прибыл в Зареченск, Сарра простилась со священником, ехавшим дальше, и сказала ему улыбаясь: «Счастливым путь, батюшка, очень приятно было с вами ехать»... Обрадовавшись освобождению от такой попутчицы, батюшка сразу перестал икать и пробасил: «И тебе всего хорошего желаю, дочь моя, буду молиться, чтобы тебе впредь ездить без таких игрушек в сумочке и без корзин, от коих отказываться надо и кои на священнослужителей, ни в чем неповинных, приходится сваливать»...

Рядом с нею тогда, на суде, сидели Ваня Осипов, столяр, с его белой как лен головой и всегда тихим голосом, и Здоровила — бывший семинарист Севка Беллавин, порвавший с отцом-священником. Севка этот был рыжий атлет с застенчивой улыбкой и лицом, усеянным веснушками; был он немного рассеян, много читал и старательно изучал эсперанто, считая, что это ускорит мировую революцию; при всей своей душевной мягкости и застенчивости Севка был незаменим в драке, и однажды, когда его и Осипова, расклеивавших листовки, накрыл казачий патруль, он уложил своим могучим кулаком троих казаков и, не прибегая к оружию, сумел пробиться.

Впереди всех сидел на скамье подсудимых председатель ревкома, профессиональный революционер Стефан Зигмундович Федецкий.

Это был уже немолодой человек, страдавший бронхиальной астмой, сутулый, худой, с бородкой, чем-то он походил на Дон Кихота. Он знал произведения Маркса и Ленина, в свое время сидел в Вильно в одной тюрьме с Дзержинским, которого хорошо знал и о котором много рассказывал. Он был великолепным конспиратором, и местный исправник, имевший данные, что Федецкий не порывает своих связей с партией, никак не мог его «прищучить», как он выражался.

— Да, это птица не простая и хвостатая,— говорил исправник о Федецком.— А вот за хвост его никак не схватишь!.. Личность эта и в столице известна кому следует, и приказано мне глаз с него не спускать...

После занятия Зареченска дутовцами Федецкий сразу перевел ревком на подпольное положение и поддерживал связь с оренбургской большевистской организацией.

Теперь на суде, не отрицая своей партийной принадлежности, Федецкий всячески выгораживал остальных подсудимых, отрицая их принадлежность к подпольному ревкому. Судьи и прокурор старались изо всех

сил его запутать и припереть к стене, но он только презрительно улыбался и говорил:

— Але чего не було, то не було, панове. И скандалично, что две паненки и четыре млодых пана отданы под ваш шановни суд...

Федецкий отлично говорил по-русски, но на суде умышленно притворялся, будто плохо владеет русским языком.

Только в последнем слове подсудимого, к удивлению прокурора и судей, он сказал на безупречном русском языке:

— Хочу сказать, что суд ваш считаю незаконным, а дело ваше проигранным. Никаким атаманам дутовым и им подобным дутым «правительствам», никакими виселицами не удастся остановить локомотив революции. Одно есть законное, признанное народом и народу преданное правительство — это правительство во главе с товарищем Лениным!.. Я горжусь тем, что принадлежу к Российской Коммунистической партии большевиков и презираю ее врагов!..

Все это так хорошо и ярко помнил Логинов, что вот теперь, мысленно возвращаясь в эти давние годы, он как бы слышал голос Федецкого и видел искаженные лица судей и прокурора и открытый от удивления рот секретаря суда Витьки Благовещенского. Да, Витька, ведь именно с ним была связана, хотя и косвенно, история его первой любви... Ах, до чего же все это далеко и близко!..

Следователю, который его допрашивал, он рассказал почти все, что было в действительности, когда его привезли с места казни в тюрьму. Да, все это было — и разговор с прокурором, и «столыпинский» вагон, и побег на полустанке, и вступление в каратаевский отряд, влившийся потом в Чапаевскую дивизию, все это было...

И все-таки он рассказал не все. Он умолчал о том, что ночью, перед тем как отправить его на станцию, в камеру к нему вошел начальник тюрьмы Бурмистров и тихо сказал:

— Вот записка тебе. Но помни — ничего я тебе не передавал, а зашел в камеру, чтоб объявить, что ты будешь этапирован. А то ведь у меня дети, если начальство пронюхает — головы не сносить...

Логинов схватил записку, сразу узнав ее почерк. Лариса писала: «Николай, забудь меня навсегда. Мы никогда больше не увидимся. Поэтому не ищи меня, не пиши мне, забудь меня. Так надо. Иначе не будет и быть не должно. Лариса».

— Ну, прочел, теперь рви,— сказал Бурмистров.— Уговор дороже денег.

— Я должен сохранить записку,— пробормотал Логинов.— Ведь она не относится к делу...

— Нельзя! — отрезал Бурмистров.— Кто вас знает, что относится, что не относится... Я и так службу нарушил... Ну, рви, говорю!.. Давай!..

И Бурмистров привычно и ловко вырвал из рук Логинова записку и мгновенно уничтожил ее.

Находясь через два часа уже в арестантском вагоне, Логинов все думал об этой записке и о той, которая написала ее. Он любил Ларису и знал, что и она любит его.

Началось это давно, когда оба еще были детьми. Лариса была единственной дочерью купца Потапова. Они часто играли вместе, Лариса была «совсем как мальчишка», как говорили о ней ребята. Она лихо лазала на деревья, ловко играла в лапту, никогда не хныкала и не ябедничала, отлично ездила верхом. Смуглая, с блестящими, чуть раскосыми черными глазами и ямочкой на щеке, Лариса стала признанным атаманом той мальчишеской компании, к которой принадлежал Коля Логинов. Ее даже переименовали в Лариона. А однажды, когда семинарист Витька Благовещенский, прыщавый, нахальный верзила, грубо схватил ее и

хотел поцеловать, Лариса, вспыхнув, отпустила ему такую затрещину, что он упал.

— Второй раз полезешь — не встанешь! — крикнула она, пунцовая от смущения.

Вскочив с земли, семинарист ринулся на Ларису с поднятыми кулаками, но тут же снова рухнул от удара в челюсть, который на этот раз нанес ему Логинов.

— Изыди от меня, сатана, — пробурчал поднимаясь семинарист и, вытирая кровь с лица, поплелся по аллее бульвара, где все это случилось.

— Молодец, Ларион!.. — закричали ребята. — Проучила духовную семинарию!.. И ты, Колька, молодец!..

Именно тогда Логинов вдруг впервые увидел, что Ларион — вовсе не Ларион, а Лариса, красивая, черноглазая, стройная девушка со смоляными косами, бархатистыми румяными щеками и пухлыми губами. Когда и как произошло это чудесное превращение? Почему он этого раньше не замечал? И почему ему так радостно, что Лариса столь великолепно «отшила» этого семинарского нахала? И отчего у него чуть кружится голова?..

— Ну как, ребята, двинем на реку? — спросила Лариса, придя в себя.

— Да, да, на реку!.. И лодки готовы... — закричали ребята.

Потом, на реке, сидя в одной лодке с Ларисой, Коля Логинов не мог отвести от девушки глаз. Они сидели на корме рядом, и он чувствовал ее дыхание, видел, как поднимается с каждым вздохом черный гимназический фартук на ее груди, видел ее розовое маленькое ушко, и завитки волос, и смуглую шею, выступавшую из ворота ее форменного платья. Не выдержав, он тихо положил свою руку на ее маленькие пальцы, и она, густо покраснев, отвернулась, но руки не отняла. И тогда Коля Логинов понял, что давно любит ее и что она тоже относится к нему совсем не так, как к Верзиле, и не так, как относилась еще вчера... Он сжал ее пальцы, и она ответила робким пожатием.. Ему было тогда семнадцать, ей на два года меньше.

А ребята, эти милые и глупые ребята, ничего не замечали, ничего не понимали! Да, они не знали, что в этот вечер родилась настоящая большая любовь, какая суждена только таким счастливым, как он и она, такая любовь, о которой писал в своей «Виктории» Кнут Гамсун. Они совсем недавно читали эту книгу и завидовали ее героям, еще не понимая, что так близко, почти за дверью, уже стоит их счастье, их любовь!..

А на следующий день священник батюшка Серафим, отец Витьки Благовещенского, явился в контору Луки Потапова в парадной фиолетовой рясе, с золотым крестом на груди. Лука Митрофанович с удивлением посмотрел на неожиданного посетителя.

— День добрый, Лука Митрофанович, — прогудел священник. — Не с доброй вестью пришел я к тебе, сын мой.

— А в чем дело, батюшка? — все более удивляясь, спросил Лука Митрофанович, который, будучи старовером, терпеть не мог попов. — Кажется, никаких дел у нас с вами нету и быть не должно, и никакой я вам не сын, между прочим...

— Знаю, знаю, что ты раскольник, — ответил священник. — И будешь на том свете за то ответ держать. А вот кто будет держать ответ за это?

И вытащив коробочку из-под пилюль, протянул ее Луке Митрофановичу. В коробочке поблескивали два зуба, еще вчера принадлежавшие Витьке Благовещенскому.

— Вот полюбуйся, родитель, на дела дщери своей, — многозначительно протянул отец Серафим. — Два зуба выбила бедному отроку! Кого

растишь, нечестивец?! Девичье ли это занятие — зубы выколачивать?.. А еще дочь купца первой гильдии!.. Ай-ай-ай!..

— Ты говори, да не заговаривайся, батюшка! — поднял голос Лука Митрофанович. — Какие зубы? Какой отрок?.. Дочь моя в дурном не замечена... Ты зачем ее мараешь?

— Не мараю, а правду говорю, — стоял на своем поп. — Самолично она вместе с Николаем Логиновым сына моего покалечила. И свидетели есть. И справка у меня от зубного врача, что зубы выбиты.

Лука Митрофанович позвал Ларису. Узнав, зачем пришел отец Серафим, она сразу сказала:

— Да, батюшка, дала я затрещину Витьке Благовещенскому, чтобы не нахальничал. С ног его свалила — признаю. Все ребята это видели.

— Он к тебе приставал? — нахмурился Лука Митрофанович.

— Да, нахально, — покраснела Лариса. — Я ему и дала по морде...

Лука Митрофанович довольно улыбнулся.

— Правильно сделала, доченька! Моя кровь, ничего не скажешь!.. А вот отец Серафим, — он указал на попу, — жалуется... Отрока, дескать, обидела... Агнца покалечила... — И, повернувшись к попу, добавил: — Слыхал, батюшка? Как это тебе понравится?

Отец Серафим заерзал.

— Если каждому кавалеру зубы вышибать за ласковое слово — это что же получится? Все беззубыми станут...

— Ласковое слово? — вспыхнула Лариса. — Уж вы, батюшка, лучше молчите! Говорю вам — приставал он ко мне нахально... Все ребята видели... И опять скажу: если еще раз посмеет — пусть потом пеняет на себя!..

— Ну, доченька, будет, иди с богом, — сказал Лука Митрофанович и, когда она вышла из конторы, обратился к попу:

— Слыхал, отец Серафим? Свои слова теперь обрати себе же: «Кого растишь, нечестивец?»

— Ну-ну, ты о моем сане не забывай, — заворчал поп. — А только, Лука Митрофанович, я ведь пришел с миром. Чтоб договориться по-хорошему... полюбовно, по-божески...

— Именно?

— Насчет убытков. Два передних зуба — не фунт изюму. Опять же доктору платить придется... Давай уж по совести — чтоб никому обидно не было...

Лука Митрофанович только зубами скрипнул. Но потом, сообразив, что поп так не уймется, а лишний шум дороже денег, начал торговаться. Поп потребовал сотнягу. Лука Митрофанович предложил любую половину.

Сторговались на семидесяти пяти. Получив деньги, отец Серафим ушел, сказав на прощанье:

— Ну-ну, останемся друзьями. Ты хоть и раскольник, а человек солидный. А что до твоей Ларисы, так я тебе прямо скажу: к эдакой красавице да не пристать?.. Все мы люди-человеки, и в жилах кровь течет, а не вода... Это тоже понимать надо, уважаемый. Эх, хороша девка!..

Встретившись с Николаем, Лариса рассказала ему о разговоре с отцом Серафимом.

— Напрасно он к Луке Митрофановичу пошел, — улыбнулся Николай. — Зубы ведь я Витьке вышиб... Ну, хватит об этом, пошли на реку.

И потянулись дни, один счастливее другого. Да, это было необыкновенное лето. Не сговариваясь с Ларисой, Коля понимал, что их любовь — это тайна, которую нельзя выдать ребятам ни одним словом, ни одним взглядом, ни одной улыбкой. Он старался поэтому говорить с нею в привычном грубовато-дружеском тоне, и она тоже старалась — ох, как это было трудно! — ничем не выдать ни себя, ни его.

Он по-прежнему называл ее Ларноном, хотя в глубине души считал это кощунством, но она всякий раз так благодарно и понимающе улыбалась ему за это, что он чаще, чем следовало, так ее называл, чтобы лишний раз заслужить эту лукавую и нежную улыбку.

Ни он, ни она не сказали друг другу ни слова о том, что заполняло теперь их жизнь, их думы, мечты. Не сказали потому, что оба были еще очень застенчивы и робки.

И потому, что сила их любви была такова, что легко обходилась без слов и объяснений — все было понятно и без слов.

Так летели дни, недели и месяцы. Через год Николай окончил реальной училище и стал готовиться к отъезду в Москву, чтобы продолжить образование в Высшем техническом училище — МВТУ. Лариса перешла в последний класс. Она так расцвела и похорошела, что считалась первой красавицей в Зареченске. На нее заглядывались. Игуменья Нимфодора, настоятельница женского староверческого скита в Иргизе, куда Лука Митрофанович привез как-то свою красавицу дочь, ахнула, увидев ее:

— Господи Иисусе, красотища какая! — всплеснула она руками, увидев Ларису, которую знала еще девочкой. — Ну, Лука Митрофанович, держи ворота на крепких запорах — начнут женихи осаждать.

— Женихи нам не к спеху, — довольно улыбался в бороду Лука Потапов. — Товар не лежалый. Все во благовремени, матушка Нимфодора. Еще надо гимназию кончить.

— Да ведь много ли осталось? Оглянуться не успеешь, благодетель ты наш, как и гимназию кончит, — пела хитрая игуменья, зорко поглядывая на двор обители, где разгружали два воза с припасами для скита, как всегда привезенными Лукой Потаповым. Скуп был Лука Митрофанович, но к игуменье Нимфодоре без подарков не приезжал.

Вечером, за чаем, оставшись с ним вдвоем в своей келье, игуменья вновь заговорила о Ларисе.

— У самой-то на примете уж нет ли кого? — спросила она. — Сам видишь, батюшка, девка в полной спелости, и глаз у нее горячий, и сама словно светится... Эдак-то тоже просто не бывает. Не нами это впервой придумано, не нам это остановить...

— Да нет, матушка Нимфодора, — нахмурился Потапов. — Еще и в мыслях у нее ничего этого нету. Тут вот один семинарист попробовал было, так без двух зубов остался. Девка вся в меня характером.

Однако, вернувшись с Иргиза домой, узнал Лука Митрофанович, что Лариса часто встречается с Николаем Логиновым и что городские кумушки уже сплетничают об этом. Он решил поговорить об этом с дочерью.

— Мы с Колей, батюшка, сами знаете, дружим с детства, — схитрила Лариса. — Мало ли что в голову кому взбредет? От кумушек никто не застрахован. А он к тому же в Москву уезжает — учиться.

— Дело! — воскликнул Лука Митрофанович. — На кого же он учиться хочет? Кем, проще сказать, стать собирается?

— Инженером.

— Ишь ты, инженером!.. — удивился он. — А ведь всего-навсего фельдшерский сын. Ни кола ни двора. На какие шиши учиться будет?

— Уроки начнет давать.

— Уроки, говоришь? Ну, пусть дает. Только тебе чтоб уроков не давал, — ухмыльнулся Потапов. — И запомни, доченька: он тебе не пара. И веры не нашей, и за душой ничего нет... Вот так.

Лариса молчала. Она считала преждевременным спорить по этому поводу с отцом.

Осенью Логинов уехал в Москву и стал студентом.

«СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ»

Перед тем как покинуть Зареченск, Леонид подвел итоги своей командировки. Да, удалось найти подлинное ходатайство о помиловании Логинова. Да, все старожилы подтвердили показания Колотова. Да, в результате допроса Приходько, показания которого не вызывают сомнений, можно считать установленным, что инициатором подачи этого ходатайства был Лука Потапов. Теперь Леонид с досадой вспомнил, что при допросе Логинова тот упомянул мельком, что он любил в Зареченске какую-то девушку. Леонид тогда не придавал этому значения, считая, что этот вопрос не имеет отношения к делу Логинова. А что, если...

И Леонид вспомнил, как в самом начале его следственной работы Иван Петрович Разумов, следователь по важнейшим делам, которому было поручено подготовить молодого следователя, не раз говорил ему:

— Запомни, дружок, золотое правило: следователь никогда не может предвидеть, какое именно из многих обстоятельств дела окажется для него решающим. Да, в начале следствия мы никогда не знаем, как найти ключ к раскрытию дела, где этот ключ находится, как он выглядит, где его искать. Этим ключом может оказаться человек, который вначале вроде и не представляет никакого интереса для следствия. Этим ключом может оказаться самый ничтожный след, окурок, оторванный угол газеты, одним словом, любая из великого множества мелочей. Вот почему мы должны относиться ко всем этим мелочам с тем же интересом и вниманием, как относимся к самым крупным, на наш взгляд, обстоятельствам дела... Потому что большинство преступлений раскрывается благодаря «мелочам».

Эти слова своего наставника Леонид нередко вспоминал позже, когда он стал самостоятельно расследовать те или иные дела. И действительно, почти всякий раз случалось, что именно мелочь, которой он не придавал в начале следствия почти никакого значения, потом как раз и оказывалась тем «ключом», о котором говорил Разумов. А вот по делу Логинова, такому необычному и сложному делу, он опять прошел мимо «мелочи», хотя именно в ней, может быть, и кроется разгадка всего этого дела! В самом деле, если Логинов любил дочь этого купца первой гильдии, то ведь именно на почве этой любви он мог стать предателем, подпав под ее влияние или случайно выдав ей партийную тайну. А уж такой матерый волк, как ее отец, мог потом этим воспользоваться и навести контрразведку на след... И в этом случае становится понятным, почему он ходатайствовал о помиловании Логинова и почему писал о «неоценимых услугах» последнего в «борьбе со злоумышленными большевиками»...

Эта новая версия казалась теперь Леониду наиболее вероятной, так как она, и только она, объясняла действия Луки Потапова, и текст его ходатайства, и мотивы, по которым Логинов пошел на предательство, и, наконец, самый факт помилования.

Досадуя теперь на то, что он так легкомысленно прошел мимо фразы Логинова о девушке, которую тот любил и которая потом исчезла из Зареченска, Леонид стал размышлять о других деталях, которые всплыли в процессе допроса Логинова. И вспомнил, что Логинов назвал ему фамилию секретаря военно-полевого суда Благовещенского и сказал, что этот человек был родом из Зареченска. Заглянув в протокол допроса Логинова, Леонид обрадовался, убедившись, что он зафиксировал эту фамилию и имя — Виктор Благовещенский. Теперь, когда не удалось найти самого дела семерых, было особенно важно разыскать этого Благовещенского, если он, конечно, жив и находится в Зареченске.

Леонид бросился в раймилицию, здание которой прежде занимал

уполномоченный НКВД, и стал наводить справки. Выяснилось, что Виктор Серафимович Благовещенский жив и проживает теперь в Зареченске. Оказалось, что он был в свое время репрессирован, но потом досрочно освобожден. Теперь он работал счетоводом в райпотребсоюзе.

Леонид вызвал его на допрос в кабинет начальника милиции.

Благовещенский был еще крепким, несмотря на свои годы, высоким и худым человеком, с непомерно длинными руками, большим кадыком и хрящеватым носом. Его мышинные бегающие глазки, подобострастные манеры и оттопыренные красные уши производили неприятное впечатление.

— Я вызвал вас в качестве свидетеля, гражданин Благовещенский,— сказал ему Леонид.— Садитесь, пожалуйста.

— Благодарствую,— произнес свидетель и сел на краешек стула.— Буду рад, ежели окажусь полезным. Мне не впервой, товарищ начальник...

— Как это понять — не впервой? — удивился Леонид.

Благовещенский встал, подошел к двери, плотно прикрыл ее, а потом, возвратившись к столу, за которым сидел Леонид, произнес шепотком:

— Не впервой, говорю. И в этом кабинете не раз бывал. Как свидетель обвинения, так сказать... Вы, надеюсь, в курсе?

— Не понимаю вас,— нахмурился Леонид.— О чем вы говорите?

Благовещенский опустил глаза.

— Конечно, я говорю секретно,— пояснил он.— Но раз вы меня вызвали, и в этот кабинет, то я так понимаю, что потребность во мне есть... Как прежде бывало...

— Когда прежде? — взволновался, начиная догадываться, о чем говорит Благовещенский, Леонид.— Говорите прямо!..

— Прежде, когда выкорчевывали их... Врагов народа. Так что вы смело на меня полагайтесь — не подведу...

У Леонида потемнело в глазах.

— Послушайте,— гневно произнес он.— Вы понимаете, что говорите?.. Вы что, в лжесвидетели напрашиваетесь? Так это время кончилось, навсегда кончилось! Зарубите это себе на носу!

— Слушаюсь! — испуганно забормотал Благовещенский.— Я ведь — как прикажут... Мое дело солдатское... Сами понимаете... Извините, коли не так, гражданин начальник...

— Во-первых, я не начальник, а следователь,— сказал, не глядя на Благовещенского, Леонид.— А вызвал я вас для справки.

— Слушаюсь.

— Вы служили секретарем в дутовском военно-полевом суде?

— Я за это уже понес наказание. А по отбытии вину свою дополнительно, как мог, обрабатывал.

— Да не о вине вашей идет речь,— досадливо поморщился Леонид.— Речь идет о деле семерых членов подпольного ревкома, которых приговорили к смертной казни через повешение. Помните?

— Так точно. Было. Только не я их приговаривал. Я ведь был там третьей спицей в колеснице. Писцом был, проще сказать.

— Знаю. И ни в чем вас не виню. Мне только важно знать — где это дело?

Благовещенский даже свистнул.

— Легко сказать!..— ответил он.— Когда подошли красные и атаман Дутов дал ходу, так и военно-полевой суд в ту же ночь укатил. И дела свои увез.

— Это вы точно знаете, Благовещенский?

— Ну как же! Утром пришел я на службу — никого нет, а все дела вывезены. Бежали-то они ведь ночью. А я дома спал.

— Дальнейшая судьба членов военно-полевого суда и его архива вам неизвестна?

— Понятия не имею. Думаю, что добром не кончили. Но точно — не знаю.

— Один из осужденных, кажется, был помилован?

— Был. Николай Логинов. Я его с детских лет знал.

— Кто же и за что помиловал его?

— Помиловал атаман Дутов. За что — не знаю. Но, конечно, не зря...

Зря не милуют...

— Вы так думаете?

Благовещенский бросил на Леонида пытливый взгляд.

— В те годы иногда вешали понапрасну, — сказал он, ухмыляясь, — но чтобы понапрасну миловали — не слыхал. Надо полагать, что Логинов «заработал» это помилование.

— Значит, это помилование было неожиданностью? — быстро спросил Леонид.

— Да, мы все очень удивлялись.

— Кто — все?

— Ну, члены суда... И прокурор... Я сам слышал.

— Вы хорошо это помните?

— Ну как же, ведь об этом много было разговоров.

— И как объясняли судьбы и прокурор помилование Логинова?

— Прямо руками разводили.

— А контрразведчики?

— Вот про них не скажу — не знаю.

Леонид сделал вид, что набрасывает заметки для протокола, хотя в действительности напряженно размышлял. Он уже хорошо понимал, кто перед ним сидит. Понимал, что этот «свидетель обвинения» готов что угодно и на кого угодно показывать и что, не имея ни совести, ни чести, способен делать это с великим удовольствием. Но вместе с тем этот проходимец знал в данном случае истину. Задача состояла в том, чтобы выудить из него эту истину. Сложность задачи усугублялась тем, что Благовещенский так привык лгать и клеветать на людей, что трудно было разобрататься, в каком случае его показания — оговор, а в каком — правда.

И Леониду снова вспомнился разговор со следователем Разумовым о так называемых «свидетелях обвинения».

— Ты запомни, друже, — говорил тогда Разумов, — что иногда встречаются свидетели, которые, зная, что человек, по делу которого они допрашиваются, привлекается к ответственности, действуют, иногда даже подсознательно, по принципу: падающего подтолкни! Ложно принимая свой гражданский долг, такие свидетели, как бы втянутые инерцией обвинения, начинают обострять все, что говорит против обвиняемого, умалчивая о том, что говорит за него. В результате облик обвиняемого искажается, как в кривом зеркале. И тут очень многое зависит от следователя. Он должен уточнять рядом контрольных вопросов все обвинения, которые выдвигает свидетель. Еще такой древний юрист, как Симон бен Шатах, бывший за два века до христианской эры главой Синедриона в Иерусалиме, поучал судей: «Побольше расспрашивай свидетелей и будь осторожен в словах своих, дабы из них не научились они говорить неправду»...

— А чем объяснить психологию таких свидетелей? — спросил тогда Леонид. — Что побуждает их становиться, и притом добровольно, такими «свидетелями обвинения»?

— Вопрос не простой, — покачал головой Разумов. — Тут прежде всего дело в некоторых особенностях человеческой психологии: люди нередко склонны предъявлять другим куда более строгие требования,

чем они предъявляют самим себе, и обвинять других в том, что себе-то они охотно прощают. Если хочешь знать, это одно из проявлений человеческого эгоизма. Свойства эти в период культа личности получили богатую почву и дали обильный урожай. Ведь тогда было куда проще и легче обвинять, нежели защищать. И в подвиг возводилось разоблачение, а не простая человеческая справедливость. В те времена один факт ареста человека, еще до суда над ним, ставил его вне общества, а по существу и вне закона... Не удивительно, что даже люди, верившие в невиновность репрессированного, нередко опасались высказывать то, что думают, чтобы их не зачислили в пособников «врагов народа» или, в лучшем случае, не обвинили в «потере бдительности». К тому же — и это самое главное! — вера в Сталина распространялась и на его политику, и все мы искренно верили, что есть много врагов народа, а следовательно, верили и в необходимость непримиримой борьбы с ними и потому не считали себя вправе стоять в стороне от этой борьбы...

Разумов замолчал, долго набивал свою трубку, а потом добавил:

— Да, тяжкие были времена!.. Культ личности отравлял и атмосферу нашего общества, и сознание людей, лихорадил партию и страну, привел к массовым жертвам. И только благодаря могучей силе нового общества и его идей, оно выстояло, несмотря ни на что... Организм партии оказался настолько здоровым, что победил культ. Вот почему партия продолжала жить и работать, вела за собою народ, сохраняла верность ленинским заветам и сделала так много даже в те годы...

...Теперь, вспоминая этот разговор с Разумовым, Леонид думал о том, что в лице сидящего перед ним Благовещенского воплощен наиболее опасный тип «свидетеля обвинения», и ему нельзя ни в коем случае высказывать подозрений против Логинова — он тут же, не задумываясь, их подхватит и охотно «подтвердит»... Да, «будь осторожен в словах своих, дабы из них не научились они говорить неправду»... Знал свое дело этот Симон бен Шатах!..

— Следовательно, поскольку помилование Логинова вас удивило, — прервал Леонид затянувшуюся паузу, — его поведение на суде не дало повода для помилования его атаманом Дутовым?

— Да, поэтому мы и удивились.

— Он признал себя виновным на суде?

— Нет.

— А на следствии?

— Тоже все отрицал.

— А другие подсудимые?

— Тоже не признавались.

— Почему же их осудили?

— Там старик один был, поляк. Тот говорил, что он коммунист.

— И говорил, что другие — коммунисты?

— Нет. Этот старик их выгораживал. Прокурор так и сказал в своей речи.

— А на чем строил прокурор обвинение? Чем доказывал вину подсудимых, Логинова, в частности?

— Да их контрразведка выследила. Они встречались. Потом прокурор предъявил на суде листовки ревкома. И доказывал, что это их работа.

— А свидетели на суде были?

— Были. Две старухи. Они показали, что подсудимые часто встречались. Проводили подпольные совещания. По ночам печатали листовки. Одна еще видела, как Логинов их ночью по заборам расклеивал.

— А он это признал?

— Нет, отрицал.

— Вы подробно вели протокол судебного заседания?
— Как положено. Писал все, что говорят.
— И хорошо помните все, что было?
Благовещенский задумался, пристально посмотрел на Леонида. После паузы неуверенно спросил:
— Если вас Логинов интересуется, то я постараюсь припомнить... Желаете?
— Что припомнить?
— Что вам желательно...
— Опять вы за свое! — рассердился Леонид. — Мне желательно только правда. Вы можете это понять?
— Я так понимаю, что надо выяснить, почему его помиловали? Всех повесили, а его помиловали.
— Да, и вас это тогда удивило, — напомнил Леонид.
— А вы как полагаете, гражданин следователь? Почему его помиловали?
— Здесь вопросы задаю я, Благовещенский. Короче — причины помилования вам неизвестны?
— Так точно.
— А Логинов на суде все отрицал?
— Точно.
— Вы знали купца первой гильдии Потапова?
— Как не знать, — оживился Благовещенский. — И его, и дочку его Ларису.
— Близко знали?
— Не так чтобы очень... Потапов этот — гидра... Его потом в Нарым выслали. Я сам на него заявление писал. Секретно, конечно.
— Что же вы писали?
— Что он — бывший купец первой гильдии. И что с беляками связь имел.
— Да ведь вы сами с белыми были связаны. Даже в военно-полевом суде работали.
— Не спорю. Я наказание понес. Правда, меня досрочно освободили. За то, что доказал свою преданность. И даже в лагере помогал с врагами бороться...
— В деле семерых Потапов как-то фигурировал?
— Да что вы, какой он коммунист? Купец первой гильдии. Говорю вам — гидра.
— Я в другом смысле: он был причастен к раскрытию подпольной организации? Может, он или дочь его?
Благовещенский снова бросил на следователя испытующий взгляд.
— На суде его не было, — ответил он. — А в контрразведку, может, и донес. И дочь могла донести.
— Вам это известно?
— Все может быть. И он донести мог, и дочка его. По классовой принадлежности, так сказать...
— Вам известна их судьба? Живы они?
— Говорят, живы. Где-то в Нарыме обитают.
— Теперь вернемся к тому, как проходил суд.
...И Леонид снова начал задавать контрольные вопросы. Он напоминал теперь старателя золотых приисков, знающего, что в грудке породы, им промываемой, есть крупинки чистого золота, которые, чем старательнее и осторожнее он будет промывать эту породу, тем скорее будут обнаружены.

В результате этого долгого допроса окончательно выяснилось главное — Логинов, как на следствии в контрразведке, так и на суде виновным себя не признавал и никого не выдавал. Таким образом, в этой

части показания Логинова, которые он дал на допросе у Леонида, нашли себе подтверждение.

Это, однако, еще не исключало той версии, что Логинов, любивший Ларису Потапову, стал на этой почве вольным или невольным предателем, и действительно, как указывалось в ходатайстве о его помиловании, «оказал неоценимые услуги» контрреволюционерам, а затем, чтобы не выдать своей роли, никого в своих показаниях не называл.

Закончив допрос Благовещенского и дав ему подписать протокол, Леонид подумал, что он не вправе пройти мимо намеков этого проходимца на то, что он неоднократно привлекался в качестве «свидетеля обвинения» по другим делам. При таком «свидетеле» можно было не сомневаться, что по этим делам пострадали невинные люди.

— Теперь вот что, Благовещенский,— сказал Леонид.— Идите домой и подробно напишите мне, по каким делам вы привлекались как «свидетель обвинения». Что это были за дела, кто их вел, кто именно обвинялся по этим делам, кто и кем был осужден?

Благовещенский испугался.

— Да ведь это давно было,— сказал он, шмыгая носом.— И разве я по своей воле действовал? Как приказывали, так и писал... Я человек подневольный.

— Вы так и напишите. И укажите, кто приказывал и что приказывал.

— Да ведь я всего и не помню — сколько лет прошло. А мне уж за шестьдесят — скоро помирать пора. Память уже не та...

— Это вы бросьте! — строго сказал Леонид.— Отлично вы все помните и напрасно притворяетесь. Напишите обо всем, что было. И знайте — если вы что-нибудь утаите — пеняйте на себя!

— Зачем утаивать? Я все напишу. Только в городе чтоб не узнали — мне тогда житья не будет...

— Обещаю, что ваши показания разглашены не будут. Завтра утром жду вас. Теперь последний вопрос: вы помните фамилии тех двух старух, которые были свидетелями на суде?

— Помню. Одна Петухова Анна Михайловна, вдова почтальона. Жила она рядом с тем домом, где собирались члены ревкома. Она и подглядела.

— Она жива?

— Давно померла. А вторая — Струнина, имени-отчества не помню. Торговка она была. Тоже умерла давно.

— Публики на суде не было?

— Нет, суд был закрытый. Только из контрразведки офицеры в зале сидели. Других не было.

Леонид дополнил протокол этими подробностями и отпустил Благовещенского, еще раз напомнив, что утром тот должен опять к нему явиться.

А через день, простившись с Колотовым, который отбывал в Москву, и поблагодарив его за помощь, Леонид также уехал из Зареченска, чтобы доложить о результатах своей командировки и определить дальнейший план расследования.

Прежде всего надо было снова допросить Логинова. Не исключалось, что сам Логинов, после того как ему будет предъявлен этот документ о помиловании, поймет бессмысленность дальнейшего заpiresательства и признает свою вину. Но если бы он даже продолжал отрицать ее, то основания для привлечения его к ответственности, право же, были достаточны, так как найденный в архиве документ не только подтверждал, но и дополнял заявление Колотова, не говоря уже о показаниях зареченских старожилков.

По возвращении из командировки Леонид доложил своему началь-

нику результаты работы. Тот внимательно прочитал ходатайство о помиловании и сказал:

— Прежде всего надо показать этот документ Леониду Ивановичу. Ты должен быть у него завтра. Затем вызови Логинова и допроси его по существу этого документа. Любопытно, как он будет вести себя теперь.

В назначенный час Леонид вошел в приемную ЦК. Первый, кого он увидел там,— был Логинов. Леонид поздоровался с ним и спросил:

— Вы сами или по вызову?

— По вызову,— коротко ответил Логинов, явно не желая вдаваться в подробности.

В этот момент из кабинета секретаря ЦК вышел его помощник и пригласил Леонида зайти.

Секретарь ЦК встретил Леонида, как всегда, приветливо и стал расспрашивать о результатах поездки в Зареченск. Леонид подробно рассказал обо всем и в заключение положил на стол лист с ходатайством о помиловании Логинова.

— Час от часу не легче!..— сказал секретарь ЦК, прочитав документ.— Плохи дела Логинова, плохи!.. А ведь я тут, пока вы ездили в Зареченск, тезка, взял на себя обязанности вашего помощника...

— В каком смысле? — удивился Леонид.

— Я ознакомился с партийным делом Логинова, его анкетами и автобиографией и прочел, что он воевал в составе каратаевского отряда, который влился в знаменитую дивизию Чапая. Так вот, вызвал я несколько старых чапаевцев, ветеранов гражданской войны, и они в один голос говорят, что помнят Логинова и что дрался он храбро, первым лез в огонь, одним словом, себя не щадил. Людям этим можно доверять вполне. Вот и мучает меня вопрос: как объяснить такое поведение, если Логинов — предатель? И как мог он стать предателем при таком поведении? Вопрос, согласитесь, правомерный.

— И совсем не простой,— добавил Леонид.

— Да, не простой,— согласился Леонид Иванович.— Конечно, это можно объяснить и тем, что Логиновым овладели угрызения совести и он старался своим мужеством смыть позорное пятно предательства. Теоретически это тоже возможно. Тогда возникает другой вопрос...

— Какой? — спросил Леонид.

— Добровольно вступив в каратаевский отряд, Логинов имел возможность назвать себя любым именем. Правда, паспортов в те годы не было, но красноармейские книжки были, и он, особенно в условиях тех лет, мог без всякого труда стать Петровым, Сидоровым, Тарасовым — одним словом, кем угодно. Почему он этого не сделал, если действительно был предателем и, следовательно, должен был опасаться, что будет рано или поздно разоблачен? В самом деле, почему?

Леонид молчал. С одной стороны, в вопросах, которые сформулировал секретарь ЦК, была «железная», как любил выражаться Леонид, логика. С другой — именно эта логика расшатывала те сваи, на которые — и, казалось, так твердо — опирается обвинение.

Наконец, при всей логичности вопросов, которые сейчас были поставлены, в деле имелся неопровержимый и грозный для Логинова документ. Просто отмахнуться от этого документа и от заявления Колотова было невозможно.

Леонид даже не заметил, как он вслух высказал эти мысли.

— Да, и вы по-своему правы,— снова согласился Леонид Иванович.— Вот и получается, что, с одной стороны, прав я, задавая эти вопросы, а с другой — правы вы, отбрасывая их этим документом. Но ведь двух правд не бывает, тезка, не так ли?

— Да, не бывает,— ответил Леонид.



В. НЕЧИТАЙЛО

На Красной площади

Выставка
Москва — столица нашей Родины.



В. ФЕДЯЕВСКАЯ

Москва индустриальная

Л. ТУКАЧЕВ

Канал Москва-Волга. Из серии «Москва — порт пяти морей»





Ю. ПИМЕНОВ

Новая дорога



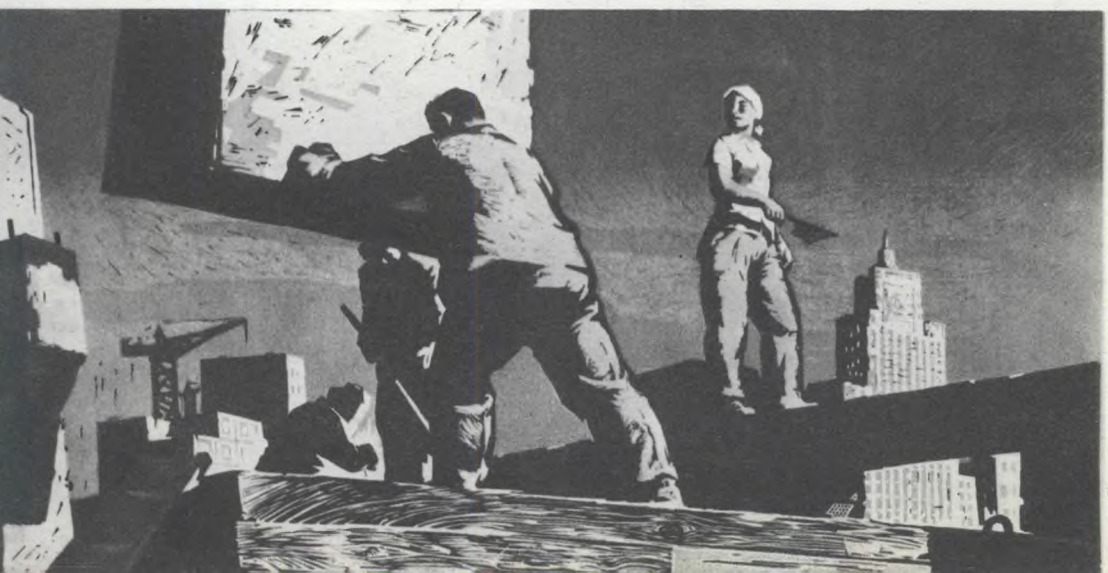
В. КОНОНОВ

Смена. Из серии «Московский судоремонтный завод»



А. РОЙТЕР

Москва. Юго-Запад



М. А. Врубель. 1907 г.



Заросший пруд

Домотканово. 1888 г.



Портрет
П. И. Щербатовой. 1911 г.



Портрет
Ф. И. Шаляпина. 1905 г.



Н. ЩЕГЛОВ

Мать. Из серии «Юго-Запад»

Ю. ЕФРЕМОВ

Строители. Из серии «Новая Москва»



РАБОТЫ ВАЛЕНТИНА СЕРОВА

(к 100-летию со дня рождения)

Автопортрет. 1885 г.



И секретарь ЦК опять зашагал из угла в угол по кабинету, продолжая размышлять. Дело Логинова продолжало его мучить, и все эти дни он не переставал о нем думать.

Подойдя к Леониду, он спросил:

— Установлено, где именно сейчас находится этот купец Потапов?

— Где-то в Нарымском крае,— ответил Леонид.— К сожалению, некий Громов, получивший от него полтора года тому назад письмо, скончался.

— Потапова надо разыскать, если он еще жив,— сказал секретарь ЦК.— А теперь давайте поговорим с Логиновым.

Он попросил помощника пригласить Логинова в кабинет.

Когда Логинов вошел и они поздоровались, секретарь ЦК сказал:

— Так вот, товарищ Логинов, следствие выяснило причины вашего помилования.

— Выяснило?! Каким образом?..— воскликнул Логинов, не скрывая своего удивления.— В самом деле?!

— Да, в самом деле. Атаман Дутов помиловал вас по ходатайству зареченского дворянства и купечества. По коллективному, так сказать, ходатайству. Вы знали об этом?

— Нет, я ничего не знал,— все сильнее волнуясь, ответил Логинов.— И не понимаю, как это, почему? Я сам — не дворянин и не купец, а сын фельдшера, с чего бы им за меня ходатайствовать?

— А ваш отец был жив тогда?

— Нет, отец умер еще в 1917 году там же, в Зареченске, и хлопотать за меня было некому. А почему вы думаете, что дворяне и купцы за меня ходатайствовали?

— Я не думаю. Следствие располагает подлинным документом — самим ходатайством, проще говоря.

— Этого не может быть! — воскликнул Логинов.

— Вы сомневаетесь! — сердито бросил секретарь ЦК.— Так знайте, что этот документ, и притом, повторяю, подлинный, обнаружен, и он будет вам предъявлен.

— Я очень прошу об этом,— с трудом проговорил Логинов.— Очень прошу!..

— Пока я назову вам несколько фамилий и прошу ответить, кого из них вы близко знали. Уездного предводителя дворянства Протопопова вы знали?

— Протопопов? Да, был такой... Но я не был с ним знаком.

— Помещик граф Кушелев вам известен?

— Фамилию его я знал, но с ним никогда не встречался.

— Игумен Крестовоздвиженского монастыря, благочинный отец Варсонофий, вам знаком?

— Понятия не имею! Но монастырь такой был.

— А купец первой гильдии Потапов?

Логинов вздрогнул. Секретарь ЦК многозначительно переглянулся с Леонидом.

— Да, я был знаком с Потаповым,— глухо ответил Логинов.— Я встречался с его дочерью Ларисой, но... я могу вас заверить, что менее всего мог за меня хлопотать Потапов. Поверьте — менее всего!

— Почему вы так уверены в этом?

— Потому что... я любил его дочь... И она любила меня... Но ее отец был против наших встреч, он ненавидел меня!.. Извините, может быть, это не относится к делу, но...

— Нет, как раз относится,— с живым интересом произнес секретарь ЦК,— относится хотя бы потому, что, вопреки вашим уверениям, купец Потапов был одним из тех, кто подписал ходатайство о вашем помиловании, и если бы он действительно ненавидел вас, то, согласи-

тесь, вряд ли стал бы это делать. Товарищ следователь, предъявите Логинову этот документ.

Леонид тут же вынул из портфеля и протянул Логинову пожелтевший лист ходатайства о помиловании.

Логинов судорожно схватил его, прочел один раз, другой, третий, и на лице его появилось выражение такого отчаяния и безысходности, что секретарь ЦК и Леонид, внимательно наблюдавшие за ним, невольно отвели глаза.

И вдруг, бросив этот лист на стол, Логинов зарыдал, дрожа как в лихорадке. Он бился головой о полированную поверхность стола, за которыми они сидели, бессвязно что-то бормоча.

Секретарь ЦК и Леонид, потрясенные этой неподдельной вспышкой отчаяния, опустили головы. Потом Леонид налил стакан воды и, подойдя к Логинову, сказал:

— Ну, успокойтесь, прошу вас, выпейте воды...

— Да, успокойтесь и скажите нам наконец правду,— медленно протянул Леонид Иванович.

Логинов вскочил и закричал:

— Какую правду?! Зачем вы мучаете меня?! Я ведь ничего не знаю, ничего не могу объяснить! Сорок лет я ходил, как под дамокловым мечом, ожидая, что рано или поздно всплывет этот проклятый вопрос — почему меня помиловали?! Сорок лет я ломал себе голову, стараясь разгадать эту загадку!.. Сорок лет я знал, что, когда наступит этот страшный день, я ничего не смогу сказать, ничем не сумею оправдаться и буду выглядеть как предатель, хотя никогда им не был... Но ведь вы все равно не поверите! И никто не поверит! И я бы на вашем месте не поверил! Что ж, отправьте меня в тюрьму, скорей отправьте меня в тюрьму!..

Леонид Иванович побагровел и, не выдержав, ударил кулаком по столу:

— Молчать!.. Какой ты член партии, если готов отправиться в тюрьму, не будучи ни в чем виноват?! Ишь ты, какой толстовец нашелся!.. Чего ты дрожал сорок лет, вместо того чтобы самому прийти к партии сказать: «Вот так со мной случилось, сам не знаю почему, сам ничего не могу объяснить. Прошу расследовать все строжайшим образом, я не могу и не хочу жить и работать под дамокловым мечом!.. Либо поверьте мне, либо поступайте, как знаете...»

— Да, теперь это легко говорить, а прежде, при Сталине... Вам это в голову не приходит?..— воскликнул Логинов.

— Ну, допустим,— перебил его секретарь ЦК.— А до Сталина? А после его смерти? Ты же сам говорил — сорок лет!.. Это же целая жизнь!..

Логинов опустил голову и замолчал.

Опять грузно зашагал по кабинету, заложив руки за спину, Леонид Иванович, а потом, подойдя к Логинову, уже тихо произнес:

— Хорошо, мы будем проверять дальше, мы сделаем все возможное, чтобы выяснить истину. Возьми себя в руки и терпеливо жди.

И в том, как он произнес эти слова, и, главное, в том, как он при этом глядел на Логинова, была такая теплота, что Каргин, жадно ловивший каждое слово, сразу благодарно оценил характер этого человека, его силу и доброту, его чувство ответственности за каждую человеческую судьбу. И подумал молодой следователь, что за эти полчаса он получил такой урок бережного отношения к людям, даже в тех случаях, когда над ними нависло тяжкое обвинение, какого не забудет всю свою жизнь.

Когда Логинов ушел, Леонид Иванович сказал:

— Вот ты сам все видел и слышал. Так притворяться нельзя!.. Да,

все улики против него, а нет у меня уверенности в его виновности, нет!.. Или он — честный человек, или я напрасно сижу в этом кабинете!.. Надо, тезка, тебе вылететь в Нарым, все перевернуть, разыскать хоть из-под земли этого Потапова, если он еще жив, и, конечно, его дочь, эту Ларису тоже...

Он закурил, жадно затянулся и горько добавил:

— В одном повезло Логинову: что Колотов увидел его портрет теперь, а не прежде... Давно бы Логинова прикончили, да еще, пожалуй, и признался бы... и в том, что было, и в том, чего не было...

НОВЫЕ ДАННЫЕ

Еще перед выездом в Зареченск Леонид, изучив анкету и автобиографию Логинова, направил ряд запросов в те области и города, в которых тот жил и работал на протяжении сорока лет.

Теперь поступили ответы на большинство этих запросов. Они в основном подтверждали все то, что писал о себе Логинов. Более того, почти во всех этих ответах он характеризовался самым положительным образом как энергичный, преданный делу работник и талантливый организатор.

Перечитывая эти сообщения, Леонид как бы видел жизненный путь своего подследственного — путь коммуниста, сначала фронтовика, потом — инженера, работавшего в ряде районов страны, строившего новые заводы и осваивавшего их, затем перебрасываемого на новые стройки, постепенно и вполне заслуженно выдвигавшегося, неоднократно награжденного. Путь этот, казалось, был безупречен: гражданская война, учеба, первые пятилетки...

Леонид также вызвал и допросил ветеранов гражданской войны, знавших Логинова по Чапаевской дивизии, о которых ему сказал Леонид Иванович. Все они единодушно подтвердили, что Логинов действительно прошел с этой дивизией весь ее славный путь и показал себя с самой лучшей стороны.

Но была среди других документов и справка, составленная на основе архивных материалов 1937—1938 годов, также полученная Леонидом.

Оказывается, в 1937 году были арестованы некоторые инженеры того завода, на котором тогда работал в качестве начальника цеха Логинов. Логинов, выступив на партийном собрании после их ареста, заявил, что он сомневается в их виновности, так как давно и близко знает этих людей. Начался скандал. Логинова обвинили в потере бдительности, в защите врагов народа, в клевете на органы безопасности. Он был привлечен к партийной ответственности, и ему грозило исключение из партии. К счастью Логинова, за него вступились рабочие-коммунисты, входившие в состав парткома. Дело ограничилось строгим выговором.

Ни Логинов, ни члены парткома, конечно, не знали, что в связи с этим выступлением на партийном собрании над Логиновым нависла еще более страшная гроза: его хотели арестовать. Основанием для этого, помимо выступления на собрании, послужили доносы о том, что «инженер Логинов в разговорах с рабочими и техниками продолжает высказывать свои сомнения в виновности арестованных врагов народа, а также оказывает материальную помощь их семьям. Надо думать, что Логинов участвовал в той вражеской работе, которую проводили арестованные». В другом доносе указывалось, что, «видимо, опасаясь своего разоблачения, Логинов находится в подавленном состоянии, избегает разговоров с сослуживцами, часто задумывается. Заметно, что, явно стремясь заслужить доверие, он много работает, вносит рационализаторские предложения, добился выполнения плана, а теперь носитя с

планом расширения цеха, в котором работает. Все это, конечно, есть не что иное, как замечание следов».

За Логиновым было установлено тщательное наблюдение. Каждый его шаг, каждое слово, каждое движение теперь толковались вкривь и вкось. Подтвердилось, что он помогал семьям арестованных и встречался с их женами, которым редактировал их жалобы и ходатайства. Теперь, если в цехе что-нибудь случалось, это истолковывалось как результат «вражеской работы», а если, наоборот, дела шли хорошо, это расценивалось как «замечание следов». Весь облик Логинова как коммуниста и работника так искажался на страницах секретно заведенного на него «дела», что это напоминало кривое зеркало в «комнате смеха», какие бывают в парках. Впрочем, это было далеко не смешно — это была трагедия тех лет, которая дорого обошлась стране и народу...

Через два месяца один из арестованных инженеров, не выдержав, оговорил и себя, и других арестованных, и Логинова. Был составлен фантастический протокол «чистосердечного признания» в существовании «заговорщической контрреволюционной вредительской группы на заводе, выполнявшей задания иностранной разведки и право-троцкистского центра». И тогда было принято решение арестовать Логинова.

Но директор завода, узнав об этом, запротестовал. Прокурор, к которому он обратился, пришел в замешательство: хотя формально он вел надзор за органами, поставившими вопрос об аресте Логинова, но фактически сам их опасался. Ведь его легко могли обвинить «в укрывательстве врагов народа». Тогда директор, человек решительный и смелый, обратился к наркому Серго Орджоникидзе, минуя все инстанции. Это помогло — Логинова оставили в покое, но продолжали за ним наблюдать.

По просьбе Леонида ему была представлена справка обо всем этом давнем деле, которая, к чести новых работников, ее составлявших, заканчивалась такими словами:

«В процессе произведенной проверки дела группы инженеров, осужденных в 1938 году за к.-р. деятельность, было установлено, что дело это возникло на основании клеветнических материалов и преступных методов следствия. Все осужденные реабилитированы. Таким образом, заявление Логинова об их невиновности подтверждено. Лица, виновные в фальсификации дела, привлечены к ответственности. Два доноса на Логинова, имеющиеся в деле, как и прочие материалы, на него собранные, носят явно недобросовестный и претенциозный характер».

Ознакомившись с этой справкой, Леонид невольно вспомнил слова секретаря ЦК: «В одном повезло Логинову: что Колотов увидел его портрет теперь, а не прежде... Давно бы Логинова прикончили, да еще, пожалуй, и признался бы... и в том, что было, и в том, чего не было...»

Именно эта справка способствовала перелому в отношении Леонида к Логинову. Молодой следователь, еще недавно веривший в виновность Логинова, теперь начал в ней сомневаться. Люди, способные на предательство, думал он, не поступают так, как поступил Логинов, когда арестовали его товарищей по работе. Всякое может случиться с человеком — может он и поскользнуться, и совершить тяжелую ошибку, и даже иногда преступление по легкомыслию, или слабоволию, или в пьяном виде, или на почве глубокого душевного волнения... Всякое может быть, кроме одного: подлец и предатель никогда не вступится с риском для себя за своих товарищей, никогда!..

Вместе с тем, размышляя о деле Логинова, Леонид хорошо понимал, что обвинение, выдвинутое Колотовым, не может быть отброшено на основе такого рода рассуждений, тем более, что это обвинение подтверждают многие другие люди, а кроме того, оно подтверждается грозным для Логинова документом — ходатайством о его помиловании. Следо-

вательно, до внесения полной ясности в мотивы и обстоятельства помилования Логинова и до проверки подлинных причин, по которым дворяне и купцы Зареченска написали свое ходатайство, это сложное дело не может считаться раскрытым.

Вот почему Леонид с таким волнением направлялся в Нарым.

ПОЕЗДКА В НАРЫМ

Когда Леонид прилетел в Нарым, он сразу же стал разыскивать Луку Потапова.

Нарымский край велик — более четверти миллиона квадратных километров занимает его территория, расположенная в таежной зоне.

В те годы, когда Потапов был сюда выслан, этот край входил как Нарымский округ в состав Новосибирской области, занимая ее северную часть. Позже административное деление изменилось. И это осложнило розыск Потапова.

Пока наводились нужные справки, Леонид с трепетом думал, что за те полтора года, которые прошли после получения Громовым письма Луки Потапова, он мог и умереть.

Вот почему, когда выяснилось наконец, что Лука Потапов жив и здоров и действительно работает пчеловодом в одном из колхозов, Леонид так обрадовался, что у него забилось сердце.

Было еще темно, когда он выехал на машине в этот колхоз и, одолев триста километров довольно скверной дороги, прибыл к месту назначения.

Прежде всего он разыскал председателя колхоза. На вопрос — здесь ли работает Потапов? — председатель колхоза ответил:

— Ну как же, Лука Митрофаныч — один из лучших пчеловодов в районе. Старик примечательный! Одна борода чего стоит!..

И он рассказал о том, как много лет назад бывший ссыльный Лука Потапов, решив остаться в этом суровом, но прекрасном крае, сам явился в колхоз и, предъявив соответствующие документы, просил взять его пчеловодом. Он ничего не скрывал, откровенно рассказал, когда, как и почему был выслан в Нарым, а потом добавил:

— Хоть лет мне довольно, но помирить еще не собираюсь. Пчел знаю и люблю. Возьмите — жалеть не будете...

Его взяли, и действительно старик развел великолепную пасеку и заслужил уважение знанием дела. Как рассказывал Леониду председатель, Потапов жил замкнуто, держался в сторонке, был немногословен. Он сам срубил себе избу на пасеке и поселился в ней с дочерью Ларисой, которая стала работать учительницей в школе.

— А где она теперь? — спросил Леонид.

— Да тоже учительницей работает, — ответил председатель. — Только теперь она преподает в районной школе — отсюда верст двести будет. Женщина строгая. Заочный пединститут кончила. Вот ее, значит, и повысили в чине. Ну, а летом, когда ребятишек на отдых отпускают, так она сюда приезжает и с отцом живет.

Получив эти сведения, Леонид направился на пасеку.

Он шел по широкой заснеженной улице села, мимо рубленых в лапу, по-сибирски добротных и крепких изб, в окнах которых переливчато и многоцветно играло морозное солнце, щедро рассыпавшее по сугробам и фиолетовой, хорошо накатанной дороге миллионы бриллиантовых искр. Снег поскрипывал под ногами, и это только подчеркивало торжественную, густонастоенную тишину этого ясного зимнего дня. Дышалось удивительно легко, хотя градусник на крыльце правления колхоза показывал за тридцать.

На самой окраине села, на темно-зеленом фоне тайги, стеной подступавшей к пасеке, стояло множество разноцветных ульев, между ними высилась ладная изба с белым дымком над трубой. Здесь и жил Лука Потапов.

Леонид подошел к крыльцу, постучал. За дверью послышались тяжелые шаги, и на пороге появился Потапов. Это был жилистый и плечистый старик со строгим, будто вырезанным из дерева, как на старой иконе, лицом и окладистой седой бородой.

— Вам чего? — удивленно спросил он, увидев незнакомого человека.

— Вы будете Лука Митрофанович Потапов? — спросил Леонид.

— Он самый, — спокойно ответил старик. — А в чем дело?

— Мне необходимо поговорить с вами, — ответил Леонид.

Старик ещё раз пытливо посмотрел на него глубоко сидящими, выцветшими от лет, но ещё зоркими глазами и произнес:

— Заходите.

Они вошли в избу, очень чистую, с двумя иконами старого письма в углу. Широкие, сработанные из кедра лавки, такой же стол, некрашенная деревянная кровать за ситцевым пологом составляли нехитрое убранство этой горницы. В доме чуть горьковато пахло смолой, ладаном и травами.

Леонид присел на лавку и сразу же увидел висящий на противоположной стене большой портрет совсем молоденькой девушки, очень красивой, с густой косой, смоляными, круто взлетающими бровями и живыми, смелыми глазами.

— Ваша дочь? — спросил Леонид.

Старик удивленно взглянул на него и неохотно протянул:

— Да. А вы почему знаете?

— Догадался, — улыбнулся Леонид. — А теперь позвольте перейти к делу. Речь идет о человеке, которого вы знали, правда, давным-давно. Я — следовательно, вот мое удостоверение. — И Леонид, достав из кармана удостоверение, протянул его Потапову.

Тот отвел руку:

— Не надо, и так вижу, что следовательно. Давайте ближе к делу.

— Вы знали в Зареченске студента Николая Логинова, сына местного фельдшера?

— Ведом был мне такой человек, — подтвердил Потапов, и какая-то искра мелькнула в его глазах. — А он жив?

— Да, жив. Вы помните, что он был осужден дутовским военно-полевым судом к смертной казни через повешение?

— Было.

— А потом помилован атаманом Дутовым?

— И это было.

— По нашим данным, это помилование последовало в результате вашего ходатайства на имя атамана Дутова.

Леонид вытащил портсигар и хотел было закурить, но Потапов остановил его:

— Курить у нас, староверов, не положено, — спокойно произнес он.

Леонид захлопнул портсигар.

— Извините, я просто не знал этого. Так вот относительно помилования — ведь Логинов обязан этим помилованием вам.

— На все воля божия, — ответил Потапов. — Сказано в писании: «Если господь не строит дома, напрасно трудится строящий его; если господь не охраняет города, напрасно не спит его страж». Так что не мне обязан Николай Логинов помилованием и не атаману Дутову, который это помилование подписал, а господу нашему Иисусу Христу, пожелавшему спасти Логинова, невзирая на неверие его.

Леонид улыбнулся:

— Я не стану с вами спорить — дело не в этом. Меня интересуют мотивы, по которым вы подписали ходатайство о помиловании Логинова.

— Не я один подписывал, — глухо ответил Потапов, — подписывали и другие.

— Знаю, но меня интересуют мотивы, по которым именно вы подписали это ходатайство, понимаете?

Потапов нахмурился, и по всёму было видно, что вопросы Леонида ему не по душе.

— Да разве все упомнишь? — протянул он. — Сколько лет прошло! И разве человеку ведомо, почему он действует так, а не эдак? Нет, не помню, — решительно закончил он.

— Лука Митрофанович, речь идет о судьбе человека! — горячо воскликнул Леонид.

— Не помню, ничего не помню! — усмехнулся Потапов. — А что до судьбы Николая Логинова, так меня она не касается, делайте с ним, что хотите, я ничего знать не знаю, ведать не ведаю и сказать не могу!

Нотки старой, полузабытой, но внезапно ожившей вражды явственно прозвучали в голосе Потапова, и Леонид хорошо почувствовал это.

Он понял, что совершил ошибку, откровенно начав разговор с того, что от показаний Потапова зависит судьба Логинова. И теперь, внутренне досадуя на свой неуклюжий ход, Леонид лихорадочно размышлял о том, как исправить эту ошибку и заставить Потапова рассказать правду, которую он, конечно, знает, но рассказывать почему-то не хочет.

И хотя был дорог каждый час, Леонид решил прервать разговор с Потаповым до следующего дня и не обнаруживать своей особой заинтересованности в его показаниях.

— Ну что ж, — с равнодушным видом протянул Леонид. — Мне ведь не к спеху. Прошло с тех пор сорок лет, пускай одним днем больше будет. Я вас прошу постараться всё вспомнить, а завтра опять навещу вас. Надеюсь, что за это время вы как следует подумаете.

— Дело ваше, — пробурчал старик и встал, давая понять, что разговор окончен.

Леонид вернулся к председателю колхоза, пообедал, а потом пошел погулять по селу.

Студеный багровый закат полыхал за темной тайгой, и огромное красное солнце медленно тонуло в лесном океане. Теперь все село — и окна изб, и сугробы на улицах, и дорога — приобрело тот розовато-фиолетовый оттенок, которым так сказочно красивы зимние сибирские вечера.

Весело кричали, катаясь на салазках, ребяташки; шли женщины с полными ведрами в руках и степенно здоровались с Леонидом, разглядывая его. Звенела под полозьями саней ледяная дорога.

Гуляя, Леонид незаметно для себя подошел к пасеке. Здесь было удивительно тихо, только из избы, в которой жил Лука Потапов, несмотря на плотно запертую дверь, доносилось какое-то пение.

Леонид подошел к окну и, стараясь быть незамеченным, осторожно заглянул в него. Он увидел Потапова, стоявшего на коленях перед иконами. Старик истово крестился и пел какие-то псалмы.

Леонид отошел от окна и направился обратно к селу.

В эту ночь оба спали плохо — и молодой следователь и старик. Следователь все укорял себя за тот топорный любовой ход, которым он начал допрос старика Потапова, несмотря на то, что уже имел какое-то представление о его сложном и крутом характере. «Да, ужасно глупо это получилось, — думал Леонид. — И это еще один серьезный урок, ко-

торый надо извлечь из случившегося. Не все свидетели охотно и сразу раскрывают свои сердца и рассказывают правду, и не всякий метод допроса является правильным».

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Не спал в эту ночь и старик Потапов. Неожиданный визит следователя разбередил в его душе все, казалось, давно и навсегда уснувшие страсти и воспоминания. Вопреки тому, что он сказал следователю, Лука Митрофанович превосходно помнил мельчайшие подробности всего, что относилось к аресту, осуждению и помилованию Николая Логинова.

И теперь давние обстоятельства навсегда минувших лет так ярко и красочно вдруг ожили в его памяти, что он сам подивился этому и подумал, что и на старости не дано человеку забыть все, что он пережил в годы молодости и зрелости своей, и, может быть, хорошо, что не дано!..

Лука Митрофанович овдовел рано, когда Ларисе было всего пять лет, и тяжело переживал внезапную смерть жены, погибшей от крупозного воспаления легких. Она простудилась на масленой неделе, после традиционного катанья. У Луки Митрофановича был лучший в городе рысак — поджарый, серый в яблоках жеребец, отличавшийся горячим нравом. Лука Митрофанович любил запрягать его в шумные масленичные дни, когда по главной улице Зареченска мчались с гиком и свистом купеческие сани, вздымая облака снежной пыли и пугая публику диким храпом коней.

В тот день, когда случилось несчастье, жеребец у Потапова рванул на крутом повороте и перевернул сани. Лука Митрофанович вывалился из саней на дорогу, а жену бросило в сугроб. К ночи у нее начался жар, уездный врач сразу не разобрался, и Лука Митрофанович по дедовским рецептам уговорил жену попариться в бане.

Утром ей стало хуже, и обнаружилось крупозное воспаление легких — страшная по тем временам болезнь. Через несколько дней наступил кризис, и она умерла.

Долго горевал молодой — ему было тогда тридцать два года — вдовец.

Лука Митрофанович дал обет не жениться, чтобы у Ларисы, которую он любил без памяти, не появилась мачеха.

Через два года, поехав на моленье в Иргиз, в скит матушки Нимфодоры, Лука Митрофанович загляделся на круглолицую, ловкую послушницу Варвару, прислуживавшую игуменью, у которой он ужинал.

Властная и наблюдательная игуменья, заискивавшая перед богатым «благодетелем», сразу заметила его умильные взгляды. На следующий день Нимфодора осторожно завела разговор о Ларисе.

— Хорошо, что не женился, батюшка Лука Митрофанович, и твердо соблюдаешь обет свой. Однако по множеству дел твоих нет у тебя времени да — прости рабу божью за прямоту — и уменья дочь воспитать. К тому же, Лука Митрофанович, дом без бабьей руки — не дом... Особливо дом с недостатком.

— Что же посоветуешь, матушка Нимфодора? — смущенно спросил Лука Митрофанович, сразу сообразив, что хитрая игуменья все поняла.

— Надобно тебе подыскать хорошую девицу нашей веры — хозяйственную, добрую, чтоб могла Ларисе и вместо матери стать и вроде как старшей подружкой. Вот, к примеру сказать, моя Варварушка —

девка, прямо тебе скажу, золотая. К тому же и к хозяйству приучена. Конечно, мне с нею расставаться горестно, но ради такого случая и бедственного твоего семейного положения...

— Спасибо, матушка, я подумаю,— ответил Лука Митрофанович.

Через несколько дней он отправил в скит Нимфодоре два воза солины, несколько кулей пшеничной муки и ящик ярославской мадеры, до которой игуменья была большая охотница; в короткой записке он известил игуменью, что принимает ее предложение и очень за него благодарен.

Так появилась в доме Луки Митрофановича молоденькая Варвара.

Незаметно прошли годы, и Лариса подросла. Лука Митрофанович не мог налюбоваться красавицей дочерью и уже подумывал, что пришла пора подыскать ей хорошего жениха.

Февральскую революцию Лука Митрофанович встретил с радостью. Царское правительство преследовало раскольников, а он твердо придерживался «старой веры».

Теперь, как он надеялся, никто не будет преследовать староверов. К этому времени его избрали городским головой, и он был доволен оказанным ему почетом.

Пришла Октябрьская социалистическая революция. Обстановка в Зареченске сложилась тяжело... Власть в городе и округе возглавил «Комитет спасения родины и революции», в который вошли монархисты, кадеты, эсеры и представители других антисоветских партий. Комитет назначил казачьего атамана Дутова командующим войсками. Дутов арестовал всех членов Оренбургского военно-революционного комитета и Совета рабочих и солдатских депутатов, организовал массовое восстание контрреволюционного казачества и объявил всеобщую мобилизацию. Ему удалось захватить почти весь Оренбургский край.

В борьбе Красной Армии с контрреволюционными бандами активно участвовали и казахи. Так, казахский партизанский отряд, боровшийся с дутовскими частями, был позднее придан армии Чапаева. Это был тот самый отряд, в который вступил, как он показывал на следствии, Николай Логинов после своего побега.

Почти во всех районах, занятых дутовцами, действовали подпольные большевистские организации. Действовала такая организация и в Зареченске. Вот почему, когда однажды ночью Варвара сообщила Потапову, что Лариса часто встречается со студентом Логиновым, он не на шутку встревожился.

— Собой-то он — ничего не скажешь — молодец,— заметила она.— Да ведь с большевиками путается, и сам, спаси господи, большевик...

Лука Митрофанович долго прикидывал, как лучше поговорить с дочерью, которая характером была вся в него — такая же резкая и скрытная. В конце концов он решился и начал этот разговор.

Лариса гневно сверкнула глазами.

— Вот что, батюшка,— сказала она,— я не маленькая, и судьбой своей буду заниматься сама. Очень прошу вас никогда больше об этом со мной не говорить.

И, закусив губу, она вышла из комнаты, оставив Луку Митрофановича в полном смятении: никогда еще прежде дочь так дерзко не говорила с ним.

За месяц до ареста Николая Логинова та же Варвара обнаружила у Ларисы под матрацем пачку листовок подпольного ревкома. Их дал на хранение Ларисе Логинов, считая, что более надежного места нельзя себе и представить...

Ночью Варвара принесла эти листовки Луке Митрофановичу.

— Вот, посмотрите,— сказала она.— Чужало мое сердце, что беда будет...

Лука Митрофанович прочитал одну из листовок и помрачнел.

Он долго размышлял, как ему быть. Сначала он хотел еще раз поговорить с дочерью, но потом счел это излишним. Листовки он приказал Варваре сжечь и делать вид, что ей об этом ничего неизвестно.

После ареста семерых членов подпольной организации, и в их числе Николая Логинова, Лариса бросилась к отцу. Она еще до этого обнаружила исчезновение листовок, и теперь у нее возникло подозрение: не является ли ее отец виновником исчезновения этих листовок и ареста ее любимого? Она прямо сказала ему об этом.

Лука Митрофанович строго взглянул на дочь и, перекрестившись, сказал:

— Вот, клянусь тебе, ничего не знаю об аресте Николая Логинова и остальных, слышишь, ничего!..

— А почему пропали листовки?

— Это моих рук дело,— сухо отрезал Лука Митрофанович.— Я их сжег, и хорошо сделал: иначе и тебя могли бы запутать...

Лариса слишком хорошо знала отца и по-своему любила его, чтобы не понять, что он говорит правду.

— Простите меня, батюшка,— волнуясь, сказала она,— страшное мне померещилось. Но умоляю: спасите Николая, а то руки на себя наложу...

И она выбежала из кабинета отца и заперлась в своей комнате.

Когда стало известно, что всех семерых приговорили к смертной казни, Лариса, страшно похудевшая за это время, снова пришла к отцу и повторила, что покончит с собой, если Логинов не будет спасен.

Старик побагровел от ярости. Он понял, что Лариса действительно может исполнить свою угрозу. Менее всего ему хотелось спасти Логинова, которого он считал своим лютым врагом. Но надо было спасти дочь.

— Слушай, доченька,— сказал он.— Тебя ради буду хлопотать об нем. Сделаю все, что могу, сам к атаману Дутову поеду, авось уговорю... Вот тебе святой крест!.. Верить?

— Верю, батюшка,— кинулась к нему Лариса и заплакала.— Никогда вам этого не забуду, никогда!.. Спасибо вам!..

— Погоди благодарить,— невесело ухмыльнулся Лука Митрофанович.— Всею своя цена должна быть... Так вот мое последнее слово: вытаску я этого дьявола из петли... Но... поклянись мне на иконе, что никогда с ним не встретишься, навсегда от него откажешься, из сердца выбросишь... И сама ему об этом напишешь...

— Но ведь я люблю его, батюшка! И он меня любит...

— Если так, пусть лучше на виселице качается,— гневно произнес старик.— Туда ему и дорога, проходимцу... Всю Россию замутили, всю гольтыбу подняли!.. Мужиков с толку сбили... Нет, середине не бывать — либо они, либо мы... Решай, Лариса, пока не передумал!..

Знал Лука Митрофанович характер дочери, но и она знала своего отца. И девушка не выдержала.

— Пусть будет по-вашему, пусть,— сказала она.— Только бы жив остался!..

Потапов послал кучера за адвокатом Балахоновым, которому иногда поручал свои дела. Маленький, круглый как шар, с розовой, всегда надушенной лысиной и веселыми плутоватыми глазками, Балахонов немедленно явился к своему богатому клиенту.

Лука Митрофанович заперся с ним в кабинете и изложил свою просьбу.

— Как знаешь, Егор Егорыч,— сказал он Балахонову,— а Логинова ты мне из петли вытаски! За деньгами не постою.

— Дорогой мой Лука Митрофанович,— перебил его Балахонов,— ка-

кое спасение, какие деньги, что вы говорите?! И на кой, извините, ляд он вам дался? Что вам Логинов, и что вы Логинову?! Кроме того, приговор уже вынесен — приговор военно-полевого суда!.. Это значит, что кассировать его невозможно, да и, говоря между нами, некуда его кассировать — ведь все законы Российской империи полетели к чертовой матери, голуба вы моя! Сенат давно за решеткой, судебная палата в Петрограде сгорела как свеча!.. Одни руины... Основы потрясены, понятия морали и права рухнули с громом и грохотом, в стране вавилонское столпотворение; одна часть населения воюет с другой, господа пролетарии поют: «Кто был ничем — тот станет всем!»... Ничего нельзя понять, ни в чем невозможно разобраться!.. Содом и гоморра, дражайший!.. Форменное светопреставление!

— Знать ничего не знаю, — гремел Лука Митрофанович, — даром, что ли, я тебя позвал, стенания твои слушать?! Нет, Егор Егорыч, Логинова ты мне спаси, иначе нашей дружбе конец!.. А сделаешь — в долгу не останусь...

— Есть только один ход: помилование, — проговорил Балахонов, озадаченный такой настойчивостью своего клиента. — Нужно написать ходатайство о помиловании и вручить его атаману Дутову. Это единственная возможность. Но ведь атаман — мы люди свои — сущий разбойник!.. И рожа у него разбойничья, это я вам как криминалист говорю... Ох, попали мы из огня да в полымя!..

— Хорошо, я подпишу, — заявил Лука Митрофанович, — сочиняй ходатайство. И с разбойником можно договориться, как писали святые отцы. Сам поеду к нему.

Балахонов замаялся.

— Извините меня, бесценный вы мой Лука Митрофанович, — залепетал он, зная грозный характер своего собеседника. — Но при всем уважении к имени вашему считаю долгом своим заметить, что одна ваша подпись, так сказать... при всей весомости оной...

— Да не тяни ты, говори толком! — рявкнул Лука Митрофанович.

— Надо, чтобы и другие подписи были, — объяснил адвокат, — чтобы не только купечество, но и дворянство... И чтобы мотивчики были в ходатайстве, мотивчики... Сами понимаете — время жестокое, жизни человеческой копейка цена. Это ведь вам не суд присяжных, поймите!.. Тут и сам Карабчевский помочь не сумел бы, тут и Плевако бы растерялся... А Грузенберга просто повесили бы, поелику он иудей... Такова ситуация, сударь!..

— Ну, насчет подписей я обмозгую, — задумчиво произнес Лука Митрофанович, — а вот насчет мотивчиков, как ты говоришь, — ума не приложу.

— Проще простого! — воскликнул адвокат. — Надобно написать его высокоблагородию полковнику Дутову, председателю правительства казачьего войска, что Николай Логинов оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками, и тепе, и тепе...

— Да ведь никаких услуг он не оказывал, — удивился Лука Митрофанович. — Наоборот, сам большевик, будь он проклят!

— А мы напишем, что оказывал, — усмехнулся адвокат. — Ах, дорогой вы мой Лука Митрофанович, если бы все, что я писал в своих кассационных жалобах и ходатайствах, соответствовало истине, какой же был бы я адвокат!.. Да разве по вашим искам, между нами говоря, мы всегда писали то, что было в действительности? Сами изволите вспомнить, вертели и так и эдак, но своего добивались...

— Ну-ну, это к делу не относится, эка ты куда хватил, — сердито проворчал Лука Митрофанович. — Одним словом, действуй!..

И Балахонов, сев за стол, потребовал бутылку красного вина, без которого, как он неизменно говорил, у него «соображение почему-то

дремлет и все рефлексy заторможены», и приступил к написанию ходатайства.

В тот же вечер вся городская знать была приглашена на ужин к городскому голове.

На следующий день Лука Митрофанович направился к председателю «правительства казачьего войска» атаману Дутову.

Атаман, высокий, худой, средних лет человек, с пронзительными ястребиными глазами, в малиновой черкеске с серебряными газырями, принял городского голову самым любезным образом — он знал, что его посетитель — купец первой гильдии и миллионер. Финансовые дела «правительства казачьего войска» были далеко не блестящи. Правда, адмирал Колчак прислал своего нарочного с письмом, в котором сообщал, что «союзники обещали реально помочь не только вооружением, но и деньгами», но деньги пока не поступали. Те суммы, которые удалось захватить в оренбургском банке, уже иссякли, и теперь атаман очень рассчитывал на помощь купечества. Вот почему, когда ему доложили о приходе Потапова, он немедленно его принял.

— Садитесь, господин Потапов, — сказал атаман, когда Лука Митрофанович вошел в его кабинет в здании бывшей земской управы. — Рад приветствовать в вашем лице истинно русского патриота и представителя местного купечества. Наслышан, весьма наслышан о вашей деятельности и как городского головы и как крупного скотопромышленника, немало сделавшего для снабжения армии.

— Благодарю за лестные слова, ваше высокоблагородие, — ответил Лука Митрофанович, приятно удивленный таким приемом. — Прибыл я к вашей милости, Александр Ильич, не только от купечества, но и от дворянства Зареченского уезда с одним ходатайством...

— Что, опять мои казачки набедокурили? — спросил Дутов, уже привыкший к жалобам на казачьи части, нередко занимавшиеся мародерством и всякого рода насилиями. — Чего греха таить — всякое случается... Время, сами знаете, смутное, не всегда разберешь, где — свои, где — не свои...

— Да нет, совсем по другому делу пришлось вас беспокоить, — ответил Лука Митрофанович. — Правда, угнали у меня казаки вашей милости в Лебяжье сто голов скота и малость моего приказчика поучили, когда он препятствовал, — почитай две недели бедняга в больнице лежал, — но ведь и то надо сообразить, что войску вашему, заступникам нашим, пропитание требуется. Так что я не в обиде и по таким пустякам не стал бы ваше высокоблагородие беспокоить...

— Однако сто голов это не такие уж пустяки, — улыбнулся Дутов. — И потом этот приказчик... Да, огрубели нравы, весьма огрубели, к прискорбию нашему!.. Как глава правительства (Дутов очень любил так себя именовать) я крайне озабочен подобными эксцессами. Сегодня же дам указание министру финансов возместить вам ущерб... Надеюсь, господин Потапов, у вас имеются документы касательно этих ста голов?

— Да какие же могут быть документы? — пожал плечами Лука Митрофанович. — Расписок казаки не дали. Один приказчик покалеченный — вот и все документы... Однако, ваше высокоблагородие, я ведь не об том говорить хочу. Совсем по другому делу пришел.

— К вашим услугам, — любезно кивнул головой Дутов, подумав про себя: «По другому делу, а все-таки насчет скота ввернул, мошенник! Интересно, сколько удастся вытрясти из этого Тита Титыча?»

— Вот ходатайство наше, — сказал Лука Митрофанович и протянул Дутову лист.

Атаман быстро пробежал текст ходатайства и, прищурившись, произнес:

— Не скрою, весьма удивлен, господин Потапов. Я в курсе этого дела

и приговор сегодня утвердил. Мне докладывал председатель военно-полевого суда: вина осужденных несомненна, все они — большевики, а что до этого студента Логинова, так он вдвойне виновен: уж ему-то как интеллигентному человеку, и вовсе непростительно, все-таки ведь не мастеровой какой-нибудь... Вы пишете, что он оказал какие-то услуги в борьбе с большевиками, но мне об этом неизвестно. В чем же дело?

И атаман пристально и цепко посмотрел на сидящего против него Потапова.

Но тот не растерялся.

— Вам неизвестно, зато мы в курсе дела,— спокойно ответил он.— Вы люди приезжие, всего не знаете. А мы здесь родились, городишко маленький — все друг друга наперечет знают. Логинов этот, не спорю, действительно с большевиками путался. Но потом спохватился и нам помогал как мог. Конечно, это в секрете держалось.

— Что же, господин Потапов, выходит, что вы свою контрразведку имеете? — снова прищурился Дутов.— Так, что ли, я вас понимать должен?

— Я говорю то, что было, а уж как вам понимать, не моего ума дело. Не я один пишу — все дворянство и купечество.

— Чем же этот Логинов вам помог, в чем это выразилось? — допытывался атаман.

— Насчет контрибуции он нас предупреждал. И когда здесь совдеп орудовал — тоже... Если у кого обыск намечался или даже что похуже...

— Он вам, случайно, не родственник? — неожиданно бросил Дутов и опять пристально поглядел на Потапова. Но тот и глазом не моргнул.

— Нет, ваше высокоблагородие,— быстро ответил он.— Ни мне, ни прочим, подписавшим ходатайство на имя вашей милости, Логинов родственником не приходится. Но учитывая молодость его, а также памяти фельдшера Логинова — отца осужденного, коего все мы довольно знали, осмелились просить ваше высокоблагородие, как председателя правительства казачьего войска, о помиловании.

— Да, но это не так просто, господин Потапов,— протянул Дутов, стараясь понять, почему купец так хлопочет за Логинова.— Приговор вступил в законную силу. Я его утвердил. Конечно, как глава правительства я вправе помиловать, но... Поймите меня правильно...

— Мы всегда рады понять вашу милость,— смиренно произнес Лука Митрофанович и в свою очередь зорко поглядел на атамана, думая про себя: «Очень даже я тебя понимаю. Прав был Балахонов — и рожа у тебя разбойничья. По всему видать, сейчас столько заломись, что только держись. Ну ничего, поторгуемся. Лишнего не дам!»

— Простите, как ваше имя-отчество? — осведомился Дутов.

— Лука Митрофаныч.

— Очень приятно. Так вот, уважаемый Лука Митрофаныч, ходатайство ваше я рассмотрю, посоветуюсь с министрами... А пока у меня к вам другой вопрос.

— Слушаю-с.

— Правительство временно испытывает некоторые... гм... затруднения... Мы ждем партию золота от союзников, но пока... Одним словом, был бы весьма кстати временный заем. Правда, у нас достаточно керенок... Но, как легко понять, это...

— Понимать тут нечего, керенки теперь годны только, чтоб стены оклеивать,— усмехнулся Лука Митрофанович.— Да и то не очень — бумага тонка.

— Ну, и царские ассигнации тоже нынче не в моде,— заметил Дутов.— Речь может идти только о золотом займе.

— Золотом? Да ведь у нас золотопромышленников нет и отроду не было,— схитрил Лука Митрофанович.— Здесь не Сибирь.

— Но золотые монеты царской чеканки тоже золото,— продолжал атаман.— Правительству хорошо известно, что местное купечество располагает запасом таковых. Речь идет о сумме весьма скромной: тысяч полтора, двести... Повторяю, на условиях временного займа. До поступления сумм от союзников.

— На весь Зареченск хорошо, ежели тыщонок десять окажется,— произнес, как бы размышляя вслух, Лука Митрофанович.— У купечества деньги всегда в обороте — закон коммерции. В кубышках не держим... По себе знаю — хорошо, ежели две тыщи наскребу...

— Ну-ну, это уж вы скромничаете,— усмехнулся Дутов.— Вы ведь миллионер, Лука Митрофанович. Зачем прибедняться?

— А я не прибедняюсь. Но ведь все капиталы в скоте, лесах, недвижимости. Одним словом, в обороте. Счет у меня был в коммерческом банке — чего он теперь стоит? Банк-то у них...

Атаман нервно встал, прошелся, звеня серебряными шпорами, по кабинету, а затем, подойдя вплотную к Луке Митрофановичу, раздраженно сказал:

— Послушайте, Лука... э-э... как вас?..

— Митрофаныч, ваша милость.

— Гм... Вот именно... Что за суммы вы называете? Я говорю с вами от имени правительства, а вы — две тыщонки... Просто странно!

— Так точно, ваша милость. Но ведь... Чем богаты, тем и рады...

Разговор затянулся. Атаман еще долго напирал на Луку Митрофановича, оба устали и, наконец, покончили на пяти тысячах золотом. Через час, съездив домой, Лука Митрофанович вручил лично «главе правительства» старинный кожаный кошель, набитый золотыми десятками и империалями. О «правительственном займе» больше разговора не было.

Лука Митрофанович, вручая кошель, дипломатично не напоминал о помиловании. Но атаман сам, уже прощаясь, сказал:

— Да, хочу вам сказать: учитывая заслуги этого студента Логинова и в уважение к вашему ходатайству, я его помиловал.

— Покорнейше благодарю, ваша милость,— почтительно произнес Лука Митрофанович.— От всего общества благодарю!

...Обо всем этом и вспоминал теперь, кряхтя и ворочаясь на своей постели, Лука Митрофанович.

ПРИЕЗД ЛАРИСЫ

На следующий день, утром, Леонид снова направился к Луке Митрофановичу, встретившему его довольно хмуро. Опять начался разговор.

— Итак, Лука Митрофанович,— сказал Леонид.— Вы продолжаете утверждать, что не помните мотивов, по которым было написано это ходатайство о помиловании?

— Где тут вспомнить — сорок лет прошло,— ответил старик.

— А если я напомним?

— Сделайте одолжение,— старик вздохнул.— Буду благодарствовать, только как же это вы мне напомниме, если вас тогда и на свете не было.

— Меня не было — другие были. У них память лучше, чем у вас, Лука Митрофанович, хотя, как мне точно известно, именно вы были инициатором этого ходатайства.

— Неужто я?

— Вот, например, бывший купец второй гильдии Иван Приходько, допрошенный в качестве свидетеля, прямо сказал, что на ужине, кото-

рый вы устроили, именно вы уговорили всех гостей подписать это ходатайство о помиловании. Между прочим, кто его писал?

— Как же я могу сказать, кто писал, когда вообще этого не помню,— быстро ответил старик.— А что до Ивана Приходько, так я его знал, человек стоящий, ничего не могу сказать... Он жив?

— Мертвые показаний не дают,— произнес Леонид.— Жив, конечно. Вот послушайте, что он рассказал...

И Леонид, достав из портфеля протокол допроса Ивана Приходько, прочитал ту его часть, в которой рассказывалось, как Лука Потапов дал подписать своим гостям заранее подготовленное ходатайство о помиловании.

Старик слушал очень внимательно, ничем не выдавая своего волнения; он великолепно собою владел.

— Ну, Лука Митрофанович, что теперь скажете? — спросил Леонид.— Ведь Приходько рассказал все, как было в действительности...

— Не помню, но спорить не стану,— ответил старик.— Может быть, так оно и было. Я — человек верующий и хотел, видно, доброе дело сделать: душу человеческую спасти.

— И специально пригласили для этого всех своих гостей? Вроде это за вами прежде не водилось,— заметил Леонид.

— А если и так, греха в том нет, ради доброго дела и выпить не возбраняется.

— Но ходатайство о помиловании было заранее подготовлено,— допытывался Леонид.— Вы вытащили его из-за божницы.

Старик с наигранным добродушием рассмеялся.

— Я про самый случай этот не помню,— сказал он,— а вы спрашиваете, откуда это ходатайство я вытащил и где его держал. Человек корову не помнит, а вы про подойник спрашиваете. И опять же, сударь, забываете преклонные лета мои. Вот так.

— В таком случае я предъявлю вам подлинник ходатайства о помиловании. Вот он.

И, вытащив из портфеля документ, Леонид протянул его старику. Тот молча взял его и пошел к окну, где начал читать, обходясь, к удивлению Леонида, без очков.

Дважды прочитав ходатайство, он вернулся к столу, за которым сидел Леонид, и отдал ему документ.

— Извольте,— сказал он.— Прочел с удовольствием, написано по всей форме.

— Кто же писал?

— Вот этого не помню, но только не я. Мне бы так форсисто не написать, я ведь не дюже грамотен. Да и почерк не мой.

— А подпись?

— Подпись моя.

— Так вот: меня интересует вопрос о мотивах ходатайства. В этом документе черным по белому написано, что Николай Логинов оказывал «неоценимые услуги в борьбе с большевиками».

— Написано,— согласился старик.

— Вам известны эти заслуги?

— Нет.

— Но если вы писали об этих заслугах, то...

— Писал-то не я.

— А кто же?

— Не помню.

— Но подписывали вы?

— Подписывал, не отрицаю.

— Значит, вы знали, подписывая ходатайство, о каких заслугах идет речь?

Неизвестно, как ответил бы на этот вопрос Лука Митрофанович, но тут послышался стук полозьев и фыркание лошади под окном. Кто-то взбежал по ступенькам крыльца, дверь распахнулась, и на пороге появилась высокая женщина в пуховом оренбургском платке, с раздумянившимся от дальней дороги лицом.

— Здравствуйте,— певуче произнесла она,— встречайте негладанных гостей.

— Доченька! — радостно воскликнул Лука Митрофанович.— Вот не думал, не гадал!..

— Я решила приехать к вам на зимние каникулы,— объяснила она, развязывая платок и отряхивая снег с воротника шубы.— А тут еще у нас в городе грипп, объявили в школе карантин...

И тут она заметила Леонида и вопросительно посмотрела на отца. Тот отвел глаза.

— Здравствуйте, Лариса Лукьяновна,— поднялся навстречу ей Леонид, с интересом разглядывая все еще красивое, открытое лицо этой женщины, освещенное сиянием темных смелых глаз, ее густые, но уже седые волосы и чистый крутой лоб.— Я тоже рад вашему приезду. Позвольте представиться: следователь Каргин.

— Здравствуйте,— удивленно произнесла она.

— Приехал я сюда издалека и по делам большой давности,— продолжал Леонид.— Надо кое-что выяснить.

— Чего тут выяснять, сударь,— раздраженно перебил Леонида Лука Митрофанович.— Разговор у вас со мной, а дочь тут совсем ни при чем.

— А в чем дело? — не без тревоги спросила Лариса Лукьяновна, садясь за стол.— О каких давних делах идет речь?

— Да так... Я сейчас самоварчик поставлю... А вас, сударь мой, покорнейше прошу: отложим наш разговор. Сами видите — дочь приехала,— добавил он, обращаясь к Леониду.

— Да, конечно, не хочу мешать вашей встрече,— сказал Леонид.— Ларисы Лукьяновны наш разговор действительно не касается... Хотя она, может быть, сумеет вспомнить...

— А в чем дело, если не секрет? — все еще настороженно спросила она.

— Речь идет об обстоятельствах помилования атаманом Дутовым студента Николая Логинова,— подчеркнуто равнодушно протянул Леонид.

Лариса Лукьяновна густо вспыхнула и тихо, почти шепотом, спросила:

— Николая Логинова?.. А разве он жив?!

— Жив и здоров,— ответил Леонид.— А вы его помните?

— Знала я Николая... Петровича... Земляки ведь... — глухо ответила она.

— Так вот нас сейчас интересует: по каким мотивам Логинов был помилован атаманом Дутовым и чем было вызвано ходатайство о помиловании? Установлено, что инициатором его был Лука Митрофанович, но он, ссылаясь на плохую память, не хочет нам объяснить. Между тем этот вопрос имеет решающее значение для судьбы Николая Логинова.

— Как, почему?!. — удивилась она.

— Потому что против Логинова выдвинуто тяжкое обвинение: он подозревается в предательстве, в том, что он был провокатором.

— Это неправда! — воскликнула Лариса.— Вы слышите — неправда! Ведь он... он был настоящий коммунист... Я могу дать голову на отсечение!..

Стоявший в углу Лука Митрофанович молчал. Леонид жадно слушал, понимая, что наступает наконец разгадка этого запутанного дела. Поэтому он не задавал Ларисе ни одного вопроса, желая дать ей выговориться до конца.

— Отец, вы почему молчите?! — обратилась она к старику. — Ведь вы-то все знаете и все помните!.. Где же ваша совесть? — Слезы брызнули из ее глаз.

Лука Митрофанович подбежал к столу и хрипло произнес:

— Доченька, я все скажу, только не плачь! Слушайте, следовательно, я все теперь скажу, вы слышите, все! Да, я приказал написать ходатайство о помиловании. Писал его адвокат Балахонов... По моему приказу писал... И все, что сказал вам Иван Приходько, — правда... Так оно все и было.

— А мотивы ходатайства? Это тоже правда? — строго спросил Леонид.

— Нет, это все Балахонов выдумал... так, для пушей убедительности — как он сказал... А мне было все равно. Я вот ей перед иконой поклялся, что спасу Логинова... хоть и ненавидел его. Потом я сам поехал к атаману Дутову как городской голова... и атаман помиловал Логинова... За пять тысяч золотом...

— Значит, указанные в ходатайстве мотивы — ложь?

— Да. Ложь во спасение, как сказано в писании...

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ...

А через месяц, когда закончились выборы Верховного Совета, депутатом которого стал и Николай Логинов, он взял отпуск на несколько дней и вылетел в Нарым, чтобы повидаться с Ларисой.

Логинов уже знал обо всем, что выяснило следствие по его делу, и о том, что своим помилованием он обязан прежде всего Ларисе. Он уже ознакомился с постановлением следователя о прекращении этого дела, с постановлением, в котором очень точно и ясно была изложена подлинная история этого помилования.

Жена, которой он сам рассказал обо всем, что было, и которая тяжело переживала ход следствия по его делу, одобрила его поездку в Нарым.

— Да, я понимаю тебя, Николай, — сказала она, когда он взволнованно заговорил о своем желании встретиться с Ларисой, — ты должен так поступить. Так или иначе Лариса спасла тебя, хотя тем самым и чуть не погубила... Но этого она предвидеть не могла...

Когда следователь Каргин в последний раз вызвал Логинова и объявил ему постановление о прекращении дела, Николай Петрович, измученный волнениями всех этих дней, сначала, к удивлению следователя, воспринял это сообщение почти равнодушно: ему показалось в первый момент, что дело прекращается за давностью и недостаточностью доказательств.

Но когда он стал читать это подробное постановление, в котором последовательно излагались обстоятельства дела, Николай Петрович встrepенулся, руки его задрожали. Леонид, молча сидевший за своим столом, даже испугался, заметив сильное волнение Логинова, который теперь был ему глубоко симпатичен.

Дважды прочтя постановление, Логинов, как бы забыв о том, где и почему он находится, долго молчал, опустив голову. Молчал и Леонид, хорошо понимая душевное состояние этого человека. Каждый размышлял о своем.

Логинов был поражен тем, что теперь узнал. Наконец-то он понял все, что столько лет волновало его, над чем он столько думал, от чего немало перестрадал. Записка Ларисы, переданная ему тогда в тюрьме, оскорбила его. Значит, она и не любила, думал он тогда, согласилась с отцом, что «он ей не пара», предала их любовь... И главное, она даже

не сочла нужным честно объяснить все, написать, что боится связать свою судьбу с коммунистом, боится порвать с привычной средой, с отцом, который — она не раз об этом говорила — и слышать не хочет об их любви.

В тот вечер в тюрьме, и потом, когда его этапировали, он метался от записки Ларисы к своему внезапному помилованию и к страшной его мотивировке: «показал всем своим поведением»... Как это случилось, чем это объяснить, как разгадать тайну этого страшного помилования, которое сделало его в глазах товарищей и всех, кто присутствовал тогда на базарной площади, предателем?!

Ему тогда и в голову не могло прийти, что эти две беды, свалившиеся на него в один день, как-то связаны между собой! Почему, почему на протяжении сорока лет у него не хватило ни чутья, ни разума, ни прощительности, ни веры, наконец, веры в свою любимую, чтобы связать помилование с ее запиской, догадаться, что это она спасла его ценой самоотречения?

И чего стоила его любовь, если он с такой легкостью поверил, что Лариса опасна так легко и просто от него отказаться? Тогда он считал себя оскорбленным, а теперь ясно, что это он оскорбил ее, так подло истолковав ее решение, ее подвиг, да, да, именно подвиг!..

Так думал Николай Петрович обо всем, что случилось с ним...

А Леонид Каргин в это время размышлял о другом.

О том, что в начале следствия он был почти убежден в виновности Логинова и видел свою задачу лишь в том, чтобы доказать эту виновность.

О том, что если обвиняемый, вопреки всем уликам и доказательствам, настаивает на своей невиновности, следователь не вправе досадиливо отмахиваться от его утверждений, как бы ни были зловещи и основательны улики. Ведь и в деле Логинова улики были серьезны, а вот, оказывается, он ни в чем неповинен... Да, как будто все были правы: и Колотов, так искренне и убежденно обвинявший Логинова, и секретарь ЦК, так строго с ним говоривший, и зареченские старожилы, уверенные в том, что Логинов — предатель. И ведь все они хорошие, честные люди, которые действовали в этих обстоятельствах так, как должны были действовать. А правым оказался именно тот человек, которого они обвиняли!..

О том, что теперь, когда все выяснилось, дело это кажется простым. А если бы Потапов умер, а если бы не приехала к нему тогда Лариса, — кто знает, как могла бы повернуться судьба Логинова и чем кончилась? Какой же урок он сам как следователь должен извлечь для себя из этого дела? И разве только он должен извлечь этот урок? И разве дело Логинова — единственное дело, из которого надо извлекать уроки?..

Есть такое страшное слово — судебная ошибка. Сколько об этом написано ученых трудов, исследований, сколько приведено примеров!.. Почему же все-таки происходят эти самые судебные ошибки и теперь, когда честь и свобода человека дороже всего? Конечно, и следователям, и прокурорам, и судьям приходится иногда сталкиваться с самыми запутанными делами, с роковым и случайным стечением обстоятельств, с такими жизненными головоломками, в которых трудно разобраться. Все это так. Но как бы ни было запутано дело, как бы ни казалась доказанной вина обвиняемого, нельзя ни на минуту забывать о главном: он — Человек, к его доводам надо прислушиваться внимательно и без всякой предвзятости, а не просто отбрасывать все, что он говорит в свое оправдание пресловутой формулой «упорное заpiresательство»...

И о том думал Леонид, что осуждение невиновного — это не только несчастье для него, и для его семьи, и для его друзей, но и несчастье для общества, в котором это могло случиться.

И о том, что самые хорошие законы, призванные служить народу, могут обратиться против него, если применяются неправильно.

И о том, какой глубочайший смысл заключен в словах Пушкина, мечтавшего о таком обществе, «где крепко с вольностью святой законов мощных сочетанье», и о таком суде, где «всем простерт их твердый щит, где, сжатый верными руками граждан над равными и главами, их меч без выбора скользит», где «преступленья свысока сражает праведным размахом» и где, продолжал Пушкин, имея в виду независимость судей, «неподкупна их рука ни алчной скупостью, ни страхом». Да, да, и страхом, потому что следователь, как и судья, не должен страшиться потерять свой пост оттого, что его решение по делу может быть кем-либо истолковано как «гнилой либерализм» или «несоответствие линии».

...И Логинов и Леонид так увлеклись своими размышлениями, что почти забыли друг о друге. Наконец Леонид, прервав эту долгую паузу, сказал:

— Между прочим, Николай Петрович, я совсем забыл: дело в том, что по указанию Леонида Ивановича я написал Колотову обо всем, что выяснилось...

— Очень хорошо! — воскликнул Логинов. — Уверен, что он обрадовался...

— Да, вы не ошиблись.

И Леонид вынул из стола и протянул Логинову письмо. Колотов в нем писал:

«Дорогой Николай!

Вот еще раз подтвердилась старая, но вечно живая истина: доверие выше подозрения!.. Не стану оправдываться — думаю, что и ты на моем месте поступил бы при аналогичных обстоятельствах так же, как поступил я. Поверь, что когда я получил письмо от следователя (кстати, очень способного и честного парня), то обрадовался до такой степени, что сначала даже не думал о своей роли в этом удивительном деле... Теперь я думаю об этом много, думаю не переставая... Почему мы так легко поддаемся чувству подозрения, почему наша вера в человека оказывается иногда такой хрупкой? Я не хочу все сваливать на культ личности — это легче всего, но все-таки, если говорить о ликвидации его последствий, то многим из нас еще надо «выдавливаться из себя по капле» (помнишь, так писал Чехов) все то, что проникало в нас в годы культа, проникало, как душевная сырость. Да, да, и эта подозрительность, и автоматизм мышления, и подлое стремление к перестраховке, и равнодушие к беде своего товарища, и то, что мы с такой легкостью готовы судить других и амнистировать себя. Твое «дело» явилось для меня хорошим уроком, и это — единственное, чем я ему обязан. Да, мы оба уже старые люди, но пока человек еще дышит, видит и думает, ему никогда не поздно стать чуть лучше и добрее, чем он был вчера.

Очень бы хотелось, Николай, повидаться, посидеть как следует, вспомнить незабвенную нашу молодость и те удивительные огненные годы, до края полные верой, романтикой, подвигами, когда мы только начинали закладывать фундамент того великого здания, которым любуемся теперь и которое продолжает расти на наших глазах.

Крепко, по-братски обнимаю тебя, дорогой!»

От аэродрома Николаю Петровичу пришлось ехать несколько часов на поезде, и только к вечеру он приехал в городок, где теперь учительствовала Лариса.

Зимние сумерки уже заполнили заснеженные и пустынные в этот час улицы.

Не без труда разыскав милицию, Логинов спросил дежурного, как ему разыскать Ларису Лукьяновну Потапову.

— Есть такая, — сразу ответил дежурный. — Учительницей работает в школе. Пройдете по улице Первого мая, там двухэтажный каменный дом — это школа, а во дворе, во флигеле, живет Лариса Лукьяновна.

Вот и улица Первого мая. Николай Петрович прошел через старые, почему-то распахнутые ворота во двор и сразу увидел маленький деревянный флигель, стоявший в углу, со всех сторон обложенный, словно ватой, сугробами.

Одно из окон было освещено.

Николай Петрович подошел к окну, заглянул внутрь комнаты. Изморозь на стекле мешала ему все рассмотреть, но он смутно разглядел женщину, сидевшую в небольшой комнатке за столом. Он не то чтобы узнал ее, а скорее почувствовал, что это она, Лариса, и постучал.

Женщина в комнате поднялась, подошла, открыла форточку и — Николай Петрович сразу узнал этот голос! — спросила:

— Кто там?

— Это я, Лариса... Лукьяновна... — произнес Николай Петрович. — Я... Логинов.

Женщина тут же захлопнула форточку и через несколько секунд выбежала из флигеля, едва успев набросить на голову платок; она растерянно остановилась на крыльце.

— Вот и встретились, — с трудом произнес он, подойдя к крыльцу, — через столько лет!.. — И он замолчал, не зная, что говорить дальше.

Так и стояли они молча, смотрели друг на друга, думая об одном и том же, одним и тем же обрадованные и взволнованные, такие близкие и в то же время уже такие далекие друг другу...

— Да вы же простудитесь, — сказал наконец Николай Петрович, сообразив, что она стоит на морозе в одном платье.

— Да, да! — воскликнула она. — Пошли в дом.

Здесь, при свете лампы, Николай Петрович разглядел Ларису. Да, время сделало свое дело. Перед ним стояла женщина с седой головой, чуть обострившимися чертами лица и горькой складкой в уголках рта. Постепенно, будто сквозь туман, узнавал он знакомые ему черты — этот крутой, чистый лоб, этот смелый разлет густых бровей, эти умные, ясные глаза ее.

Она пригласила его присесть и, чтобы хоть немного прийти в себя, принялась хлопотать с самоваром, достала из буфета стаканы и блюда.

— Вот не гадала, — говорила она между делом, — что снова увижу вас. Я ведь думала, что вы потибли где-нибудь на войне, ведь не было о вас ни слуху ни духу...

— Да-да, — Логинов покачал головой, — и вы как-то загадочно тогда исчезли, и я воевал. Потом наводил справки, писал в Зареченск и получил ответ, что вас уже там нет. А кроме того, помните, какие были это годы!.. — Логинов снова замолк.

Тогда она вдруг подошла к нему, улыбнулась и со смелостью и прямоотой, которые были ей так присущи и которые он так любил в ней, неожиданно просто и тепло произнесла:

— Ну здравствуй, мой дорогой! Что это мы с тобой, старые дурни, так начали: «Николай Петрович», «Лариса Лукьяновна». Просто смешно! И для прошлого оскорбительно...

И поцеловала его в лоб. Он вскочил, схватил ее руку, плечи его дрогнули.

...Он прожил в этом городке два дня. Оба понимали, что жизнь уже прожита, по-новому ее не построишь и прошлого не вернешь. Теперь их согревало только чувство большой человеческой дружбы и еще воспоминания об ушедшей молодости.

Николай Петрович узнал, что Лариса, уехав вслед за отцом из Зареченска, вышла через несколько лет замуж за директора школы. Потом ее муж ушел на фронт и погиб. Детей у них не было. Она продолжала учительствовать и очень полюбила свою работу. А может быть, инстинкт материнства, свойственный каждой женщине, привязал ее к школе.

...Через два дня Николай Петрович уезжал. На маленькой станции, перед приходом поезда, они долго бродили по заснеженному и пустынному перрону. Стоял тихий зимний вечер, чуть слышно пели о чем-то грустном телеграфные провода, поскрипывал снег и в низком небе медленно плыла луна, окутывая голубовато-сиреневой дымкой железнодорожные пути и лес, стоящий за ними.

— Помнишь, как мы шли с тобой на рождественский бал в гимназию,— сказала она улыбаясь.— Я была тогда в последнем классе, и было это сорок с лишком лет назад. А ведь кажется, будто это было совсем недавно... Помнишь?

— В мельчайших деталях!.. — воскликнул Николай Петрович.— Ты была в беличьей шубке и туфельках, на улице было очень снежно, и я еще предлагал вернуться за ботами. А ты говорила, что возвращение всегда не к добру...

— Да, да, помню!.. А как начальница гимназии удивилась, увидев на моем фартуке молоточки вместо офицерских звездочек, которые прикалывали наши гимназистки. «Потапова, у вас все не как у людей... Какие-то молоточки, а не звездочки...» И покосилась на тебя, потому что в петлицах твоей студенческой тужурки были точно такие же молоточки...

Николай Петрович засмеялся. Он отлично помнил этот разговор и ту радость, которую доставила тогда ему Лариса, прицепив к своему бальному фартуку эти самые молоточки. В те годы в Зареченске был открыт офицерский госпиталь. Выздоровливающие прапорщики и подпоручики ухаживали за гимназистками, к великой беде реалистов и семинаристов, гимназистки отдавали предпочтение офицерам. И именно тогда появился обычай — прикалывать к фартуку именно то количество звездочек, которое было на погонах избранника. Это считалось своего рода публичным объяснением в любви.

Начальница зареченской гимназии, дама строгая, обрушилась было на «звездоносца», но хитрые гимназистки заявили, что носят офицерские звездочки из чувства патриотизма. Это был безошибочный ход. Начальница отступила.

В то рождество Николай Петрович приехал из Москвы, будучи студентом первого курса. Он впервые предстал перед Ларисой в новенькой студенческой тужурке с бархатными петлицами, украшенными, как полагалось по форме МВТУ, молоточками. Лариса нашла, что форма очень ему к лицу.

И вот, придя с нею на бал, в вестибюле гимназии, сняв со своей дамы шубку, он сразу увидел молоточки, приколотые к ее фартуку. Логинов смутился тогда гораздо больше, чем Лариса.

— Ну, что же ты стоишь? — лукаво спросила она.— Здесь холодно... Веди свою даму наверх, медведь!..

И она взяла его под руку.

Он молча повел ее по лестнице, ярко освещенной шипящими газовыми лампами «молния» и обставленной свежими, только срубленными елками. Сразу обдало смешанным, крепким запахов духов, пудры, хвои и бензина, которым гимназистки чистили свои бальные лайковые перчатки. От этих запахов, от близости Ларисы и от доносившихся сверху, из актового зала, звуков настраиваемых инструментов сразу возникло праздничное настроение, ощущение какой-то удивительной легкости и радости.

И тогда-то стоявшая у входа в актoвый зал начальница гимназии заметила молоточки на фартушке Ларисы и сказала те самые слова о звездочках... Лариса сделала положенный реверанс и подчеркнуто смиренно произнесла:

— Я прошу меня извинить, Мария Сергеевна. Но ведь молоточки — эмблема техники, и промышленности, и железных дорог, наконец... И это так важно для победы, об этом и в газетах пишут... И в журналах. В «Синем журнале», например.

Начальница милостиво улыбнулась — она была подписчицей «Синего журнала» — и, кивнув головой, величественно повернулась к подлетевшему к ней распорядителю танцев студенту-технологу Всеволоду Годвинскому, белокурому красавцу с пышным бантом на груди.

Годвинский привычно щелкнул каблуками, приглашая тем самым начальницу гимназии открыть бал. Она, улыбаясь, что-то сказала ему, он махнул накрахмаленным платком оркестру, взял за талию начальницу, оркестр грянул вальс «На сопках Маньчжурии», и они понеслись.

По давней традиции эта первая пара, открывающая бал, несколько минут вальсировала одна. Все за нею следили. Высокая, затянута в корсет начальница гимназии танцевала легко. Партнер тоже знал свое дело. Раздались дружные аплодисменты, и сразу появились новые пары.

Дирижер военного оркестра со странной фамилией Шопник, полнеющий брюнет с холеными усами, большой сердцеед, дирижировал, стоя вполоборота к залу, извиваясь и пританцовывая в такт музыке и закатывая глаза, что должно было изображать подлинное вдохновение. Николай и Лариса кружились среди других пар.

Гремели один за другим вальсы и падекатры, но впереди было главное — мазурка. Это считалось гвоздем бала, и танцевал мазурку, опять-таки в паре с начальницей гимназии, не кто иной, как Стефан Зигмундович Федецкий. Слава его как мазуриста была общепризнана.

И когда Федецкий, худой и высокий, похожий на Дон Кихота, мгновенно и ловко припадал на колено, кружа вокруг себя свою даму, — раздавался такой гром аплодисментов, что оркестра уже не было слышно, и уездный исправник Савицкий, мужчина с рыжими усами, неизменно говорил:

— Силен, ничего не скажешь, силен! Как говорят: аще Польшка не сгинела! А ведь под надзором полиции, старый черт, состоит, и чую, что и теперь не все у него чисто, чую... Ох, он, видно, не только мазурку отплясывать ловок — никак его не подцепишь на крючок!..

...Так, оживленно перебивая друг друга, они вспоминали все новые и, казалось, давно забытые подробности далекой юности.

— Я благодарен судьбе за все, что было! — сказал Николай Петрович. — И за нашу юность, и за нашу любовь, и за всю свою нелегкую, а все-таки счастливую жизнь...

Потом, когда прибыл наконец, тяжело дыша, весь заиндеветший темный поезд и тишину зимнего вечера прорезал свисток, он тихо спросил:

— Знаешь, что самое печальное в старости, дорогая?

— То, что и она проходит, — произнесла она в ответ.

Поезд тронулся, он вскочил на подножку вагона, она пошла за ним, и донесли ее, заглушаемые все усиливающимся стуком колес, слова:

— Желаю тебе счастья, Коленка! Спасибо, что навестил!..

Начался поворот, ее словно относило в сторону, и он крикнул во всю силу своего голоса:

— Это тебе спасибо, Ларион!.. За жизнь, за верность, за любовь!..

А поезд уходил все дальше и дальше, и маленькая станция, обволакиваемая паром и снежной мглой, косо уплывала назад, уплывала не удержи́мо, как жизнь...

Пуля в кольце

Когда пристают:
— Расскажи о кольце,
Что с пулей заместо опала! —
Я как-то невольно меняюсь в лице
И вижу таежные палы.

И вижу я тучи
мрачнее свинца
И снежную ночь без огня.
И я вспоминаю тогда молодца,
Вогнавшего пулю в меня.

Стрелявший давно за метелью пропал,
В глазницах трава не гнездится,
А я выхожу
на крутой перевал
И песней встречаю зарницы.

Мне ветер весны обдувает лицо
И легкие дышат сосной.
А пуля запаяна мною в кольцо
На память о жизни лесной.

Тоска по родникам

Мой друг!
У наших колыбелей
Лесные травы не цвели
И соловьи для нас не пели,
Над нами вьюги свирепели,
Ревели бури всей земли.

Нам было трудно, было плохо,
Мы жили, как живут в лесу,
Но если я скажу:
— Эпоха...
Что этим я произнесу?
А то скажу:
— В эпохе этой

Свои места имели мы,
И мы несли с собою лето
В морозы северной зимы.

Там нынче черпают сокровища,
Там наши родники кипят.
Мы потрудились...
Так чего еще,
Каких нам надобно наград?

Я не страшусь, что нас забудут
И выбросят, как старый хлам.
Пока живут и строят люди —
Живет тоска
по родникам!

О Павле Васильеве

Как и прежде
летели орлы
С Павлодара на Каркаралы...

Отражались их тени на дюнах,
Перехлестывались в тростниках,
И ломались в такырах безлунных,
И чернели на волчьих следах.
А глаза у летящих — круглы
И желты они, словно песок.
Так опять пролетели орлы
По прямой
через степь
на восток.

И тогда мне припомнился ты
На тропинке, что в пропасть вела,
Ты, хотевший достичь высоты
Ослепляющим взмахом крыла.

Мы рассветы с тобою встречали
Над зеленой иртышской волной
И вздыхали о розовых чайках,
По орлам над степной стороной.

Облаков голубое литье
Озаряло нас светлыми зернами.
Все не верю,
что пулей разорвано
Соловьиное горло твое.

Не сумел произвол разбазарить
Азиатскую силу певца...
О тебе по степям Павлодара
Вспоминают цветы чебреца.

Кареглазый мой друг, кучерявый,
Не умевший собой дорожить, —
Тяжело подниматься до славы,
Хорошо ее не пережить!

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

• • •

Хотел бы я долгие годы
На родине милой прожить,
Любить ее светлые воды
И темные воды любить.

И степи, и всходы посева,
И лес, и наплывы в крови
Ее соловьиного гнева,
Ее журавлиной любви.

Но, видно, во мне и железо
Сидит, как осколок в коре,
Коль, детище нежного леса,
Я лгну и к Магнитной горе.

Хочу я любовью неустной
Служить им до крайнего дня,
Как звездам, как девочке русой,
Которая возле меня.

• • •

Не уважаю неревнивых.
Им, равнодушным, все равно,
Когда, какое, чье зерно
Взошло на их, не чьих-то, нивах.
Не уважаю неревнивых.

Они без прошлого, без горя,
Они без поля и тоски.
Они живут не по-людски,
С любимой женщиной не споря.
Не уважаю по-мужски.

Я сознаю свою беду:
Не уважаю неревнивых,
Всегда сливущих за счастливых.
Люблю пристрастных и спесивых
На горе женскому стыду.

Я завещаю сыновьям
Лишь ту безжалостную ревность,
Чья роковая повседневность
Рождает будущее нам.

• • •

Вот и нет меня на свете.
В мире тишина.
Все в свои поймала сети
Белая луна.

Сад поймала, лес поймала,
Поле и жнивье.
Озарила, осияла
Кладбище мое.

А на самом-то на деле
Все в заре, в цвету.
Я себя сквозь все недели
Гордого веду.

Не уйду, ступив со света,
Не оставлю дня.
Но пока зависеть это
Будет от меня.

•

НА ВЕЧНОМ ПОСТУ

У входа в Мавзолей Ленина застыл почетный караул. Два солдата с карабинами Внуки героев Октября, сыны победителей гитлеризма. Здесь главный пост страны — пост № 1.

Цветут ли липы на Красной площади, или снежным покрывалом укрыты ели у Кремлевской стены — в любую погоду мимо часовых течет бесконечный поток советских людей. В него вливаются ручейки, возникшие в рабочих предместьях Парижа, в песках Сахары, на островах Карибского моря, в болотистых зарослях тропических джунглей, среди скал Сьерры-Маэстры. Его путь пролегал по всем континентам, сквозь все города и селения, по всем земным дорогам. Красная площадь — финиш этого пути, расстояния на котором нужно измерять не километрами, а ударами человеческого сердца.

На виду всей Земли стоят солдаты. На всей планете нет вахты почетней, чем эта. От имени народов солдаты воздают воинские почести вождю.

Каждая смена стоит по шестьдесят минут. Смена сменяет смену вот уже сорок один год. И так будет вечно...

Первые часовые встали на пост № 1 27 января 1924 года, когда в Мавзолей внесли гроб с навеки уснувшим Ильичем.

Кто же были первые часовые этого вечного караула?

Казалось, след легендарной пары постовых затерялся в короткой, но бурной истории Советского государства.

Забятая фотография

Впервые я увидел эту фотографию в Институте марксизма-ленинизма.

У входа в законченный на рассвете деревянный Мавзолей стоят часовые с винтовками. Из дверей медленно выходят подавленные горем соратники Ленина. Несколько минут назад они установили в Траурном зале красный гроб.

Часовых несколько. С левой стороны, например, хорошо различимы трое. Судя по форме, один — кремлевский курсант-кавалерист, а двое — чекисты.

Я показал фото бывшим курсантам Кремлевской школы имени ВЦИК. Они сказали, что часовой у входа похож на курсанта Григория Коблова.

...Дверь мне открыл пожилой мужчина.

Он в штатском, но выправка выдает в нем кадрового военного. Действительно, на вешалке — мундир с генеральскими погонами и созвездием орденов и медалей.

— Извините за походную обстановку, — говорит мужчина, показывая на раскрытый чемодан. — Только что из Мозыря.

Это — гвардии генерал-майор Григорий Петрович Коблов. Да, именно он был одним из первых часовых у Мавзолея Ленина.

— Двадцать шесть курсантов кавалерийского дивизиона, в том числе и меня, назначили в полуроту, которая должна была сопровождать тело Ленина в последний путь — от Дома Союзов до Мавзолея, — начинает свой рассказ ветеран. — Наш почетный караул медленно шел двумя шеренгами по обе стороны от гроба.

За четыре дня до этого, утром двадцать второго января, я стоял на посту у дипломатической ложи в Большом театре, где проходил XI Всероссийский съезд Советов. Калинин вдруг объявил, что умер Ленин. В глазах потемнело, я с трудом удержался на ногах. В зале — плач и рыдания.

Не верилось! Не раз я видел Владимира Ильича. Он приходил в казармы курсантов, спрашивал о нашей жизни, интересовался, что пишут родные. Охраняя съезды и конгрессы, я часто слышал его речи.

Когда больной Ильич переехал в Горки, сиротливо стало на посту № 27 у его крем-

левской квартиры. Не открывалась больше дверь. Не звучало по утрам такое теплое и сердечное: «Здравствуйте, товарищ курсант!»

С замиранием сердца следили мы за сводками о здоровье вождя. При очередном выпуске — в 1923 году — Ленина избрали Почетным красным командиром нашей военной школы. И вот — Ильича нет...

Почетный караул предупредили на инструктаже: крепитесь, мороз доходит до тридцати градусов, стоять на улице придется долго — с утра до позднего вечера. Нам выдали теплое белье, дополнительный паек и жир, чтобы смазать лицо.

Шесть часов шли рабочие Москвы через Красную площадь мимо деревянного помоста, на котором стоял красный гроб, покрытый алым знаменем. Мы, часовые, смеялись у гроба каждые тридцать минут. Спустившись с помоста, а возвращались в шеренги. Неумолимо приближались последние минуты прощания.

В 16 часов под первые дальние гудки разводящий Янош Мейсарош поставил на пост меня и Арсентия Кашкина. Мы стояли в ногах Ильича, два чекиста — в головах. Гроб подняли и медленно понесли. Я шел слева, Кашкин — справа. Гул гудков рос, становился все могучее. Затем глухо ударили орудия...

Дойдя до Мавзолея, Григорий Коблов и Арсентий Кашкин приставили ногу, повернулись лицом друг к другу и замерли с винтовками у входа. Красная площадь запела: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

В эти минуты все радиостанции и телеграфные аппараты Советского Союза передали на весь мир бессмертные слова: «Ленин умер — ленинизм живет».

Это было 27 января 1924 года.

Несмотря на мороз, народ, потрясенный горем, запрудивший Красную площадь, не расходился еще шесть-семь часов. Все хотели поближе пройти к усыпальнице вождя. Напор масс был таким, что уже через несколько минут в дверях Мавзолея пришлось установить дополнительный караул из чекистов. Это и запечатлел фотоаппарат.

Мороз крепчал. Но часовые не чувствовали ни усталости, ни холода. Они были безмерно потрясены. Когда площадь стала наконец постепенно пустеть, ушли постовые-чекисты. Лишь поздним вечером, около 23 часов, курсантов-кавалеристов сменили их товарищи из другого батальона.

...В сентябре 1924 года первые часовые Григорий Коблов и Арсентий Кашкин и первый разводящий Янош Мейсарош окончили школу имени ВЦИК. Перед тем как разъехаться в разные полки, молодые красные офицеры — краскомы — пришли в Мавзолей, чтобы еще раз увидеть своего Почетного командира.

Был теплый вечер. Шаг за шагом двигался человеческий поток по Красной площади. Краскомы, рабочие, пахари. В буденовках, ушанках, черкесках. И среди них три друга — Янош, Григорий и Арсентий.

...Далек Будапешт от Александрова-Гая. В разгар первой мировой войны из этих городов мчались к фронту два воинских эшелона. В одном ехал австро-венгерский унтер-офицер Янош Мейсарош, в другом — русский солдат Григорий Коблов.

Ждал повестку и семнадцатилетний Арсентий Кашкин. Венгерских и русских крестьян посылали убивать друг друга. Одних — «за веру, императора и отечество». Других — «за веру, царя и отечество». Но грянул Октябрь, провозгласивший: «Мир — народам!» И они стали боевыми друзьями.

Янош и Арсентий рубили махновцев в украинских степях, Григорий — белоказак в астраханских. Отважных кавалеристов послали в знаменитую Кремлевскую школу командиров. Они учились в одном взводе, а на каникулы Григорий и Арсентий приглашали Яноша в свои родные места. Мадьяр не раз говорил друзьям, что придет время, когда он позовет их отдыхать в социалистический Будапешт.

...Все ближе стена Мавзолея. Обнажив головы, они вошли в вестибюль. В торжественной тишине спустились вглубь. У стеклянного ложа краскомы замедлили шаги. Тихо шевельнулись губы:

— Спи, Ильич! Ты сделал все, что мог. Остальное — за нами,

Пятнадцать салютов в честь гвардейцев Коблова

...В ночную тишину села ворвался цокот копыт. Начальник фашистского гарнизона подбежал к окну и отдернул занавеску. За дрожащим стеклом во вспышках выстрелов неслась лавина конников с искрометными клинками над головами. «Русские!» Громовое «ура» слилось с нарастающим грохотом артиллерийских разрывов.

Связь не работала. Потеряв всякую надежду узнать, что произошло на мощной оборонительной линии, прикрывавшей Мозырь с востока, фашист бросил телефонную трубку. И тут только он заметил, что окончательно сбило его с толку: советские кавалеристы неслись с запада, из немецкого тыла.

Так январской ночью 1944 года в село Прудки, где обосновался штаб тыла 3-ей гитлеровской армии, дерзко ворвалась 14-я гвардейская дивизия генерал-майора Григория Коблова.

Разбуженные выстрелами, гитлеровцы в суматохе метались по селу. Офицеры пытались организовать сопротивление, но их подразделения были быстро смяты. Через час в Прудках снова стало тихо. 2500 пленных, 500 грузовиков, 2000 лошадей — таковы были трофеи гвардейцев. Но самым главным успехом было уничтожение штаба и захват 13 складов, где хранились трехмесячные запасы для стотысячной армии.

Не ослабляя наступательного порыва, дивизия устремилась на Мозырь. Справа и следом за ней шли еще две наши кавалерийские дивизии. Мощная оборонительная линия, возведенная немцами на восточных подступах к городу, стремительно теряла свое значение.

Гитлеровцы до сих пор с дрожью вспоминают о тех днях. Генерал фон Бутлар пишет в мемуарах: «В этот район проникли кавалерийские силы русских. Действуя здесь в отрыве от своих войск, они создавали постоянную угрозу коммуникациям армии и железной дороге Мозырь — Минск...»

...Мозырь! Старинный белорусский город, центр нашего довоенного укрепленного района, фашисты основательно усилили и модернизировали. Попытки советских частей взять эту крепость ударом в лоб не удались.

Поэтому командующий 1-м Белорусским фронтом приказал захватить Мозырь с тыла. И 7-й гвардейский кавалерийский корпус, в голове которого двигалась дивизия генерала Коблова, глухой ночью прорвал фронт на стыке двух немецких группировок и ушел в рейд по вражеским тылам. Все произошло столь молниеносно, что гитлеровцы решили, будто заброшена небольшая партизанская группа, и не встревожились.

Пять суток двигались кавалеристы через болота. Без остановки. Стояли морозы, но трясина не замерзла. Валили деревья и вели по ним лошадей, тащили пушки. Ночью во мгле, днем в густом тумане. И так двести двадцать километров под снегом и дождем. Кавалеристы не спали и почти не ели... Люди и кони изнемогали от усталости, но гвардия шла вперед. Генерал Коблов был мастером стремительных, неожиданных ударов. Он помнил суворовское правило: «Удивить — победить». Захват Прудков еще раз подтвердил эту истину.

...И вот по эскадронам пронесся приказ: «На Мозырь!»

Гвардейцы с хода ворвались в город. Одновременно пошли в атаку наши фронтовые части. Немецкая оборона дрогнула...

Радио Москвы торжественно сообщило об очередной победе. Взятие Мозыря — главного центра сильно укрепленного оборонительного района противника — позволило войскам 1-го Белорусского фронта отбросить врага на 150 километров и разгромить стотысячную фашистскую армию.

Радостная весть прозвучала из репродукторов над Красной площадью, над Мавзолеем, разнеслась по стране, долетела до зауральского города, которому Родина доверила беречь тело Ильича на время войны. А вечером столица салютовала гвардейцам двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. Дивизия генерала Коблова была удостоена почетного наименования — Мозырьская.

Ее полки двигались вновь на запад.

...Прилетая изредка в Москву, командир дивизии Григорий Коблов всегда приходил к Мавзолею Ленина. Генерал был семь раз ранен, но снова возвращался в строй. Москва пятнадцать раз салютовала его лихим кавалеристам.

Побывав у Мавзолея, комдив улетал обратно, на фронт, чувствуя, что стал как бы тверже и сильнее.

И еще об одном он никогда не забывал, попадая в Москву: снимал телефонную трубку и набирал номер, который знал наизусть с довоенных времен.

— Есть ли вести от Яноша? — с тревогой спрашивал женщину на другом конце провода.

— По-прежнему никаких, — грустно отвечал знакомый голос.

На рассвете 25 апреля 1945 года передовые части 14-й Гвардейской Мозырьской кавалерийской дивизии вышли на восточный берег Эльбы, завершив оперативное окружение берлинской группировки врага.

Разводящий Янош Мейсарош

Он дождался, когда стемнело, осторожно выбрался на бруствер и пополз на запад. Наши пехотинцы открыли по беглецу огонь. С той стороны ответили. Человек замер. А когда все утихло, тронулся дальше, вперед, в мрак, к окопам венгерского экспедиционного корпуса.

Русский перебежчик сполз в окоп. Тяжело дыша, проговорил:

— Я венгр... Бежал от русских...

В штабе он рассказал:



Краском Арсентий Кашкин. На нижнем снимке: он же спустя многие годы на том же посту...

его послали, и тогда родина простит его. Мейсарош не отказывался от угощений, но в ответ повторял одно и то же. Офицеры стучали кулаками по столу, грозили трибуналом, но, похудевший и осунувшийся, он снова и снова говорил, что только теперь осознал всю глубину своей вины и готов принять любую кару.

Тем временем служба безопасности в Будапеште сообщила, что в ее картотеке числится Янош Мейсарош, бывший унтер-офицер австро-венгерской армии, попавший в русский плен летом 1916 года. В России служил в 1-й Конной Армии. В 1938 году уволен из Красной Армии. Престарелая мать, которой показали фотографию перебежчика, узнала своего сына, которого вся родня считала давно погибшим.

Через несколько дней Мейсарошу выдали форму офицера хортистской армии. Специалист по России, отлично говорящий по-русски, он мог пригодиться. Командующему венгерским корпусом давно нужен был хороший переводчик. Агенты разведки, на всякий случай следившие за Мейсарошем, отмечали его большое служебное рвение.

А в это время в Москве Зинаида Архиповна Мейсарсш ждала писем от мужа. Единственная открытка пришла в декабре 1941 года, два года назад. «Некоторое время я могу не давать о себе знать,— писал он,— но ты не волнуйся». Но она волновалась...

Зимним вечером 1943 года в квартиру позвонили. Незнакомый мужчина спросил Зинаиду Архиповну Мейсарош. Они прошли в комнату, и там незнакомец предъявил удостоверение сотрудника органов государственной безопасности. «Янош!» — забилося сердце.

Гость говорил мало. Он вынул из кармана листок бумаги. Зинаида Архиповна узнала бы этот почерк среди тысячи других. Она впилась глазами в строчки... «Я жив и здоров. Обо мне не беспокойся. Надеюсь, ты знаешь, где я нахожусь...» Вот и все. Некоторые места были тщательно зачеркнуты военной цензурой. Письмо оказалось всего четырехмесячной давности! Значит, он жив! Несколько строк, но они как солнце озарили за-

— Меня зовут Янош Мейсарош. В первую мировую войну попал в русский плен. Остался в Советской России. Лишь потом понял свою ошибку, да было поздно: вырваться оттуда невозможно. У меня в Венгрии мать, сестра... Я — мадьяр, моя родина там. Давно хотел бежать, но не было подходящего случая.— Он помолчал и продолжал: — В молодости я натворил много ошибок, но теперь надеюсь, что смогу послужить родине. Я двадцать пять лет прожил в России. Окончил военную школу, а затем один из факультетов ветеринарного института. В совершенстве знаю русский язык...

— Большевицкий шпион, ты не можешь называться венгром! — сказал ему хортистский генерал.

В камере Мейсарош обнаружил, что его шинель изрешечена пулями. Он чудом остался жив...

Допрос следовал за допросом. Офицеры контрразведки угощали его коньяком и сигаретами. Они говорили, что мадьяры — одна семья, что он должен честно рассказать, с каким заданием



темненную московскую квартиру. Немногословный чекист стал Зинаиде Архиповне близок и дорог... Можно ли написать ответ? Пока нет. Прощаясь, гость сердечно пожал ей руку и ушел, так ничего не сказав о Яноше.

...Фронт катился на запад. Почти каждый вечер Москва салютовала доблестным дивизиям и корпусам. Торжественные сообщения не упоминали имя Яноша Мейсароша. Но в победах была лепта и бесстрашного разведчика. Штабист, он был ближе к противнику, чем солдаты на передовой. Их отделяет от врага нейтральная полоса, а он ходил между врагами. Он жал им руки, когда хотелось их душить, улыбался, когда все в нем клокотало от гнева. Он не знал затишья после жаркого боя — он сражался всегда, днем и ночью. Неделями некому было сказать привычное и дорогое слово «товарищ» — от встречи

до встречи с советскими подпольщиками, которым передавал добытые сведения.

Но самым тяжелым испытанием были обязанности переводчика при допросах советских патриотов...

Янош хотел видеть свою Венгрию свободной и счастливой. Тогда, в Мавзолее Ленина, Янош Мейсарош поклялся, что не пожалеет жизни, чтобы Венгрия стала страной рабочих и крестьян.

Он пронес эту клятву через московские казармы Особой кавалерийской бригады, где служил в двадцатые годы, через степи Монголии, где помогал создавать регулярную конницу, через все испытания времени.

И когда грянула Отечественная война, Янош Мейсарош пошел добровольцем в народное ополчение.

...Война шагала уже по Венгрии. Глядя на потерявших былую спесь хортистских офицеров, на мрачнющих гонведов, Янош вспомнил пламенные стихи Шандора Петефи:

Вставай, мадьяр! Зовет отчизна!
Выбирай, пока не поздно:
Примириться с рабской долей
Или быть на вольной воле?

Венгрия срывала «одежды унижения и позора», в которые ее облекли продажные правители. В октябре 1944 года некоторые генералы 1-й венгерской армии, в том числе ее командующий, установили контакт с советскими частями. Вновь сформированный мадьярский Будайский полк ушел в бой бок о бок с Красной Армией.

А в окруженном Будапеште с упорством обреченных продолжали сражаться банды салашистов — членов фашистской организации «Скрещенные стрелы». Каждую ночь над городом гудели тяжелые транспортные самолеты гитлеровцев. Они сбрасывали продукты и боеприпасы своим солдатам, запертым в Буде. В одну из таких ночей Янош Мейсарош, захватив штабные документы, ушел навстречу советским частям.

Навсегда запомнил он день, когда в Будапеште умолкли выстрелы. Над Чепелем трепетали красные



Курсант Григорий Коблов. На снимке слева — генерал-майор Г. Коблов на посту № 1 в почетном карауле...



флаги... Двадцать лет назад на обороте фотографии, где был изображен весь выпуск кремлевских курсантов-кавалеристов 1924 года, друзья написали товарищеские пожелания Яношу. Первую надпись он запомнил: «Из Москвы в Будапешт, но только под знаменем революции». И вот это пожелание сбылось...

Когда весной сорок пятого года Григорий Коблов вновь позвонил Зинаиде Архиповне, он услышал ее радостный голос. «Зина, готовь хороший обед и купи билеты в Большой театр»,— прочитала она ему строки из только что полученного письма Яноша.

Они встретились на московской квартире Мейсарошей. Крепко обнялись генерал и майор — солдаты революции.

...Янош Мейсарош умер в 1956 году в московском госпитале, в день своего рождения.

Он умер в 16 часов. В этот момент под звон курантов Спасской башни у Мавзолея Ленина, там, где впервые поставил часовых Янош Мейсарош, сменился почетный караул. Возле дверей встала новая пара часовых — молодые, сильные, рослые солдаты-комсомольцы. Старая смена уходила с карабинами «на плечо», и долго у Мавзолея слышался ее четкий железный шаг, пока совсем не затих вдали...

А недавно в московскую квартиру Мейсарошей пришли сотрудники будапештского музея. Они познакомились с семейным архивом, снимали копии с бумаг, делали репродукции с фотокарточек. Теперь каждый документ, каждая фотография Яноша Мейсароша стали реликвиями.

Бессрочный пропуск Арсентия Кашкина

Ни Григорий, ни Янош ничего не знали о судьбе Арсентия.

...Летним днем 1934 года в киргизский совхоз «Тон» приехал новый директор — бывший пограничник, с черной повязкой на правом глазу.

Еще в Киргизском обкоме партии его предупредили, что прежние руководители, среди которых скрывался сотрудник колчаковской контрразведки, развалили совхоз. Бесследно исчезали отары. Расхитители привыкли к безнаказанности, считая, что «до бога — высоко, до Москвы — далеко».

Арсентий Кашкин — новый директор — понимал, что здесь, на фронте классовой борьбы, остается верной армейская поговорка: «Один в поле не воин». Он собрал коммунистов и рабочих. «Как будем поднимать совхоз, товарищи?» И они сообща, коллективным умом нащупывали верную дорогу.

Через год совхоз впервые дал свыше миллиона рублей прибыли...

Занятый хозяйственными делами, директор редко рассказывал о своем прошлом. Как и миллионы коммунистов, он жил заботами о сегодняшнем и завтрашнем дне родной страны.

...Окончив Кремлевскую школу с отличием, Арсентий Кашкин имел право выбирать место будущей службы. Он отказался от заманчивых предложений работать в Ленинграде, Киеве и попросил направить его туда, где еще кипели бои, где Красная Армия добывала последние очаги контрреволюции.

Немало басмачей полегло от шашки краскома 77-го кавалерийского полка. Весь 1925 год прошел в схватках с коварными бандами, уходившими от открытых сражений и налетавшими из-за угла. Но прошлое было обречено. Дехкане, веками угнетаемые эмирами и беками, с радостью приветствовали кзыл аскарляр — красных бойцов. Редели шайки. Бои перемещались к границе, и курбаш бухарского эмира Ибрагим-бек переносил базы за кордон...

...Летней ночью 1930 года маневровая группа 47-го погранотряда была поднята по тревоге: застава просила помощи. Через несколько минут заместитель командира группы Арсентий Кашкин с двумя эскадронами мчался к пограничной реке Пяндж. Кони шли переменным аллюром, и в три часа ночи кавалеристы были на месте. К тому времени застава отбила первый натиск басмачей и отогнала их в камыши афганского берега... Ночью бандиты вновь двинулись в нашу сторону, но уже в пятнадцать километрах ниже. Они лежали на дне лодок, чтобы избежать пуль красных... Кавалеристы Арсентия Кашкина решили подпустить врагов поближе и забросать гранатами.

Вот уже видны их силуэты, заметны осторожные взмахи весел, морды плывущих сзади лошадей. Гулко прогремели разрывы лимоннок... Арсентий Кашкин увидел барахтающихся в стремительной реке басмачей с тонущих лодок. С того берега ударили пулеметы. Им ответили наши. Пули цокали о прибрежные валуны. Когда Арсентий Кашкин докладывал командиру маневровой группы о ходе боя, сильная резь заставила машинально схватиться за правый глаз. Отняв руки, Кашкин увидел на ладонях капли крови.

Самолет увез раненого краскома в ташкентский госпиталь. Чтобы спасти зрение, врач удалили раненый глаз.

...Летом 1937 года в кабинет директора совхоза «Тон» прошли работники НКВД. Они показали телеграмму прокурора. Директор, занятый делами, не сразу понял, что случилось. Оторвался от бумаг и спросил:

— За что?

— Сам должен знать, за что...



Янош Мейсарош в 1926 году

Начали обыск. Директор был спокоен: его совесть чиста перед партией, перед страной; ошибка работников НКВД будет исправлена.

Слыша гул голосов под окнами кабинета, Арсентий Кашкин понимал недоумение рабочих. Он вышел к ним на крыльцо и сказал:

— Товарищи! Я еду в районный центр. Скоро вернусь.

Кашкина приговорили к пятнадцати годам заключения за «индивидуальное и групповое экономическое вредительство». Обвинение было тем более нелепо, что подсудимому не смогли сделать ни одного упрека за руководство совхозом.

Стойкий характер скажется всегда, в любых обстоятельствах. Арсентий Кашкин не смирился, он продолжал бороться за свою честь гражданина и коммуниста, требуя пересмотра дела, не шел ни на какие компромиссы с совестью. Это помогло его другу адвокату Александру Рязайкину, тоже бывшему пограничнику, добиться отмены несправедливого приговора.

Летом 1939 года коммунист А. В. Кашкин был назначен директором совхоза «Оргачер». Это были трудные годы. Не раз директор совхоза Арсентий Кашкин выступал против администрирования и шаблона. И доставалось же ему от «вышестоящих» бюрократов! Но он знал:

государство ждет не галочек в сводке, а хлеба и мяса. Работники совхоза старались сеять не раньше и не позже, а в лучший срок.

У каждого человека есть мечта. Была она и у Арсентия: учиться. Но революционная буря кидала его из одного сражения в другое. Казалось, осталось еще немного до вуза. Но... война. Таковы университеты Арсентия Кашкина.

Восемь лет назад Кашкин пришел в Киргизское учебно-педагогическое издательство. Он начал делать для внуков хорошие, красочные учебники — читайте, учитесь, знайте! И кем бы ни работал — заведующим производственным отделом, заместителем директора, — он всегда оставался солдатом партии. Недавно, когда Арсентий Кашкин ушел на пенсию, ему выдали бессрочный пропуск почетного члена коллектива.

В день шестидесятилетия, на торжественном вечере юбиляру вручили поздравления, подарили ручные часы, были речи, цветы, тосты. Но никто не знал, что чувствуют легендарного первого часового вечного караула у Мавзолея.

* * *

...По-разному сложились судьбы ветеранов поста № 1. Но всех их объединяет одно: это были мужественные жизни, в которых нерасторжимо сплелись вместе и величие, и трагические противоречия прожитой нами эпохи. В биографиях первых часовых Мавзолея раскрывается во всей широте великолепный и цельный героический характер советских людей, борцов, коммунистов, интернационалистов.



УСТЕН СТОЛИЦЫ

После более чем двадцатилетнего перерыва я побывал в селе Языково. Село раскинулось в живописной холмистой местности, недалеко от города Яхромы.

Бывает достаточно одного слова, встречи, чтобы все то, что память берегла долгие годы под пеленой повседневных забот, снова стало живым, почти осязаемым.

Взволнованное воображение вернуло меня к осени и зиме сорок первого года, к незабвенным дням Московского сражения.

То были тяжелые недели. Фашистские мотомеханизированные и танковые дивизии, обходя Москву с юга, подошли к городам Кашире и Серпухову. Особенно опасное положение создавалось на правом фланге Западного фронта. Немецкая группа армий «Центр» овладела Истрой, Клином, Солнечногорском. Соединения генерала фон Гоота обошли с севера Истринское водохранилище. Выйдя на Ленинградское и Рогачевское шоссе, они устремились к Москве. В последний числах ноября ворвались на станцию Крюково Ленинградской железной дороги и в большое село Красная Поляна в двадцати километрах от столицы. 27 ноября фашистские войска генералов Хюмсера и фон Бота захватили старинный русский город Яхрому, подошли к Дмитрову. Они стремились форсировать канал Москва—Волга и перерезать Северную железную дорогу, Ярославское шоссе, чтобы закрыть путь нашим подходящим из Сибири резервам и сомкнуть кольцо вокруг Москвы.

В это время в район Дмитрова прибыла из Сибири 71-я Отдельная мэрская стрелковая бригада, сформированная из тихоокеанских моряков. Она сосредоточилась в километрах в пятнадцати южнее Яхромы, в Гришино и деревне Минеево.

В последних числах ноября 1941 года я сопровождал из Москвы в Дмитров группу моряков для Первой ударной армии. Сдав людей в штабе армии, я собирался в обрат-

ный путь. Но оказалось, что Дмитровское шоссе в районе Яхромы уже перехвачено противником. Дороги на восток были забиты подходоившими к фронту войсками и техникой. Я оказался не у дел. В штабе, находившемся в средней школе в центре города, я встретил старого знакомого по Владивостоку — полкового комиссара Евгения Васильевича Боброва. Оказалось, что он — военком 71-й бригады. Когда я рассказал ему о своем положении, он предложил: «Едемте в нашу бригаду офицером связи от Военно-морского флота». Вспомнив, что полковник Звягин, ведавший в Москве формированием морских частей для фронта, посоветовал мне посмотреть при случае, как будут себя вести в бою наши моряки, я согласился.

Противник обстреливал город. Над железнодорожной станцией стоял столб густого дыма с пламенем. Из горящего Дмитрова мы выехали в расположение бригады около полудня.

Бушевавшим весь день бураном занесло все дороги. Наш грузовик то и дело застревал в снегу. Приходилось слезать и выталкивать его из сугробов. По всем признакам мороз был градусов двадцать пять и все крепчал. Свистел и выл пронзительный ветер, продувавший насквозь даже нас, одетых в овчинные полушубки и валенки. Он доносил гул канонады с западного берега канала.

В пути военком ознакомил меня с обстановкой. Он только что возвратился от члена Военного совета и был в курсе последних событий. Положение на фронте Первой армии было критическое. Передовые части противника подошли вплотную к каналу: вчера один его батальон с танками переправился на восточный берег по мосту в Яхроме и с ходу захватил село Перемилово. Спасла положение 50-я стрелковая бригада, прибывшая накануне. С большими потерями для себя она в ночном бою выби-

ла немцев из села и уничтожила мост через канал.

Чтобы остановить вражеское наступление, не хватало сил. В ходе боев армия только создавалась. Был дорог каждый час. Малейшее промедление грозило непоправимой бедой. Необходимо был смелый и решительный удар в самое уязвимое место вражеского фронта.

— Вот эту операцию Военный Совет армии и поручил выполнить нашей бригаде,— заключил разговор военком.

Ехали мы долго. Машина на ухабах то качалась с борта на борт, то ныряла носом между снежными валами. Поездка напоминала плавание на тральщике в зимнюю штормовую погоду.

В деревню Минеево мы приехали только вечером. В крошечной тьме с большим трудом разыскали штабную избу. В деревне было удивительно тихо, хотя под каждым навесом стояли повозки и маячили силуэты людей.

В клубах холодного воздуха мы вошли в штаб, ярко освещенный лампой-молнией. Посередине избы стоял пожилой командир во флотском кителе, стеганых штанах, бурках и что-то энергично втолковывал бойцу. Это был командир бригады полковник Яков Петрович Безверхов. Он узнал меня сразу. На моем тральщике он, командир береговой службы, по собственной воле проходил корабельную практику.

— Вот, полюбуйтесь орлом,— указывая на бойца, обратился к нам полковник.— Просит отпустить его в батальон!— Он снова повернулся к краснофлотцу:— Вы подумали—ведь вам поручено охранять командира бригады, которому доверено командовать тысячами людей?!— Полковник подошел к ординарцу и взлохматил его белые шелковистые, как лен, волосы.

Старшина стоял, потупив глаза, и молчал. Полковник обнял его за плечи, ласково посмотрел в глаза. Наверно, этот паренек напомнил ему сына, с которым не пришлось проститься перед отъездом на фронт.

Окончив разговор, полковник отослал ординарца.

— Значит, начнем, комиссар?— спросил комбриг после небольшой паузы и кулаком постучал в стену:— Начштаба! Командиров ко мне!

Слышно было, как из-за перегородки ответили: «Есть!» Зашуршали по полу валенки, оживленно заговорили люди. Через минуту открылась дверь, и на пороге появился низкорослый крепыш с квадратным лицом — начальник штаба майор Иван Кузьмич Рябцев, за ним — командиры подразделений, политработники, офицеры штаба. Многие были мне знакомы по Тихоокеанскому флоту.

Когда все расселись, начальник штаба кратко доложил обстановку на участке бригады. Ясно, что в ближайшие дни фашисты предпримут бросок через канал. По данным разведки, у немцев в районе сел Степаново и Ольгово имеются танки. По шоссе движется большое количество войск с артиллерией, минометами.

Командование армии ставило бригаде задачу: в ночь на первое декабря начать наступление в направлении на село Ольгово. Смелой атакой захватить село Языково с прилегающими пунктами и выйти в тыл фашистам, находящимся в Яхроме, с целью сковать как можно больше сил врага и одновременно помочь генералу Захарову с двумя дивизиями выйти из окружения. В случае успеха бригада будет серьезно угрожать немецким тылам. Но и над самой бригадой может нависнуть опасность окружения... Ни справа, ни слева соседей не было, а приданный батальон лыжников не мог надежно обеспечить фланги.

После начальника штаба комбриг изложил план атаки. Ее намечалось начать с полным рассветом, чтобы необстрелянные люди ясно видели объект наступления.

— А что нам скажет начальник артиллерии?— спросил вдруг комбриг и посмотрел на лысоватого полковника.

Тот поднялся с самодельного стула и доложил, что перед атакой будет произведена пятнадцатиминутная артиллерийская подготовка.

— Но командиры батальонов,— предупредил начарт,— пусть особенно не надеются на всеислие артиллерии: у нас только две семидесятишестимиллиметровых батареи да несколько минометов. Полнее используйте собственные огневые средства.

Положение с оружием в бригаде было тяжелым. В некоторых подразделениях не хватало даже винтовок. Штаб бригады, политотдел, хозяйственники и санчасть получили личное оружие только накануне наступления, и то благодаря случайности: около Дмитрова бойцы нашли брошенные кем-то ящики с винтовками и автоматами. Минометный дивизион имел матчасть, но без мин. В дивизионе ПТО — одна батарея. Боезапас ограничен. Хотя военком и говорил, что с Урала движется много оружия, техники, но первый бой придется вести тем, что есть.

— А дальше слушайте, что я скажу, товарищ начарт,— комбриг резко встал.— Прикажете артиллерийским расчетам наступать вместе с пехотой и глушить огневые точки врага по указанию командиров рот, взводов, а где надо — по своей инициативе.

Движение артиллерии в боевых порядках наступающей пехоты было по тому времени новостью. Значит, комбриг внимательно изучал опыт войны!

— Сила немца — в массе огневых средств,— закончил полковник.— Чтобы парализовать это преимущество, нужно как можно быстрее сблизиться с противником на пистолетный выстрел и бросок гранаты. Поставить его в равные с нами условия. А храбрости, мужества и силы у наших краснофлотцев больше, чем у фашистских солдат. Сила немца в умении окружать. Но он сам страшно боится окружения. Наша задача смелее обходить его фланги, заходить в тыл.

...Была глухая полночь, когда мы с командиром бригады вышли из штаба. Луна

уже скрылась. Звезды стали крупнее и ярче. Темнота сгустилась. Трещали от мороза деревья. Ударные батальоны оставили Кузьяевский лес, перешли канал и двинулись на запад — туда, где фашистские караулы всю ночь жгли ракеты.

* * *

После тяжелого марша по бездорожью наши батальоны на рассвете заняли исходное положение для атаки на опушке леса у села Языково. В это время мы с комбригом верхом объезжали позиции. Некоторые подразделения уже начали обживать занятый рубеж: делали снежные окопы, насыпали высокие брустверы. Кое-кто ломал ветки деревьев и устилал ими дно окопов для тепла.

Безверхов был в белом полушубке, валенках, ватных стеганых штанах, шапке-ушанке, и если бы не автомат на груди и пистолет за поясом, он походил бы скорее на охотника, чем на военачальника, объезжающего войска перед баталией.

В роте лейтенанта Черепанова я встретил старшину второй статьи Петра Никитина, бывшего минера тральщика «Патрокл», которым до войны я командовал на Тихоокеанском флоте. Никитин лежал в снежном окопе словно впередсмотрящий на баке корабля, с вещевым мешком за плечами, с гранатами у пояса.

Колхозник Петр Никитин до службы был сборщиком «корня жизни» — женьшеня. Когда он учился в пятом классе, его отца задушил тигр. Пришлось прервать учебу, помогать матери и сестре. Петр стал жень-шеньщиком. По нехоженым лесам Сихотэ-Алиня бродил он, как и его отец, в поисках целебного растения. Придя на флот, Никитин в скором времени стал лучшим минером в дивизионе и отличным вахтенным на тральщике.

— Вот где встретились-то, товарищ командир! — окликнул он меня.

До начала атаки оставалось несколько минут, я торопился на КП.

— Увидимся в Языкове, — крикнул я вместо прощания своему бывшему подчиненному.

Безверхов выбрал место для своего КП на небольшом бугорке у опушки леса, где рос огромный, разлапистый дуб. Когда мы подъехали, на толстых сучьях дерева уже сидел наблюдатель с биноклем, а у корней суетились два связиста. Они устанавливали полевые телефоны на утоптанном снегу. Отсюда было видно всю снежную равнину до самого Языкова. Ни куста, ни бугорочка. Искрящийся на солнце снег слепил глаза. Это пространство простреливалось из всех видов стрелкового оружия и минометов. Морякам предстояло преодолеть его одним махом и внезапно обрушиться на врага. Немцы, засевшие в крестьянских домах, пока себя ничем не обнаруживали.

Начала бой артиллерия. В морозном воздухе раздались резкие удары орудий. С деревьев посыпался сухой иней. В небе засветились сигнальные ракеты. Через го-

ловы бойцов с ноющим свистом полетели снаряды. Мы увидели, как у околицы вздыбились серые султаны разрывов.

Первым поднялся второй батальон. Капитан Голяко сам повел моряков в атаку. Они идут стремительно, на ходу распахивают полушубки, обнажая грудь в полосатых тельняшках. В первых рядах краснофлотцы надели заветные бескозырки, которые бережно хранили за пазухой.

Но вот и противник открыл огонь по атакующим. Телефонист в длинном не по росту полушубке осипшим голосом доложил, что второй батальон пошел в атаку.

— Вижу! — Комбриг резко смахнул снег с шапки, соскочил с лошади и устремился на опушку. — Молодцы! Смотри, комиссар, как идут, в полный рост! — Безверхов сиял от радости и боевого вдохновения. Вдруг он умолк, нахмурился и резким движением подбросил к глазам бинокль.

— Залегли! Очевидно, сильный огонь, — уже тихо, про себя сказал полковник.

Немцы превратили село в сильно укрепленный узел сопротивления. Оттуда слышалась трескотня выстрелов. То и дело хлопали минометы, и шестел летящих мин заканчивался гулким разрывом. Теперь уже из-за села били немецкие пушки. Темные облачка разрывов шрапнели надолго застывали в голубом небе. Вдруг из-за сиющего невдалеке леска неожиданно вынырнули бомбардировщики. Сделали заход. Вот они, один за другим, будто падая, с воем ринулись носом вниз. Косматые, огненно-дымные столбы выросли среди зимнего поля. Моряки залегли.

— Ну ладно, пусть немцы посылнее втянутся в бой со вторым батальоном. Подождем! — сказал Безверхов и отошел в глубину леса. На поле в это время показали наши пушки на конной тяге.

— Правильно делает начарт! Сейчас он поможет Голяко!

— Первый и третий пошли в атаку! — доложил тот же осипший телефонист.

Безверхов снова вышел на опушку. Открывшееся перед ним поле кишело людьми. Теперь моряки бежали к селу с южной стороны. Полковнику было видно, как падали люди в серых полушубках, как отползали в сторону от разрывов, а некоторые лезли в еще дымившиеся воронки. Комбриг был возбужден азартом боя. Он чувствовал ритм сражения и был целиком объят его стихией.

— Что там на левом? — крикнул комбриг телефонисту. — Передать: не медлить! Вперед, вперед!

Заминка тревожила его. Полковник понимал, что значит потерять темп атаки. Выватив из рук связиста трубку, он присел у корней дуба.

— Майор Тулулов? Что медлишь? В чем дело? Поднимай людей! — гремел недовольный голос Безверхова. — Батальон, говоришь, в движении, но задерживается? А почему? У немцев, говоришь, возле церкви минометы? Лупят непролазным огнем? А лыжники где, лыжники?.. Ну, поднимай

моряков, Николай Лаврентьевич, а огоньку Треков сейчас даст!

Прошли первые полчаса боя. Еще полчаса. Все глуше доносился треск пулеметов, разрывы гранат. Бой заметно уходил в глубину села. И вдруг кто-то позвонил: «Убит командир второго батальона Голяко, комиссар ранен»...

* * *

Удар по Языкову был сокрушительным, хотя части вражеского гарнизона удалось вырваться из кольца. Когда мы вступили в село, там царил обычная суматоха после боя. Посреди улицы стояли огромные вздоходы, разбитые прямым попаданием, штабные автобусы с заведенными моторами, похожие на троллейбусы, мощные тягачи, раздавленная пушка. Везде валялись убитые, дотлевали остатки сгоревших домов. Около церкви возвышались штабеля ящиков со снарядами и патронами, оставленные противником. Тут же печально чернели наши подбитые танкетки, а на снегу лежали раненые моряки.

Задуманный комбригом план окружения вражеского гарнизона в Языкове не был полностью осуществлен из-за неудачи на левом фланге батальона майора Тулупова. Здесь развернулись драматические события.

Рота лыжников должна была обойти село с тыла, перерезать дорогу на деревню Борнсово и ударить по Языкову с запада. Лыжники, проделав двадцатикилометровый путь, бесшумно подошли к селу на рассвете. Чтобы оседлать дорогу, роте лейтенанта В. Д. Сморгунова нужно было преодолеть широкую открытую ложину, которая хорошо просматривалась из села.

Боясь выдать свое присутствие противнику, лейтенант приказал роте залечь в березовой роще, которая вплотную подходила к домам колхозников. Командир роты предполагал с началом атаки коротким броском миновать ложину и замкнуть кольцо окружения. Бойцы залегли и стали ждать сигнала атаки. Через полчаса небо осветили ракеты. Вдали, в просветах между белыми стволами берез, уже были видны темные очертания построек.

Лыжники поднялись и, утопая в глубоком снегу, двинулись вперед. Неожиданно рощу потрясли оглушительные взрывы — бойцы наткнулись на минное поле. Выше деревьев взметнулись огромные грязно-серые столбы снега и земли. Раненый лейтенант Сморгунов нашел в себе силы подняться и с криком «За мной!» побежал вперед к селу. Он понимал, что спасение только там. Уцелевшие бойцы поднимались и бежали за своим командиром.

Не успел командир роты с группой бойцов добежать до опушки, как новая серия взрывов накрыла рощу — теперь непрерывно били немецкие минометы. Сморгунов и бежавшие рядом с ним красноармейцы упали замертво.

От окончательного разгрома роту спасли наши танкетки. Они с шумом и стрельбой двигались по еле заметной дороге к

селу. Старшина роты Пузанов, возглавив вторую половину роты, устремился за танкетками и вывел моряков с минного поля.

Но и здесь получилась неудача. Танкетки из-за глубокого снега двигались по дороге в кильватер. Стоявшая у церкви немецкая противотанковая батарея быстро пристрелялась и в несколько минут подбила две головные машины. Двум другим удалось при поддержке лыжников ворваться на батарею, разогнать и частично уничтожить личный состав. Но замкнуть кольцо окружения вокруг Языкова не удалось. Поэтому часть немецкого гарнизона и вырвалась из села.

* * *

Бой уже гремел на окраине деревни Борнсово. От раненых нам удалось узнать подробности смерти капитана Голяко.

Преодолев сопротивление фашистов на северной окраине, капитан с передовым подразделением ворвался в Языково. Бой на улицах превратился в отдельные ожесточенные схватки. Фашисты стреляли из подвалов, с чердаков, из окон домов. Приходилось выбивать их штыком и гранатой, а где их же оружием — автоматами. Разгоряченный боем капитан остановился, тяжело дыша, чтобы отдать приказание, но с чердака соседнего дома сухо и коротко протрещал автомат, и слова замерли на губах: капитан пошатнулся и молча повалился ничком. Весть о смерти любимого командира быстро облетела батальон. Командование возглавил комиссар батальона Романов. С кличем: «Вперед, товарищи! Отомстим за командира!» — он увлек бойцов за собой. В следующий миг он уже был ранен, но скрыл это... А на другом конце посада наступающих возглавил комсомолец, двадцатидвухлетний младший лейтенант Митин. С возгласами «За Родину! За партию!» — он ведет моряков батальона, выбивает фашистов из последних домов и сбрасывает их в реку Волгушу.

Здесь же от краснофлотца Маничева я узнал подробности подвига, совершенного моим воспитанником старшиной Никитиным. Вот как было дело. Со стороны кладбища ворвалась в село рота лейтенанта Черепанова. Продвигаясь с боем вдоль села, рота встретила упорное сопротивление. Фашисты, засевшие в большом пятистенном доме, сильным пулеметным огнем преградили путь наступающим. Дом был обложен до окон бревнами и мешками с землей, окна превращены в амбразуры, из которых немцы простреливали всю улицу. Несколько раз моряки поднимались в атаку, но на них обрушивался многослойный свинцовый ураган. Продвижение роты приостановилось.

— Разрешите, товарищ лейтенант, я попробую утихомирить фашистов? — спросил Никитин. — Только дайте побольше гранат, да почаще успокойте их!

Черепанов разрешил.

Окинув взглядом бойцов отделения, лежащих за деревянным срубом колодца, старшина скомандовал:

— Захаров, Маничев, Малеев, за мной!

Моряки сделали несколько связок из немецких гранат, и Никитин позел свой отряд в обход огородами. Шли ссторожно, скрываясь за изгородями, кустами прошлогодней полыни. Открытые места — ползком.

Цель почти достигнута. Уже видны из-за угла знакомые белые наличники на окнах. В заборе обнаружили щель. Маленький Никитин ловко юркнул в черную дыру и со двора подал команду:

— Все заходите с улицы! Услышите взрыв — бегите к окнам и действуйте по обстановке!

Старшина метнул связку гранат в окно, из которого выглядывало тупое рыльце фашистского пулемета. Раздался сильный взрыв, окно заволочло дымом. Никитин стремительно бросился на крыльцо соседнего дома и в упор расстрелял трех выбежавших гитлеровцев. Потом в несколько прыжков он ворвался в избу. Оставшиеся в живых немецкие солдаты, выбивая сапогами стекла, прыгали на улицу. Захаров, Малеев и Маничев укладывали их насмерть.

Выбежав в переулоч, Никитин увидел, что из погреба, метрах в тридцати, бьет по улице немецкий пулемет. Он бросился к нему, но из сеней раздалась пулеметная очередь, и старшина рухнула на снег. Тяжело раненный, он дополз до погреба и связкой гранат уничтожил пулемет...

Когда мы с санитарями подошли к месту взрыва и заглянули внутрь погреба, то увидели такую картину: прислонившись к стене, стоя на коленях мертвый обер-лейтенант. На сером мундире красовались два железных креста. Из его дневника мы узнали, что он прошел с гитлеровской армией всю Европу, расстрелял сотни невинных людей в Польше, Чехословакии, Франции и Белоруссии. За все злодеяния отомстил ему советский моряк.

Из погреба были извлечены трупы еще нескольких унтеров и офицеров. Тут же были найдены важные секретные документы. Это оказался штаб немецкого батальона.

...Догорали остатки крестьянских построек. Холодные косые лучи декабрьского солнца отражались в окнах изб. Со стороны леса надвигались серые зимние сумерки. Наступавшие с разных сторон батальоны соединились. Оставшиеся фашисты бежали из села.

* * *

На другой день мы встретили в Языкове первых пленных. Их привел огромного роста главный старшина, не в меру обвешанный немецкими гранатами и с новеньким немецким автоматом на шее. Из-под расстегнутого ворота полушубка чернел ободок флотского кителя. За поясом у него была связка ремней с одноглавыми орлами. До фронта К. И. Пономарев служил старшиной группы электриков на Тихоокеанском флоте.

— Вот, товарищ комбриг, привел консервированных фашистов! — с улыбкой доложил главстаршина, указав автоматом на зеленых чужестранцев, с тревогой смотревших на нас. Они переступали с ноги на ногу

и ежились от мороза в своем легком одеянии.

— Это почему же консервированных?

— А мы их извлекли из силосной ямы. От них до сих пор отдает силосом и навозом, — по-прежнему улыбаясь, ответил моряк.

— А что вы, старшина, обвешались ремнями, как барахольщик? — недовольным тоном спросил Безверхов.

Пономарев за словом в карман не полез:

— Вот оторвем фашистским орлам головы, товарищ комбриг, — и главстаршина покрутил бляху на одном из ремней, — а кожаные ремни матросам пригодятся!

Пленных было семеро, один из них — офицер. Их допрашивал сам комбриг. Он примостился на паперти под тяжелыми кирпичными сводами церкви. Переводчиком был начальник химической службы Н. А. Будрейко. До службы он окончил Московский университет и хорошо знал немецкий язык. На все вопросы пленные упрямо твердили одно: «Рус капут!», «Москва капут!»

Выведенный из терпения комбриг вдруг встал и крепко сжал правую руку в кулак. Потом медленно поднес ее к лицу и большим пальцем указал через плечо, обращаясь к конвою: «За баню!» — это, по его мнению, означало: «В расход!»

Многозначительный жест и повелительные слова возымели магическое действие. Пленный офицер явно уловил тайный смысл команды комбрига и сдрейфил. Он вдруг заговорил на чистом русском языке:

— Господин полковник, я лейтенант германской армии Рудольф Планге, командир первой роты четвертого пехотного полка шестой немецкой танковой дивизии, член национал-социалистической партии.

Лейтенант оказался по тому времени весьма разговорчивым и сделал нам ценное признание:

— Наш полк в бою у Языкова понес огромные потери. Я ротой командую с начала войны и за все время потерял всего пятьдесят человек. А за последние три дня боев в моей роте из двухсот человек осталось шестнадцать солдат и два офицера... Я хорошо понимал, что мне будет за такие потери от моего командования и искал смерти... но попал в плен. Последние два три дня были самыми черными днями нашей части.

После допроса пленного Безверхов сказал многозначительно:

— Это хороший признак, раз фашистские офицеры заговорили. Значит, наша берет! Верно, мы научились их лупить!

* * *

Между прочим, тот же лейтенант Планге раскрыл нам «тайну» одной находки. В штабном фургоне немцев бойцы обнаружили несколько комплектов новенького, «с иголочки», офицерского обмундирования со всеми знаками различия, орденами и медалями. Планге рассказал нам, что офицеры его полка готовили это обмундирова-

ние к параду на Красной площади в Москве. Они были совершенно уверены, что захватят нашу столицу в ближайшие дни.

Среди трофеев был и такой. В кабине брошенного транспортера шофер Киселев нашел аккуратный фанерный ларец. В нем хранилась... подкова! Новенькая, тщательно отшлифованная, смазанная тонким слоем вазелина, она была завернута в прозрачную водонепроницаемую бумагу. Долго думали мы, каких же лошадей немцы собирались ковать — подкова была такого размера, что не подходила для ног самого большого нашего артиллерийского жеребца! Пленный пехотинец сообщил, что немецкие шоферы, танкисты и артиллеристы такие подковы возили с собой на счастье, как талисман, хранящий от смерти. Киселевская находка спасала своего хозяина во Франции, Бельгии, Польше, но под Москвой изменила: около транспортера, завязшего в реке, его водитель был найден мертвым.

* * *

На другой день передовые батальоны майора Тулупова, капитана Голяко и батальон лыжников взяли еще три деревни: Гончарово, Борнсово и Семеново. Немцы так поспешно отступали, что не успевали увозить своих раненых. В Борнсове они сожгли свой лазарет. На месте пожара было обнаружено около двух десятков обгорелых трупов.

Наши части вплотную подошли к селу Ольгово и были готовы захватить его и отрезать фашистским войскам, находившимся в районе Яхромы, путь отступления на запад. Но немецкое командование, не желая мириться с понесенным поражением, стремилось взять реванш. На смену разгромленным батальонам противник подтянул из резерва отборные части. Комбинированной атакой пехоты, танков, артиллерии и авиации фашисты хотели испугать моряков, подавить их волю к победе.

Четверо суток днем и ночью шел ожесточенный бой. Атаки эсэсовцев чередовались с контратаками моряков. Борнсово и Гончарово трижды переходили из рук в руки, дело доходило до рукопашных схваток. В эти дни все были героями — от рядового до комбрига.

Полковник Безверхов и полковой комиссар Бобров почти все время были на передовой. Комбриг всегда появлялся там, где было особенно трудно, опасно и требовалась властная командирская рука.

В полдень третьего дня боя комбриг на неоседланной крестьянской лошади прискакал в Дьяково. Вбежав в штабную избу, разгоряченный, со сверкающими глазами, кричал:

— Штабу в ружье! Иметь винтовки со штыками!

Через несколько минут все наличные штабные, хозяйственники, политотдельцы построились перед домом. Полковник с автоматом на груди, с гранатами и ракетницей за поясом вырос внезапно перед шеренгами и кратко сообщил:

— На участке Тулупова немцы прорвались к Языкову, резервов нет. Нужно спастись положение. По машинам!

Полсотни людей быстро вскарабкались на огромные немецкие грузовики, стоявшие с уже заведенными моторами. Машины, громко хрустя шинами по снегу, двинулись к переднему краю. На опушке леса съехали на обочину. Отряд спешил. Кожух единственного пулемета набили снегом, приготовили гранаты и, предводительствуемые полковником, двинулись редкой цепью к окраине Языкова. С того берега реки немцы начали стрелять, стали рваться мины. Махнув рукой в сторону Борнсова, комбриг крикнул: «Вперед, за мной!» — и сбегал на лед. Светлая голова была у нашего комбрига. Решения в бою он принимал мгновенно и смело. Прикрываясь высоким берегом, он повел людей вдоль реки, как по траншее. Излучина огибала лесок подковой.

Через несколько минут стрельба прекратилась. Выбрав удобное место, остановились. Теперь было видно, как немцы, небольшими группами перебега я поле, на капливались в леске. Их расположение с фланга просматривалось насквозь. Морякам оставалось перебежать небольшое открытое, ровное место, чтобы оказаться в тылу у эсэсовцев. Старый воин быстро оценил обстановку.

— Пулемету прикрыть огнем! Взвод, за мной! — Комбриг первым выскочил на берег и, не пригибаясь, рванулся вперед. Моряки еле поспевали за ним.

Немцы, видимо, ожидали обхода своей позиции и открыли сильный пулеметный и минометный огонь. Но в этот момент заговорили и наши пулеметки. Огонь противника резко ослаб. Вот уже недалеко спасительный пригорок с высоким сугробом снега... В следующую минуту впереди атакующих разорвалось несколько мин. Осколки с визгом пролетели над головами, снежная метель осыпала передних.

— Ложись! — голос комбрига покрыл шум боя.

Люди попадали в еще дымившиеся воронки. Двое, обливаясь кровью, корчились от боли, а еще двое лежали в снегу неподвижно. Комбриг, стоя на одном колене, короткими очередями бил из автомата.

— Товарищ полковник, ложитесь, убьют! — умоляюще кричал адъютант, главный старшина Гусаков. — Видите, какой огонь!

А комбриг с гордой усмешкой отвечал:

— Я с тысяча девятьсот шестнадцатого не кланяюсь немецким пулям.

Зная Безверхова, я понимал его. Как опытный солдат, он делал это не для похвалы и лихачества. Полковник хотел вселить в своих боевых товарищей веру в победу.

Опомнившись, моряки открыли огонь из винтовок по немцам, потом по взмаху руки полковника снова поднялись и побежали вперед. До пригорка добежало человек тридцать. «Окапываться!» — дал приказ комбриг. Положение было критическое.

Немецких автоматчиков — целая рота, а моряков — горсточка.

Полковник засветил красную ракету, и через несколько минут наши минометы, находившиеся в Языкове, открыли огонь и накрыли лесок, где накапливались фашисты. Автоматчики заметались и, боясь окружения, начали отступать. Безверхов вновь поднял свой отряд. Брешь в линии фронта была зашита.

Когда миновала опасность, Безверхов вдруг остановился у одинокого дерева и, держась за ствол, стал медленно опускаться на землю. Подбежавшие товарищи подхватили его на руки. На мгновение Яков Петрович потерял сознание, но быстро очнулся. Он был ранен в бедро и контужен. Какой силой воли обладал этот человек! После перевязки комбриг остался в строю.

Когда на другой день я встретил Якова Петровича, он был свеж и бодр, как всегда...

* * *

Дорого обошелся фашистам бой за село Языково. Два батальона четвертого полка шестой немецкой танковой дивизии были полностью уничтожены. Около шестисот трупов оставил противник на поле боя. Части бригады захватили большие трофеи. Следуя лозунгу комбрига: «Вооружаться за

счет противника!», почти все моряки за дни боев обзавелись различным оружием врага.

Бригада с честью выполнила поставленную перед ней задачу. План гитлеровского командования — форсировать канал крупными силами — был сорван. Подошедшие части Первой ударной армии позволили укрепить нашу оборону на канале и шестого декабря перейти в решительное контрнаступление по всему фронту.

В третий раз выбив немецко-фашистские войска из деревень Борнсово и Гончарово, бригада вместе с частями Первой армии погнала немцев на запад...

Через несколько дней усилиями 64-й Морской отдельной стрелковой бригады, 47-й стрелковой бригады, бригады Безверхова и других частей 20-й и Первой ударной армий был освобожден город Солнечногорск.

В непрерывных боях 71-я морская бригада прошла длинный путь — от канала имени Москвы до границ Калининской области. Вот уже освобождены последние большие села Московской области: Раменье и Спас-Помазкино...

* * *

Впоследствии бригада была преобразована в гвардейскую стрелковую бригаду.



Поэты Российской Федерации

БРЯНСК

ИЛЬЯ ШВЕЦ

Два моста

Один старел, дряхлел, дрожал
под грузной ношей, рвущей силы,
а рядом рос другой, мужал
и вырос, крепкий и красивый.

И вот стоят они, как сын с отцом,
над удивленною рекою,
один —
с ликующим лицом,
другой —
со старческой тоскою.

И молодой, в металл одетый,
у старика —
без сожаленья —
вдруг выхватил, как эстафету,
весь шум,
всю сутолочь движенья.

И старый мост совсем оглох
от тишины такой внезапной
и без работы занемог
и сник на деревянных лапах.

Его теперь снесут —
и точка.

И только разве старожил
обронит сыну или дочке:
— Смотри, здесь мост когда-то был...

...С него не трогать бы и палки,
хранить бы здесь
вот в этом виде,
чтоб с новой трассы
каждый видел
бойца особенной закалки:
из суковатых брусьев, шпал,
в заплатках весь, полукалека,
он выдержал всю тяжесть века
и не сломался,
не упал.

И если
он
сумел такое,
то что же сможет
новый мост,
бетонным чудом над рекою
летающий вдаль —
на зовы звезд!

ВАЛЕНТИН ДИНАБУРГСКИЙ

Русь

Паду
в зеленое безбрежье,
с зеленым полымем
сольюсь.
Хочу ласкать тебя
и нежить —
колдунья сказочная —
Русь.
Но не берусь
тебя величить.
Ты так взлетела —
не догнать!

У сыновей
такой обычай:
они не громко
любят мать.
Сыновьи ласки
ох как скупы,
на то особые причины.
Но я готов
стать трижды
трупом,
за каждую
твою морщину.

* * *

У колонки девочка с ведром.
Кажется,
шажок — и переломится,
Из ведра разбрызгав на гудрон
Августа полуденное солнце.

Но она берет, она идет!
Хоть ручонки от усилий розовы.
Не толкните,
расступитесь, взрослые! —
Солнце эта девочка несет.

МАРИНА ЮНИЦКАЯ

Я записываю ваши голоса

Мне уж так положено по штату:
Я записываю ваши голоса.
Ну не жмите вы,
не жмите вы,
ребята,
Ну, пожалуйста,
не жмите на баса.
Гласы трубные
без вас давно пропели,
Медь глухая тупо рвала небеса.
Ну зачем вы,
ну зачем вы,
в самом деле,
Огрубляете так ваши голоса?
Ну зачем вы,
ну зачем вы
так угрюмо?
Ну, ребята,
ну же,
веселей!

Вы не прячьте,
вы откройте свои думы —
Сразу станет
и звончее и светлей.
Сразу станет
и земно
и межпланетно,
В путь рванут
авто
и звездолет.
Вы откройте свое сердце
безответно:
Был бы адрес,
а письмо придет.
Так уж нам положено по штату:
Мы, поэты,
песен не таим:
Ну, пожалуйста,
пожалуйста,
ребята,
Начинайте песню голосом своим.

●

Гостья

Приготовил — самое лучшее,
Разделся — и в пух и в прах.
И пришла ко мне Революция
С красным бантом, с винтовкой, в бинтах.
Как неловко мне, разодетому,
Перед скромной гостьей с Невы.
Я моложе ее, и поэтому
С Революцией я на «вы».
— Вам бы, — я говорю, — на плечи
Синтетическую красу.
Мигом сбегая: недалече.
— Ни к чему. Я службу несю.
Мы прослушали с ней доклады,

Посмотрели мы с ней парад.
Рассказала про баррикады,
Рассказала про Петроград...
— Революция, как я рад!
Из рабочего парень сословия —
Я ударился в звонкословие.
И оружие подает она,
Подает она патронташ.
— Лично мной, — говорит, — сработано.
Не осилишь — другому отдашь.

Нелегко нести эту ношу...
Я, как сердце свое, — не брошу.

Небо

Небо я достаю головою
(Невысокий имея рост).
Это небо — не голубое.
Это небо — без солнца и звезд.
Не плывут по нему облака.
Не дождит — днем и ночью каплет.
Возразят: «Не валяй дурака».
Не валяю.
И даже ни капли.
Не лукавлю и не злословлю я:
Это небо висит под землей,
Это небо зовется кровлею —
Сотни метров каменный слой.
Небо — выдумщица-мастерица
Озорные творить чудеса:
Могут запросто взять и свалиться
Твердокаменные небеса.
Представляете? Каменный юмор
В полном смысле разит наповал.
(Побожиться могу: чтоб я умер, —
Сам не видел бы, вам не врал).

Небо каменным смехом грохочет.
Небо зуб — да какой еще! — точит:
На меня почему-то хочет
Небо каменное упасть.
Укрощая небесную страсть,
Затыкаю металлом пасть.
Небо лезет из каменной кожи.
Небо каменным брызжет злом.
Лучшей марки металл корезит,
Превращая в металлолом.
Эти шуточки не новы.
Не сдаваясь иду на вы.
Лопнут каменные нервишки —
И сыграет небо отбой.
Дескать, ладно, аллах с тобой.
Продолжай, счастливый судьбой,
После смены почитать книжки...
Я похлопаю небо руками,
Как смирившегося коня:
— Небо, вынь из-за пазухи камень,
Все равно не обманешь меня.

Правосудие (Из цикла «Оникуация»)

На пустыре, за терриконом,
Мы правосудие вершим
По всем мальчишеским законам
(Нам по двенадцать с небольшим).
В трофейном браунинге пуля.
Остер трофейный штык-кинжал.
Ровесник, маменькин сынуля,
К врагу, подлец, перебежал.
На нем мундирчик войск Дойчланда:
Блеск от фуражки до сапог —
Блестят погоны лейтенанта,
Сверкает бляха: «С нами бог!»
Сыночка вырядила мама.
Одна из тех известных дам,
Которых со времен Адама
Прозвали метко: «Я те дам!»
Она одежду и обузу
За томный взгляд приобрела.
Ее фамилия по мужу
Кривенко, кажется, была.
О даме разговор особый.
А что нам, судьям, делать с ним,
Зелено-серую особой?
Казним? Казним!

Казним? Казним!
В трофейном браунинге пуля.
Трофейный штык-кинжал остер.
Разводит «трибунал» костер.
Как лист осиновый, «сынуля»
Дрожит, раздетый доната.
У наших ног — тряпье врага.
Сукно по качеству неважное.
Видать, прошло и Крым и Рим.
А галифе заметно влажное.
«Проситься надо!» — говорим.
Кинжал торжественно подносим
(Как подносили раньше меч),
Трофей принять на время просим
И говорим такую речь:
«Мундир казнить, а после — сжечь».
Мы подсудимого простили.
Домой пустили голышом.
Лишь на спине в ребячьем стиле
Химическим карандашом
Два слова — вместо протокола
(Пусть знают все, какой он гусь).
Два слова, что не учат в школах
И я цитировать боюсь.

ВЕЛИКОМУ ВРЕМЕНИ — ВЕЛИКУЮ ЛИТЕРАТУРУ

Владимир Маяковский содержание своей поэзии выразил в емкой формуле: о времени и о себе. Личное местоимение в данном случае мы рассматриваем не только как сопричастное поэту, но и как синоним общественного человека, современника революции, строителя нового мира. Это — герой поэзии Маяковского. Он рожден революцией.

Когда я	
итогу	то, что прожил.
и роюсь в	днях —
ярчайший	где,
я вспоминаю	одно и то же —
двадцать	пятое,
	первый день.

Октябрь 1917 года. Двадцать пятое. Дата великой революции. Дата рождения нового мира.

С этой даты мы начинаем и летосчисление совсем еще молодой, но уже многоопытной, зрелой и влиятельной советской литературы, раскрывшей перед всем миром красоту и величие народного подвига в революции, в строительстве новой жизни. Это литература о времени, о человеке, о победе ленинской правды над ложью и злом старого мира.

Советская литература стала законной наследницей и продолжательницей великих традиций русской классической литературы. Помимо богатейшего опыта своих прямых предшественников в национальной демократической культуре она наследует и обогащает опыт всей мировой прогрессивной литературы. Ей чужда национальная ограниченность. Сохраняя национальные особенности, колорит, характер, советская литература является самой интернациональной литературой по духу, по идеям, по стремлению аккумулировать в себе все величайшие достижения в художественном творчестве других народов мира.

На гигантском опыте развития мировой культуры основано и ленинское учение о партийности литературы, являющееся своеобразным итогом, закономерным теоретическим обобщением этого опыта. Учение о

партийности естественно связано с тенденциозным искусством и литературой, с возможностью активно утверждать свои идеалы и отвергать противоположные, оно обращено прежде всего к действенной, созидательной стороне художественного творчества.

Политика Коммунистической партии в области литературы и искусства уже с первых лет существования советского государства была направлена на то, чтобы максимально приблизить их к революции, к жизни народа, к задачам борьбы за новую жизнь, за победу социализма. В проекте резолюции «О пролетарской культуре» В. И. Ленин писал о том, что все организации Пролеткульта (он имел в виду в том числе и творческие организации и коллективы, объединявшиеся Пролеткультом) должны осуществлять под общим руководством Советской власти и Коммунистической партии свои задачи как часть задач пролетарской диктатуры.

На всех последующих этапах развития советского государства партия осуществляла ленинский принцип руководства литературой и искусством, учитывая, что художественное творчество, как говорил В. И. Ленин, не может быть шаблоном отождествляемо с другими частями партийного дела пролетариата и что «в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию».

В советской литературе поддерживалось все истинно талантливое, новаторское, революционное. Писателям, которые не сразу поняли и приняли революцию, характер революционных преобразований в стране, смысл и цели внутренней политики советского государства, партия с терпеливой настойчивостью помогала находить правильный путь творческого развития, путь тесного сближения с революционным народом.

Именно на этом пути развивалась, крепла, набиралась сил и выходила на международную арену молодая советская литература.

«Двенадцать» Блока и «Левый марш»

Маяковского стали не только поэзией революции, но и революцией в поэзии. Дыханием революции опалена проза и драматургия 20-х годов.

Опираясь на бесценный опыт всех художественных богатств, накопленных человечеством, советская литература тем не менее оказалась в исключительных условиях развития.

Перед нею встала задача поисков художественного эквивалента первой в истории социалистической революции во всех ее сложностях, противоречиях, в пафосе разрушения старого мира и созидания нового, в муках и страданиях, в звоне победных маршей и пламенных речей.

История мировой литературы не знала задачи подобной сложности.

Во многом поэтому первые полтора десятилетия в истории советской литературы характерны таким обилием школ, групп, направлений. Наряду с огромной силой художественными открытиями и непреходящими ценностями, созданными в этот период молодой советской литературой, были также идейные ошибки, блуждание в потемках. Поиски нового осложнялись в ряде случаев недостаточной революционной закалкой, недостаточной идейной зрелостью молодых писателей или тех, кто с трудом преодолевал сложившиеся годами эстетические взгляды и пристрастия.

Гибкость и дальновидность политики партии в этот период заключалась в том, что она активно поддерживала передовое, революционное искусство, внимательно и тактично направляла идейно-творческое развитие так называемых «попутчиков» и всех тех, кто искренне стремился слиться с революционным народом, творить для него.

Такая политика партии вскоре дала хорошие результаты, и уже в начале 30-х годов позволила объединить писателей советской страны в единый Союз на общей идейной платформе и тем самым покончить с разобщенностью и идейной разнголосоцией многочисленных ассоциаций, объединений, групп и группочек. В резолюции съезда отмечалось, что «писатели всех народов СССР пришли на свой первый съезд как коллектив, идейно, организационно и творчески сплоченный вокруг партии и Советской власти в едином Союзе советских писателей».

Союз писателей и поныне является тем организационным идейно-художественным центром, через который партия оказывает свое влияние на развитие литературы, осуществляет руководство этим сложным процессом, предоставляя широчайшие возможности для проявления творческой инициативы, индивидуальных склонностей, смелых новаторских поисков, поощряя и поддерживая высокодейные, истинно народные и истинно талантливые произведения.

В годы культа личности, во второй половине 40-х и начале 50-х годов, некоторые принципы партийной политики в области литературы и искусства нарушались в угоду вкусу и субъективным пожеланиям од-

ного человека. Это наложило отпечаток на многие произведения прозы, поэзии, драматургии, критики и литературоведения тех лет.

Но абсолютно, конечно, беспочвенны попытки скомпрометировать советскую литературу тех лет, как якобы целиком пораженную «культурной» болезнью и потому не имеющую никакой идейно-художественной ценности. Лучшим опровержением вздорности подобных взглядов может служить долгая и славная жизнь целого ряда выдающихся произведений литературы и искусства, созданных именно в эти годы, несмотря на неблагоприятную атмосферу господства субъективных оценок, исходящих от одного человека. Каждое такое произведение было победой подлинного искусства, искусства настоящей правды, на которой зиждется социалистический реализм. Лучшие произведения тех лет подтверждают жизненность основных принципов социалистического реализма, показывают, что внешние обстоятельства, связанные с культом личности, отрицательно влиявшие на развитие литературы и искусства, не поколебали основ метода. Это для нас самое главное.

Помня об этом главным, бережно сохраняя в памяти народа, в постоянном читательском обиходе лучшие произведения литературы 40—50-х годов, мы в то же время анализируем недостатки и слабые стороны тех произведений, которые испытали на себе отрицательное влияние культа личности.

Трезвая объективная оценка ущерба, нанесенного нашей литературе культом личности, необходима не только для восстановления истинной картины ее развития на определенном этапе. Она необходима, как и всякий опыт, для сегодняшнего развития литературы и для ее будущего. Полезный опыт осваивают, чтобы обогатиться им и творчески использовать. Горький опыт необходимо знать для того, чтобы учитывать его и не повторять. Так учит нас партия. В этом состоит историческое значение XX и XXII съездов КПСС.

Еще до XX съезда КПСС, после смерти И. В. Сталина, в нашей стране произошли события, оказавшие заметное влияние на общественную жизнь, заставившие глубже задуматься о прошлом и настоящем.

Назревала очистительная гроза, она нужна была, чтобы освежилась атмосфера, посветлело небо, ярче засияло солнце, чтобы пала тяжесть с души и дышалось бы легко и свободно.

Ощущение больших и радостных событий нашло выражение в поэзии, этом чутком камертоне времени. Оно еще не получает четкого осмысления, оно еще туманно, трудноуловимо, но оно есть:

Что-то
Новое в мире.
Человечеству хочется песен.

Что же случилось? На смену каким ощущениям пришло это столь всеобщее страстное желание выразить себя или найти отзвук своим чувствам в песне?

Ветер,
Ветви,
Весенняя сырость,
И черны, как ислевший папирус,
Прошлогдние травы.
Человечеству хочется песен.
Люди правы.

(Леонид Мартынов)

Мартыновские ассоциации не лежат на поверхности, надо вжиться в образную плоть его стихов, почувствовать их внутренний пафос, чтобы безошибочно угадать, что стоит за ними, какой жизненный опыт, какие общественные явления.

В стихотворении Мартынова, написанном в 1954 году, чуть ли не впервые в нашей поэзии было высказано уже будоражившее многих, но еще далеко не осознанное до конца предчувствие добрых перемен в жизни.

На деревьях рождаются листья,
Из щетины рождаются кисти,
Холст растрескивается с хрустом,
И смывается всякая плесень...
Дело пахнет искусством.
Человечеству хочется песен.

Не случайно и то, что эти строки принадлежат Леониду Мартынову, поэту, который на протяжении многих послевоенных лет почти не писал или, во всяком случае, не публиковал стихов, занимаясь главным образом переводами. Безошибочной интуицией поэта ощутил он обновление жизни и жажду прекрасного, ощутил в их взаимосвязи.

Не все сразу и до конца поняли значение XX съезда партии. Были сомнения, высказывались опасения такого рода, что резкая критика культа личности и связанных с ним ошибок нанесет урон престижу партии, всей нашей страны.

Центральный Комитет КПСС, следуя ленинскому завету открыто признавать и исправлять ошибки, решил сказать всю правду о злоупотреблениях властью в период культа личности. Время подтвердило, как необходим был этот трудный шаг для будущего, от каких опасных и далеко идущих последствий он оградил партию и народ, какие огромные перспективы раскрыл во всех областях политической, экономической и духовной жизни общества.

Осудив культ личности как несовместимый с марксизмом-ленинизмом, чуждый ему, XX съезд КПСС развязал творческую инициативу масс во всех сферах экономической, политической и духовной жизни, укрепил и расширил связи партии с народом.

Решительный, бескомпромиссный расчет с теми извращениями, злоупотреблениями властью, нарушением демократических норм жизни и ленинских принципов партийного руководства, которые были в прошлом, резко изменил атмосферу общественной жизни. Поэтому так неуютно почувствовали себя «наследники Сталина», фракционеры, оказавшие ожесточенное сопротивление курсу XX съезда партии. Их фракционная подрывная деятельность была разоблачена, и сама антипартийная группа разгромлена. Это был крах обанкротившихся политиканов, оторвавшихся от жизни, от народа, отвергнутых народом.

Некоторые представители творческой интеллигенции не смогли правильно разобраться в сложных идеологических вопросах, неправильно, односторонне поняли существо партийной критики культа личности Сталина. Прежде всего это было связано с тем периодом в истории нашего государства, который отмечен культом личности. Предпринимались попытки под этим предлогом скомпрометировать деятельность партии и народа на большом историческом этапе, показать только недостатки и отрицательные явления, как якобы более всего характерные для периода строительства социализма в стране.

Обнаружилась тенденция нигилистического отрицания каких бы то ни было достижений советской литературы в период культа личности. Этот не критический, огульный подход, который можно объяснить только или слепой эмоциональной вспышкой, или плохой осведомленностью, на первых порах внес некоторое смятение, но затем вызвал естественную ответную реакцию серьезной критики и писательской общественности. Потребовалось спокойно и аргументированно опровергнуть столь неоправданные наскоки на нашу литературу, однако историкам литературы еще предстоит немало потрудиться над тем, чтобы создать объективное представление о литературном процессе 30—40-х и начала 50-х годов.

После XX съезда советской литературе были возвращены имена и книги многих талантливых писателей, пострадавших от необоснованных репрессий в годы бериевского произвола. Это позволило нашим критикам и литературоведам полнее воссоздать картину развития советской литературы двадцатых—тридцатых годов, раскрыть в ней многие белые пятна. Но в ряде случаев успешность, а иногда, возможно, желание «возместить» таким образом невозместимое — незаслуженные жестокие обвинения, стоившие многим жизни, — привели к тому, что критика не сумела объективно разобраться в творчестве ряда писателей, подменяя серьезный и объективный анализ безоговорочным восхвалением и таким образом, смазывая сложности и противоречия в их творчестве.

Двадцатые годы — этот сложный и противоречивый период в развитии советской литературы — иногда трактовались как некий «золотой век» на том основании, что де тогда «свободно» соревновались различные школы и творческие направления, а В. И. Ленин и А. В. Луначарский представлялись добряками-либералами, якобы сквозь пальцы глядевшими на деятельность всевозможных мелкобуржуазных по своим идейным позициям литературных групп и группочек. И на этом основании ставилась под сомнение необходимость партийного руководства литературой и искусством.

Чтобы безошибочно ориентироваться в литературной жизни, надо было точно определить диагноз заболевания, выяснить причину идейных шатаний некоторой части писателей.

Партия увидела корень этих ошибок в

неправильном, одностороннем понимании существа критики культа личности Сталина. В ряде случаев эмоции возобладали над здравым смыслом, не хватало хорошей идейной закалки, зрелого опыта, чтобы трезво, реалистически подойти к вопросу. На литературных дискуссиях зазвучали пламенные «обличительные» речи, пафос критичности по отношению к прошлому — истории, культуре, литературе — начал увлекать молодежь.

Усилия партии в этот период были направлены на то, чтобы разъяснить творческим работникам, прежде всего тем, которые ошибались, существо критики культа личности, обратить внимание на созидательный пафос этой критики. Как бы ни были тяжелы ошибки Сталина в последний период его деятельности, как бы ни были горьки утраты, которые понесли партия и народ в эти годы, как бы ни был велик ущерб, нанесенный культом личности всему нашему обществу, забывать о чем нельзя, — правда все-таки состоит в том, что Советский Союз под руководством Коммунистической партии добился в этот период выдающихся успехов в социалистическом строительстве, одержал всемирно-историческую победу над фашизмом в Великой Отечественной войне и в короткий срок сумел не только восстановить народное хозяйство страны, но и двинуть его значительно вперед.

Партия осудила неправильные методы руководства, связанные с культом личности, и осуществила решительные меры по восстановлению ленинских норм партийной жизни и принципов руководства, по укреплению советской социалистической демократии. И в этом также состоит правда нашего общественного развития, правда, которую не способны затмить никакие, даже самые мрачные воспоминания о пережитом.

Пафос всей деятельности партии после ее XX съезда заключался в творческом подходе к решению очередных задач коммунистического строительства, какой бы сферы жизни они ни касались. В том числе это относится и к развитию общественных наук, марксистско-ленинской теории, ибо теория, тесно связанная с жизнью, не терпит застоя, рутин и косности.

Застойность в теории в период культа личности, схематизм мышления в трудах по истории, философии, эстетике естественно влияли на развитие литературы и искусства, сдерживали творческие поиски, подрезали крылья мечте, фантазии, воображению. Литературе и искусству навязывались социологические схемы. Критики порою игнорировали идейно-художественные особенности подлинно талантливых произведений.

Достаточно вспомнить, за что и как критиковали роман А. Фадеева «Молодая гвардия» и какие произведения ему противопоставлялись, чтобы понять, как порою нелепо было художнику преодолеть, разорвать сковывающие воображение, навязанные извне схемы, чтобы по-своему и неповторимо озарить светом образной мысли кусок живой жизни.

А. Фадеев как художник, честно ста-

равшийся осмыслить критику (а мы знаем, что она исходила от Сталина), сделал огромное усилие над собой, создав, по сути дела, новое произведение, живущее самостоятельной жизнью, так же как продолжает жить, не теряя своего могучего обаяния, первая редакция романа «Молодая гвардия». Но ведь А. Фадеев, вместо того чтобы писать еще один вариант «Молодой гвардии», стоивший ему громадной отдачи душевных сил, времени, мог бы, наверное, создать новое оригинальное произведение, отобразить другие стороны жизни, раскрыть новые грани своего большого таланта...

После XX съезда партии создалась гораздо более благоприятная обстановка для творческой работы, создались новые предпосылки для смелого новаторства, для творческого, активного вторжения художника во все сферы жизни общества.

Деятельность Коммунистической партии Советского Союза, выражающей интересы и чаяния народа, смело прокладывающей путь в неизведанное будущее, — вдохновляющий пример новаторства для писателей, для всех творческих работников.

Борьба с идейными шатаниями некоторой части художественной интеллигенции была борьбой за ленинскую партийность и народность литературы и искусства, за утверждение главной линии их развития. Потачка неверным взглядам и настроениям, бездействие в отношении искренне заблуждавшихся творческих работников или, тем более, демагогических элементов означали бы уступку буржуазной идеологии, ослабление идейной мощи социалистического искусства.

Третий съезд писателей СССР, состоявшийся в мае 1959 года, продемонстрировал горячее стремление представителей многонациональной советской литературы к единству и сплоченности, консолидации всех сил на принципиальной партийной основе, решительно осудив проявления ревизионизма, с одной стороны, догматизм, вульгарный социологизм и сектантство — с другой.

В Приветствии Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Третьему съезду писателей СССР прозвучал призыв к писателям крепить связь с жизнью народа, правдиво и ярко раскрывать красоту его трудовых подвигов, искрененя пережитки прошлого в сознании людей, создавать искусство, способное вдохновлять миллионы и миллионы строителей коммунизма на новые большие дела.

Впервые, пожалуй, в партийных документах столь большое внимание было уделено художественному уровню литературы. Партия никогда не игнорировала эстетические критерии литературы и искусства, как это хотели бы представить некоторые наши недруги: в партийных документах, в практической деятельности партии критерий художественности всегда считался необходимой предпосылкой создания произведений литературы и искусства. Естественно, что на более ранних этапах жизни советского общества, особенно в двадцатые годы, акценты делались на идейном содержании

литературы. В центре внимания было направление ее развития.

К Третьему съезду писателей СССР советская литература накопила богатый идейный опыт, достаточный для того, чтобы, не снимая, разумеется, лозунга борьбы за главную линию ее развития, со всей силой и значительностью сформулировать требование о повышении ее художественного критерия.

То, что сказано по этому поводу в Приветствии Центрального Комитета КПСС Третьему съезду писателей СССР, имеет огромное принципиальное значение. Речь идет о создании великой литературы коммунизма, литературы небывалого еще идейно-эстетического богатства.

«Большие идеи требуют высокого мастерства, героические характеры — достойного художественного воплощения, — говорится в Приветствии. — Народу нужна литература, которая воспитывает и учит человека правдой и красотой художественных образов, духовно обогащает его, расширяет его кругозор, раскрывает рост сознательности людей в процессе коммунистического строительства. Нашему обществу в особенности нужна литература, в которой актуальные темы современности получают яркое художественное воплощение».

Отрицательное влияние культа личности на литературу сказалось, между прочим, в том, что он ограничивал эстетические вкусы и писателей и читателей, при этом господствовал отнюдь не безупречный вкус одного человека, к которому должны были приспосабливаться все другие. Призывая писателей к совершенствованию художественного мастерства, партия отбросила догматические представления о социалистическом реализме как некоем унифицирующем творческие индивидуальности методе. Еще в 1957 году в Приветствии ЦК КПСС Всесоюзному съезду советских художников говорилось о том, что метод социалистического реализма несовместим с какими-либо застывшими догмами и схемами, он открывает широчайший простор для смелого проявления творческой индивидуальности, для многообразия форм и жанров. Этот тезис находит развитие в Приветствии ЦК КПСС Второму съезду композиторов (1957 г.), Третьему съезду писателей.

На Третьем съезде писателей СССР большое внимание было уделено критике, играющей значительную роль в борьбе за идейно-эстетический уровень литературы.

Велика роль критического слова. Даже крупный художник, требовательно относящийся к своему творчеству, ждет этого слова о себе — заинтересованного и дельного критического слова. Как горько сетовал Пушкин на то, что критика, кроме мелких уколов и некомпетентных суждений, ничего о нем не сказала при жизни. «Критики наши говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно», — с иронией замечал великий поэт.

В нынешней критике надежды возлагаются на многих одаренных, честно работающих критиков. Им предстоит, преодоле-

вая еще имеющие место групповые пристрастия, вкусовщину, субъективизм, бережно и по-хозяйски выделять в книжном потоке истинные ценности, нужные народу в его трудном походе к коммунизму.

Не будет преувеличением сказать, что партийная политика в этом вопросе — в борьбе за эстетическое качество литературы — способствовала значительному оживлению критики и росту ее профессионального мастерства. В период культа личности критика зачастую была нацелена на социологический анализ произведений литературы и всего литературного процесса. Этот анализ был подвержен греху догматизма и вульгаризаторства. Эстетический анализ был вовсе не в чести и нередко сводился к общему, не отягощенному аргументацией замечаниям или, наоборот, ограничивался частными замечаниями, касающимися скорее редакторской правки, а не критического разбора.

В последние годы наша критика развивалась в ином направлении, она искала различные формы синтеза, не отделяя содержание от формы, идею от образа. Собственно, это и есть самая конструктивная форма критического анализа, когда рассматриваются идейно-художественные особенности произведения, когда литературный процесс видится не только как борьба и утверждение идей, но и как движение вперед в художественном развитии народа, всего человечества.

Нельзя сказать, чтобы процесс обогащения критики шел ровно и без потерь. Вульгарно-социологические извращения времен культа личности вызвали ответную реакцию, появились статьи и рецензии, игнорирующие идейное содержание произведений, написанные с эстетских позиций. На этой же почве пренебрежения к идейной основе произведения возникла получившая распространение среди некоторой части литераторов теория «единого стиля», целиком оторванная от классовой, социальной природы искусства. Теория умозрительная, эстетская и по сути дела допускающая идею мирного сосуществования в идеологии.

На страницах печати, в устных дискуссиях порою еще нет-нет да и вспыхивают перепалки по поводу того, что же важнее в литературе — «что» или «как»?

Жалкие, бессильные потуги литературных староверов! Ныне у нас сформировалась целая плеяда критиков и литературоведов разных поколений, уверенно овладевающих различными формами идейно-эстетического анализа, умеющих осмысливать литературный процесс, делать научные выводы и обобщения.

По-настоящему твердо и уверенно наша критика завоевывает права гражданства в литературе, уважительное к себе отношение именно в последние годы, после Третьего съезда писателей СССР. Призыв партии к повышению художественного уровня литературы нашел горячий отклик на съезде.

Мысли и пожелания писателей, делега-

тов съезда, были хорошо выражены в его резолюции.

«Третий съезд писателей СССР,— говорится в резолюции,— прошедший под знаком пристального внимания к проблемам мастерства, убежден, что на современном этапе развития культуры перед советскими литераторами уже в полном объеме стоит задача создания произведений того «действительно нового великого коммунистического искусства», о котором в свое время говорил В. И. Ленин. Никогда еще с такой остротой не ощущалась всеми необходимость повышения уровня мастерства, художественного качества произведений. Подлинное мастерство включает в себя глубину познания жизни, умение отбирать наиболее характерный жизненный материал, писать ярко, сильно и вдохновенно, искусно пользоваться богатствами родной речи. Истинно художественное произведение — всегда подвиг. Искусство настоящего мастера исключает серость, штамп мысли и ее беспомощное, бесцветное выражение, характерное для ремесленничества. Всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении, должна быть создана в писательской среде атмосфера нетерпимости к фальши и посредственности, атмосфера высокой требовательности к рукописям и книгам».

Прекрасная программа!

Осуществление ее — дело нелегкое и непростое.

Серость и посредственность живучи, они обладают большой пробойной силой и не перестают угрожать литературе. Теперь, однако, все реже удается прикрыть серость и посредственность щитом актуальности. Когда встречается некая беллетризованная иллюстрация к жизненно важным проблемам, то читатель не находит в ней главного — художественного открытия.

Не преуменьшая разрушительного воздействия художественно слабых произведений на эстетические вкусы читателя, можно, однако, высказать предположение, что недалеко уже то время, когда так называемый рядовой, массовый читатель будет еще чаще сам выносить безошибочный приговор серости и посредственности. Однако ныне критика особенно призвана оберегать эстетический вкус читателя от дурного воздействия, воспринимать, развивать его.

Ретроспективно оценивая сейчас путь развития советской литературы после XX съезда партии, можно сделать такой вывод: 1956—1959 годы были годами острой борьбы за главную линию развития литературы, против идейных шатаний, против анархистского отрицания партийного руководства литературой и искусством. Эта борьба завершилась полной победой линии партии, победой здоровых, идейно закаленных сил советской литературы. Третий съезд писателей явился важной вехой в развитии советской литературы: впервые с такой полнотой и ясностью, с такой определенностью была сформулирована программа борьбы за художественный уровень литературы.

Сама же литература обогатилась за этот период многими значительными произ-

ведениями, где зрелость и самостоятельность художественного мышления сочетались с новаторством содержания и формы, идейной страстностью. И здесь не обойтись без перечисления хотя бы некоторых заметных произведений прозы, поэзии и драматургии, в иных случаях, возможно, задуманных и бывших «в работе» раньше, до 1956 года и даже до 1953 года, но уже освещенных новым временем, пронизанных идеями XX съезда партии. В прозе это такие разные по значению, по-своему острые и современные, вызвавшие широкий отклик произведения, как вторая книга романа «Поднятая целина» М. Шолохова и его же рассказ «Судьба человека», «Русский лес» Л. Леонова, романы: К. Симонова «Живые и мертвые», Г. Маркова «Соль земли», В. Кочетова «Братья Ершовы», Г. Николаевой «Битва в пути», П. Нилина «Жестокость» и «Испытательный срок», Ф. Абрамова «Братья и сестры», В. Закруткина «Сотворение мира» (1 книга), М. Ибрагимова «Слияние вод», Б. Кербабаева «Небит-Даг», В. Кожевникова «Заре навстречу», Б. Полевого «Глубокий тыл», В. Тендрякова «За бегущим днем», повести и рассказы: В. Солоухина, С. Антонова, Ю. Рытхэу, Ю. Казакова, Ч. Айтматова, И. Лаврова, Ю. Нагибина, В. Липатова, А. Рекемчука, А. Кузнецова и других.

В это же время публиковались главы из нового произведения А. Твардовского «За далью — даль», параллельно шла работа над поэмой «Теркин на том свете», вышли в свет монументальная «Середина века» В. Луговского, поэма М. Луконина «Признание в любви», поэмы Вас. Федорова, стихи и поэмы Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова, М. Рыльского, Н. Асеева, П. Бровки, М. Турсуна-заде и целой плеяды молодых поэтов.

На сцены театров пришла «Третья патетическая» Н. Погодина, завершающая трилогию о В. И. Ленине, «В добрый час!» и «В поисках радости» В. Розова, «Барабанщица» А. Салынского, «Иркутская история» А. Арбузова, пьесы С. Алешина, А. Софронова, А. Штейна.

Далеко не полный этот перечень произведений литературы дает все же представление о диапазоне творческого исканий, о многообразии творческих индивидуальностей и широких возможностях их проявления.

В партийных документах этого периода по вопросам литературы и искусства нашло дальнейшее развитие ленинское учение о партийности художественного творчества как органической потребности души художника, естественном следствии его убеждений, его живого и повседневного участия в борьбе народа за новую жизнь. Еще в 1954 году, на Втором всесоюзном съезде советских писателей, прозвучали широко известные слова М. Шолохова: «О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат пар-

тии и родному народу, которым мы служим своим искусством».

М. Шолохов выразил то, что могло бы повторить подавляющее большинство советских писателей, кроме тех немногих, кто время от времени поддается влияниям привнесенной извне и глубоко чуждой реалистическому искусству «моды», кто озобочен скорее угождением этой «моды», чем служением истинному искусству.

Решительно выступая против понимания свободы творчества как анархического своеволия, наша партия отстаивает ленинские принципы партийного руководства литературой и искусством, сплачивает деятелей литературы и искусства для решения общих задач коммунистического воспитания народа. Общие задачи — это проведение главной линии в развитии литературы и искусства, которая предусматривает «укрепление связи с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия социалистической действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, подлинно коммунистического, и обличение всего того, что противодействует движению общества вперед» (Программа КПСС).

В Программе партии нашел краткое теоретическое обобщение опыт развития нашей литературы и искусства. В нескольких программных тезисах нашло отражение и то, чем обогатилось за последнее время ленинское учение о литературе и искусстве.

Коммунистическая партия всю свою деятельность основывает на полном доверии к народу, ибо она, эта деятельность, ведется во имя интересов народа. Именно поэтому на своем XXII съезде она вновь решительно и бескомпромиссно осудила культ личности, вскрыв новые чудовищные нарушения законности, обнажила перед всем народом подоплеку антипартийной деятельности группы фракционеров, пытавшихся помешать проведению в жизнь курса XX съезда и таким образом скрыть следы своего преступного участия в массовых репрессиях и расправе над видными деятелями партии и государства. Был дан бой и на таком участке, где последствия культа личности преодолевались порою болезненно, трудно, — в области идеологии, человеческого сознания, духовной жизни общества. Это был бой пержиточным явлениям культа личности, инертной психологии, догматическому мышлению.

Писатели, выступавшие на съезде, выразили общее понимание всей значительности и сложности задачи, которую партия поставила перед литературой и искусством на ближайшее будущее, понимание того, что впереди — путь смелых дерзаний и поисков, хотя сама конечная цель ясно и отчетливо сформулирована в Программе партии.

XXII съезд КПСС стал для советской литературы, как и для всего нашего народа, для международного коммунистического и рабочего движения, воодушевляющим событием неопределенного значения. Продолжая курс XX и XXI съездов, он открыл новые возможности в художественном воспроизве-

дении тех сторон недавнего прошлого, которые по понятным причинам оставались белым пятном на карте литературы.

Так появилось в печати новое произведение А. Твардовского «За далью — даль», масштабно и вдохновенно запечатлевшее наше время со всеми его противоречиями. Так появился в печати и ряд других талантливых произведений, например, повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где с большой художественной силой раскрывается картина страшного произвола бериевских лагерей, подавления человеческого достоинства, унижения личности. Произведение Солженицына показывает читателю глубоко аморальную, антиобщественную природу культа личности. Это не должно повториться! — вот главный вывод, к которому приходит читатель по прочтении этой гуманной книги.

Материалы съезда партии вооружили художников слова более глубоким пониманием жизненных процессов, происходивших в 30-е, 40-е годы и в начале 50-х годов, помогли увидеть огромную созидательную деятельность партии и народа и в период культа личности. Вместе с этим надо было пристальнее взглянуть в то, что получило название последствий культа личности.

Однако произведения прозы, поэзии и драматургии последних лет, затрагивающие тему культа личности, сильны скорее пафосом отрицания, пафосом борьбы, чем художественным исследованием явления. Более тонкое, более труднодостижимое дело — художественное исследование социальной природы пережиточных культовых явлений — пока удается в литературе не часто.

На каждом важном этапе общественного развития партия в той или иной форме выдвигает перед литературой и искусством определенные задачи. Но, как показывает опыт, нужна практическая работа с творческой интеллигенцией, постоянное приобщение ее к текущим делам партии и государства, внешней и внутренней политике.

В течение последнего десятилетия условия общественной жизни в нашей стране все более и более благоприятствовали развитию литературы и искусства, и развитие это шло на здоровой основе, по восходящей линии, хотя, как показывает опыт, некоторые отклонения от общего, намеченного партией курса вносили известный диссонанс, подрывали идейное единство творческой интеллигенции.

Такая ситуация, например, создалась в самом начале 60-х годов, когда активизировались формалистические тенденции в изобразительном искусстве, литературе, музыке, кино и театре. Нарочитая усложненность и изощренность формы, самоцельное формотворчество, лишенное какого бы то ни было смысла, стали своего рода «модой», захватившей некоторую часть молодых творческих работников, а реализм и социалистический реализм третировались как якобы устаревшие, консервативные.

Формализм и тем более абстракционизм, который тоже нашел своих приверженцев среди молодых художников, воз-

никли на чуждой нам идейной основе, на чуждых классовых позициях. Допустить их сосуществование наряду с социалистическим реализмом — значило стать на позиции мирного сосуществования в области идеологии. Но партия всегда решительно и последовательно выступала против любых проявлений буржуазной идеологии, в том числе в литературе и искусстве. Так и на этот раз идея мирного сосуществования всех направлений в искусстве, нашедшая косвенное теоретическое обоснование в теории единого современного стиля, была отвергнута и раскритикована как вредная, капитулянтская.

Теория «современного стиля», стирающая классовые, мировоззренческие грани индивидуальности художника и сводящая понятие современности к некоторым чисто формальным приемам письма, композиции, создания образа, дезориентировала какую-то часть творческих работников, критиков и теоретиков в оценке конкретных явлений литературы и искусства и поощрила формалистические тенденции.

Нет прямых оснований утверждать, что именно теория «современного стиля» породила идею сосуществования всех направлений в искусстве без учета их идейных, классовых позиций; возможно, они возникли на нашей почве, а скорее — привнесены извне, независимо друг от друга, и даже наверное независимо, но связь их между собой несомненна. Теория «современного стиля» оправдывает сосуществование даже противоположных, исклещающих друг друга направлений в искусстве.

Стремление внедрить в нашу творческую жизнь чуждые социалистическому реализму принципы искусства вызвало ответную реакцию со стороны всех, кому дороги традиции идейности, гражданственности, коммунистической партийности в художественном творчестве. Это внесло особую остроту в дискуссию.

Сторонники сосуществования различных направлений выступали под лозунгом свободы творчества, вкладывая в это понятие некую анархическую разновидность буржуазных концепций «свободы творчества». Однако свобода для себя, свобода творить искусство для немногих и презирать мнение и оценку народа оборачивалась неприязнью реалистического искусства. В связи с этим кое-где в творческих союзах, объединениях и секциях создавалась атмосфера недоброжелательства, взаимных обвинений, резких, неговорящих суждений, не подкрепленных добросовестной аргументацией и т. д.

Наша общественность решительно осудила попытки противопоставить друг другу старшее и молодое поколения советских людей, найти художественный эквивалент якобы существующей проблеме «отцов и детей». Причем в некоторых произведениях «отцы» выступали той косной силой, ответственной за культ личности и зараженной его психологией, которая не понимала «детей», не понимала молодое поколение и стояла на пути его стремлений к духовной

независимости, свободе, часто понимаемой как анархическое своеволие.

Не всем сопутствовала удача в художественном постижении прошлого, связанного с культом личности. В ряде произведений обнаружилась тенденция одностороннего освещения событий, фактов беззакония, произвола, злоупотребления властью. Партия обратила внимание на то, что подобный подход к изображению и оценке целого периода в жизни советского государства искажает истинную историю народа, осуществившего в эти годы великие преобразования, сделавшего гигантский скачок в строительстве социализма.

Эти проблемы обсуждались на июньском Пленуме ЦК КПСС (1963), где были подтверждены основные принципы политики партии в области художественного творчества.

Волна дискуссий 1963 года вновь выдвинула в центр внимания вопрос о месте художника в рабочем строю, о его ответственности перед партией, перед народом. Художник не может занимать межклассовой позиции в классовой борьбе, ибо кто не займет своего места в строю борцов за коммунизм, тот может оказаться по другую сторону баррикад. В мире идет непримиримая борьба двух идеологий — социалистической и буржуазной, и для деятелей советской культуры в этой борьбе может быть только один путь: активно служить своим талантом великому делу партии, бороться за торжество идей марксизма-ленинизма.

Ленинский принцип партийности — партийное руководство развитием литературы и искусства — зиждется на том, что без организационного начала не может существовать не только социалистическое общество, но и никакое общество, никакая общественная система, даже самый маленький коллектив людей. Предоставить литературе и искусству развиваться стихийно, без направляющего руководства КПСС, значит создать почву для анархического своеволия, поощрить абстракционистские, формалистические тенденции, поощрить сосуществование различных направлений, чуждых социалистическому искусству.

Широкое обсуждение этих вопросов на многочисленных дискуссиях и собраниях способствовало сплочению творческой интеллигенции вокруг партии, ее главных задач в строительстве коммунизма.

Важным итогом дискуссий было заметное улучшение всей атмосферы жизни творческих союзов, осуждение групповой борьбы, возросшая ответственность каждого художника перед народом. Это состояние хорошо выразил Расул Гамазов: «Сейчас в литературе наступило время творческих, полезных споров и обсуждений. И те его участники, что стоят за здоровое идейное начало в искусстве, что несут в себе нравственную цельность, гражданское достоинство, те, что талантливо, сердцем создают свои произведения, стали еще дороже, ближе народу».

Несомненная польза идейно-творческих дискуссий состоит также и в том, что ра-

ботники литературы и искусства обрели более четкое понимание своих насущных задач, яснее представили перспективу общественного развития и в свете этой перспективы обогатились новым знанием для трезвой и объективной оценки прошлого, получили новый заряд творческой энергии.

...Летит быстротечное время, меняя краски зимы, весны, лета и осени. Листки календаря отсчитывают дни, недели, месяцы. Скоро мы отметим десятилетие со времени XX съезда КПСС. Сколько значительных событий, оказавших влияние на судьбы народов и государств, вместились в этот небольшой сравнительно отрезок времени! Как изменилась жизнь в нашей стране и какой гигантский шаг вперед сделала она в своем развитии!

И может быть, главным итогом деятельности партии в идеологической, духовной сфере явилось высвобождение огромных творческих сил народа из-под сковывающего влияния культа личности. Да, прав поэт:

...Должно быть,
В дела по-новому вступил
Его, народа, зрелый опыт
И вместе юношеский пыл.

Не минуя горькой темы недавнего прошлого, беспощадным, психологически точным анализом, с болью и горькой иронией воскрешая трагические страницы жизни народа, А. Твардовский выразил в поэме «За далью — даль» преодоление культовой психологии и нравственной скованности, он показал, что «народ добрее, с самим собою мягче стал» и развернул широкую панораму строительства, дал поэтическую кардиограмму духовной жизни страны.

XX съезд КПСС вдохновил творческих работников на новаторские поиски, он сломал, как говорил В. Луговской, много «линейных схем, декларативных канонов», иссушавших живой родник творчества. В литературе, особенно в поэзии, это дало себя знать довольно скоро.

Нельзя, конечно, преуменьшать трудности идейной, психологической перестройки, преодоления инерции некоторых годами внедрявшихся представлений. Процесс этот шел нелегко. Возникали острые идейно-творческие проблемы в борьбе за правильную линию развития литературы и искусства. О них говорилось выше. Заслуга партии в том и состоит, что она тактично и вовремя направляла и направляет творческих работников, помогает им найти верную ориентацию в той или иной сложной жизненной ситуации.

Есть ли основания говорить о серьезных успехах художественного творчества за последнее время?

Вот некоторые произведения прозы: «Тронка» О. Гончара и «Шаги по росе» В. Пескова, «Иду на грозу» Д. Гранина и «Утоление жажды» Ю. Трифонова, «Солдатами не рождаются» К. Симонова и «Эхо войны» А. Калинина, «Липяги» С. Крутилина и «На Иртыше» С. Залыгина, «Тишина» Ю. Бондарева и «Степные баллады» И. Друцэ. Этот список легко пополнить, но напомним еще о новых книгах стихов и поэмы Л. Мартынова и Е. Винокурова, Ю. Марцинкявичуса и О. Сулейменова, А. Прокофьева и С. Видулова...

Каждая из этих книг могла быть написана только после XX съезда партии. Не по теме и жизненному материалу — это и так ясно, — а по своему пафосу, по остроте и своеобразию художественного постижения важнейших проблем современности, по отсутствию каких бы то ни было компромиссов с правдой жизни, сколько бы порою жестокой она ни была.

Это великое завоевание литературы последних лет на главной линии ее развития.

Надо полагать, что важнейшие проблемы развития советской литературы будут предметом широкого и заинтересованного обсуждения на писательском форуме России — II съезде СП РСФСР.

ПОЭМЫ НАШИХ ЛЕТ

В продолжение нескольких лет центром разговора о современной поэзии становилась обычно лирика. Конечно, не бывали и поэмы В. Луговского, Василия Федорова, «Строгую любовь» Я. Смелякова, «Признание в любви» М. Луконина, «Русскую красавицу» С. Смирнова и, разумеется, «За далью — даль» А. Твардовского...

А все же особо замечалась лирика, да и поэмы часто рассматривались с точки зрения «лидерства» в них лирических начал. Акцент делался на гражданских качествах лирической поэзии.

«...Молодые по преимуществу пишут лирику,— отмечал Н. Грибачев.— Но ведь лирика не ограничивается ни любовью или разлукой, ни соловьем, ни даже тонкими философскими этюдами и экспозициями — ее горизонты простираются к основным думам и событиям эпохи, уходят под солнце и грозы века».

Пристальное внимание к лирике не случайно: она стала живым, оперативным, эмоциональным выразителем новых общественных настроений в 50—60-х годах. Бурный приток молодых поэтов, прежде всего заявлявших о себе лирическими стихами, также делал лирику наиболее заметной.

Но в обществе и литературе назревают новые думы, мечты, устремления. В поэзии происходит своеобразная жанровая передислокация. Это не значит, что лирика теряет свое значение. Нет, она развивается еще шире, разнообразней. Но 60-е годы все очевидней становятся в поэзии «годами поэм». Я имею в виду не численное пополнение списков, а весомость поэм, их стержневую роль в общей картине современной советской поэзии.

Поэмы выдвинулись на передовую линию поэзии, потому что созданы такие произведения, как «За далью — даль» А. Твардовского, «Человек» Э. Межелайтиса (хотя это сборник стихов, но по существу он является поэмой), «Суд памяти» Е. Исаева, «Иди, сержант!» Н. Грибачева, «Кровь и пепел» Ю. Марцинкявичуса, «Сердце на орбите» С. Смирнова, «Любава» Б. Ручьева, «Реквием» и «Письмо в тридцатый век»

Р. Рождественского, «Теркин на том свете» А. Твардовского, «Лонжюмо» А. Вознесенского, «Песня про атамана Семена Дежнева» С. Наровчатова, «Мать» С. Острового, «Полет сквозь бурю» М. Бажана... Не претендую на полноту перечислений.

Ясно главное — о поэмах стоит говорить как о примечательном движении в современной советской поэзии, о ее социальной и нравственной многогранности, об углублении гражданственности и разнообразии художественного поиска.

«Я думаю, жанр поэмы переживает сегодня серьезные трудности,— пишет критик В. Огнев.— Здесь, как нигде еще, сказывается отсутствие широкой авторской концепции, панорамности видения, а также стилевой эклектизм».

В жанре поэмы действительно есть трудности. У некоторых поэтов этот жанр аморфен, художественно не строг и внутренне закономерно не организован. Однако развитие поэзии за последнее время дает основания и для новых выводов. Поэтические поиски последних лет как раз свидетельствуют об определении широкой авторской концепции. Стоит внимательней приглядеться к положительному художественному опыту.

В свое время было много сказано о значении поэмы А. Твардовского «За далью — даль» в советской поэзии — об историзме поэмы, о смелости раздумий и оценок эпохи, характерной тем, что «не останавливалось время, но становилось иным», об органическом соединении лирики и эпики... Эта линия глубокого поэтически философского осмысления времени больших общественных перемен, стремительно летящего дня продолжается.

1

Примечателен большой успех книги стихов литовского поэта Эдуардаса Межелайтиса «Человек». Она получила свое название по одному из программных стихотворений:

Так стою:
Прекрасный, мудрый, твердый,
Мускулистый, плечистый.
От земли вырастаю до самого солнца

И бросаю на землю
Улыбки солнца.
На восток, на запад,
на север, на юг.
Так стою:
Я, человек,
Я, коммунист.

(Перевод Б. Слуцкого)

Это ключевые строки. А сконцентрированные в них идеи проходят через весь сборник, наполняясь все новыми и новыми образами величия, силы, красоты человека-коммуниста. Одухотворяют они и последующие стихи поэта, его сборник «Кардиограмма», циклы «Человек и искусство», «Южная панорама», «Из новой книги стихов», «Поэт и человек».

Стихи Э. Межелайтиса убежденно, наступательно утверждают концепцию современного передового человека — делателя жизни. Это не отвлеченный человек, а человек во плоти и крови, любящий и переделывающий мир. Его идейно-мировоззренческая конкретность («Я, человек, я, коммунист») открывает перед ним путь к освоению всего лучшего, ценного общечеловеческого достояния.

Новый социальный мир зиждется не на аскетизме, не на подавлении лирических начал. Наоборот, он вбирает в себя все истинно человеческое, наполняет глубоким духовным содержанием жизнь человека и общества. Единство личного и коллективного взаимобогащает их.

Традиции прославления деятельного, бесстрашного в познании жизни, безостановочного в преобразовании ее человека приобрели огромную силу в искусстве социалистического реализма. Горьковская традиция живет и обретает новую мощь.

Социалистический реализм вел и ведет свое гуманистическое наступление в борьбе с буржуазными ницшеанскими идеями «избранничества», возвышения «сверхчеловека» над серой, инертной толпой. Социалистическому гуманизму противостоят буржуазно-мещанские концепции, в конечном счете запирающие человека в клетку изолированного, индивидуалистического бытия, подбрасывающие ему ложно-утешительные, бесполезно-филантропические упования на личную независимость.

Тема человека по сути своей ныне остро политическая. Коммунизм создает совершенно новые связи человека и общества, устраняет причины, порождающие отчуждение личности от общественных интересов. Поэтому тема человека в современном социалистическом искусстве не ограничивается поэтическими символами, а устремлена к художественному воплощению реального духовного богатства новой личности.

Такое мироощущение личности все сильнее выражает современная советская поэзия, что и указывает на закономерность книги Э. Межелайтиса «Человек».

О ней много писали, но надо особо отметить именно ее внутреннее единство, тот общий дух, который сводит отдельные стихи в главы цельной поэмы. Реальное духовное богатство нового в истории человека автор воплощает в драматичных и лирич-

ных, в бытоконкретных и романтических стихах. Это его пафос и цель. На пути к ней есть стихи с разной степенью удачи: порой видна затянута риторика, иногда чувствуется «теснота ассоциаций». Впрочем, мы судим о стихах по переводам, на которых сказываются и вкусы переводчиков. Но несомненно поэтическая многогранность стихов Э. Межелайтиса со сложным переплетением нежно-лирических, сурово-трагических, возвышенно-романтических мотивов. И еще отличительна у него, я бы сказал, поэтическая мускулистика.

В шар земной упираясь ногами,
Солнца шар я держу на руках.
Так стою меж двумя шарами —
Солнечным и земным...

(«Человек».)

Перевод Б. Слуцкого)

Может показаться — а ведь когда-то была у нас пролеткультовская лирика с пристрастием к «шароземным» планетным метафорам — не отсюда ли это? Нет, не отсюда, хотя вовсе не от всего мы должны отказываться и в наследстве первых поэтов Октябрьской революции. Символика планетарного характера в стихах Э. Межелайтиса не оторвана от живых будней жизни, и после романтического запева поэт обостренно прислушивается к тонким оттенкам человеческих чувств, переживаний, настроений. Волнуют его «сосна и стебель ржи. Чашоба труб, и руки, и жаворонок, льющийся звеня...» («Лира»).

О руках он пишет не раз, вглядывается в них как в совершенно удивительное создание природы.

Широким потоком вливаются в его стихи раздумья о призвании и счастье человека, о труде и мире, о защите всего живого:

Годятся

тяжелые руки мои
для каждого нашего правого дела —
чтоб красное знамя
нести сквозь бой,
вытаскивать раненых из-под обстрела,
и хлеб замесить,
и цветы поливать,
и черным асфальтом шоссе покрывать,
и выстроить — прочно,
и выстрелить — метко,
и выпустить птицу на волю из клетки...

(«Руки».)

Перевод Б. Слуцкого)

Можно сказать, поэт совершает «путешествие по человеку». После программно-романтических стихов «Лира» и «Человек» развертывается картина жизни в стихотворениях «Руки», «Кровь», «Сердце», «Глаза», «Голос», «Частица матери-земли», «Волосы», «Губы», «Мысли», «Любовь»... Так своеобразными ступенями углубления и детализации темы становятся все стихотворения (тридцать одно) сборника. Кстати, это лишний раз дает основания воспринимать сборник как сложившуюся поэму с оригинальным сюжетом и органически слитным развитием художественных образов.

Завершает ее стихотворение «Икар». Однако от мифического персонажа здесь только имя. Автор не вступает на проторенную дорожку сравнений мифического юноши с первым советским космонавтом. Поэт сам мысленно разговаривает с ним, а через

него — со временем. Поэтический прием приобретает свежесть, новизну, дает широкий простор лирическому чувству.

Апрельское утро само как заглавье поэмы, которой страна открывает великую книгу. Я знаю, я строчки сегодня в нее не прибавлю — я слишком волнуюсь... Я просто припоминаю...

Финал книги возвращает нас к ее основной теме и прочерчивает новые ее горизонты:

Чего же тебе на земле не хватает,
тебе, коммунисту?
Всего только — звезд под ногами.
Всего лишь — Вселенной, как сердце
распахнутой настежь.

(Перевод С. Ломинадзе)

Книга «Человек», как и другие циклы Э. Межелайтиса, разнообразна ритмически. Многофигурна ее строфика; органично сочетаются в сборнике четверостишия, «лесенка», ритмическая проза... И все это естественно выявляет сложное диалектическое развитие идей высокого гуманизма, одновременно символизирует и детализирует, пафосно возвышает образ «прекрасного, мудрого, твердого» человека. Критик В. Огнев нашел верное определение особенностей стихов Э. Межелайтиса, отметив в них живое соединение «остро современной проблематики, плоти реального факта и философской глубины...»

Проблемы — все мироздание и отдельный человек, океан людской и малая капля в нем — предстают у Э. Межелайтиса не в трагическом разрыве, не в непримиримом антагонизме. Его концепция человека, как отмечалось, по истокам и развитию — горьковская концепция. Она по сути своей полемически заострена против принижения и обезволивания личности, устремлена к слиянию капли и океана.

Недаром соседствуют в книге стихотворения «Капля» и «Океан».

Нелегка
правда трудная капли:
я точку берега,
разбиваюсь о камни.
Каждый вздох
подчиняю заветам:
выполняю свой долг —
пребывать человеком.
Тем живу!
Тем и славен на свете...
А потом — в синеву
пусть несет меня ветер!..

(Перевод С. Куняева)

Обратим внимание на закономерность, с какой лирический монолог переключается в драматический диалог поэта с океаном, тихое раздумье сменяется бурным эмоциональным выражением:

Бушуйте, валы океана!
Я — с вами!
Зальем эту старую землю,
Украшим волнами.
О, море, с его берегами,
С его островами,
Я — с вами!
Ты — с нами!..

(Перевод Б. Слуцкого)

Стихи Э. Межелайтиса — одно из ярких свидетельств усиления и углубления философских мотивов в современной советской поэзии.

Повышается также роль и значение стихов публицистических. В последние годы публицистическая лирика проходила через своеобразный трудный перевал. Она должна была преодолеть инерцию иллюстративности, легковесную выпренность, получившие распространение в период культуры личности. Ощущалась потребность естественного слияния теплоты лиризма и мужественности эпики, смелой ищущей мысли. Это углубляет лирику, усиливает ее общественный резонанс.

Но было много и таких стихов, которые не расширяли, а сужали границы лирики, замыкали ее камерным самовыражением, противопоставляли интимность «общественному миру» современника.

Время демократизации зовет к новому развитию, к усилению публицистической лирики и эпики. Сам термин «публицистическая поэзия» не следует обходить, замалчивать или предавать забвению, ибо он выразителен для определения гражданской поэзии большого общественно-политического наполнения.

И мы закономерно обращаемся к нему, когда речь идет о таких произведениях, как поэма Егора Исаева «Суд памяти».

Большим числом рецензий отмечен ее успех у читателя. Почему же поэма «Суд памяти» оказалась столь актуальной, прозвучала так свежо и сильно? Дело тут и в ее теме, и в ее пафосе, и в ее художественном своеобразии.

Это поэма остро политическая, с прямо произвольным выражением конфликта между социализмом и фашизмом. «Суд памяти» — пример того, как коммунистическая гражданственность окрыляет поэзию, усиливает значимость поэтико-публицистического слова.

Вернувшись к войне на новом историческом рубеже, Е. Исаев не стремился восполнять подробности трагедийных лет. Эмоциональным лейтмотивом он сделал именно тему суда. Хотя в поэме есть драматический сюжет — изображаются три немецких рядовых солдата, по-разному относящиеся к войне, — она развертывается в сущности как страстный авторский монолог.

В статье «Всей многотрубной медью», наиболее детальном разборе «Суда памяти», критик Валерий Дементьев обратил внимание на то, что, за исключением последней главки, автор поэмы «нигде прямо не выступает от собственного имени». И вместе с тем критик правильно подчеркнул значение «обобщающих публицистических отступлений».

В «Суде памяти» мы видим такого лирического героя, который почти не берет слово, редко говорит от первого лица, и тем не менее он глубоко раскрывается как живой характер. За ним — опыт и сила народа, сломившего фашистскую армию. У этого героя право выносить приговор, обвинять военных преступников, требовать от каждого рядового ответственности за мир.

Егор Исаев избрал трудный сюжет, сде-

лав персонажами трех немецких солдат, очертив рядовых с другой стороны баррикады. Такой сюжет фактически полемичен по отношению к той буржуазной западной литературе, которая стремится обходить идейно-политические позиции воюющих сторон, стремится принизить значение Великой Отечественной войны — изображением трагизма фронтовой жизни заслонить реакционный смысл фашистского нашествия.

Революционно-гуманистические позиции советской литературы рассеивают концепции «всеобщего трагизма». Автор поэмы «Суд памяти» увидел и пострадавшего, безногого Курта, и осознавшего личную вину Ганса. Но больше всего, настойчивей всего, суровее всего он ведет речь о Германе Хорсте. А это речь о той националистической настроенности и психологии, которая питает реваншизм, несет угрозу миру. Суд над врагом придает драматический накал поэме «Суд памяти». И это отражается в ее наступательном тоне, в ее публицистической заостренности:

Я каждый шаг твой проследил
И записал к тому же,
От тех мишеней
До могил,
Что указала муза.
И нам священной этот прах,
Мы принимаем близко
И эту явь,
Что рубит шаг,
И ту,
Что в обелисках.
И я встаю.
Тревогу бью
Всей многотрубной медью!..

Как уже говорилось, поэма вызвала много рецензий. Преимущественное внимание в них отдавалось важности темы, остроте и праведности суда памяти, активности в защите мира. Все это верно выражает ее идейный, гуманистический смысл. Однако заметки о художественных особенностях поэмы, которые заслуживают внимания, часто оставались краткими.

Двенадцать небольших глав поэмы не грешат описательностью, они воспроизводят образными штрихами много тех реальных фактов, которые питают раздумья, гнев, ненависть. В них утверждение моральной ответственности отдельного человека за дело мира. Я имею в виду именно лаконичные штрихи, напоминающие о бушевании военных гроз. В такой поэме факты нужны не сами по себе, а как символы, как отметки общеизвестного в памяти человеческой.

Горел Эльзас.
Горел Пирей.
Донбасс.
Гудел фугас
Под лондонским туманом.
И кровь лилась!
Большая кровь лилась
Всевропе́йским пятым океаном...

Строки подобного рода не просто информационны. Они обвинительны, как весь подбор образов и ассоциаций в поэме. Таким приемом автор освобождает повествование от пересказа событий, от обзора подробностей, зато полностью переключает внимание на эмоциональную реакцию лириче-

ского героя. Мы видим в поэме действенность ассоциаций, «уплотненность» образов, смысловую многомерность стихов.

Необычные на первый взгляд сопряжения вещей и явлений оказываются естественными и выразительными. Автор дает нам услышать, как «во весь напор работала земля», увидеть, как, «сойдя на нет, закат вдали разветрился», как летит Земля «с пятью материками и выводами разных островов»...

О смысловой насыщенности ассоциаций особо приходится говорить потому, что за последние годы ассоциативное поэтическое мышление некоторых авторов давало невообразимые скачки в сторону от смысла, порой превращалось в заумь. Однако неприятие заумных трюков не должно восприниматься как пренебрежение к кровным детищам поэзии — ассоциациям, экспрессии, лаконизму, метафорическому языку... Все дело в том, чтобы они не заменяли «работу стиха» версификаторской бессмысленной игрой.

В «Суде памяти» мы видим глубокую, сложную ассоциативность. Она — не только в отдельных строках, но и в развернутых метафорах, ставших как бы опорами или берегами сюжетного потока.

Говорю о символически осмысленных образах стрельбища, пуля, мишеней, сначала фанерных, потом живых...

— Огоны!
И пули из ствола
В мишень
метал
огонь...

Через всю поэму проходят эти образы, проходят и усиливают ее эмоциональное напряжение. Многофигурно обработав образы стрельбища, пуля, огня, автор лаконично изобразил, в сущности, всю биографию Германа Хорста, этого «гордого крестоносца рейха», оказавшегося в результате тем же безработным на том же пустыре-стрельбище.

Вглядываясь в движение развернутых метафор, в переключку строк и в перемены тональности, нельзя упустить из вида еще один образ-символ. Он возникает сначала незаметно, потом становится центром пятой главы, и ощущение его органично во всей поэме. Это — образ Земли, всего света, всего нашего мира.

Собственно, с него начинается поэма, хотя внешне речь идет как будто лишь о Германе Хорсте:

Он шел в засеянный простор
В зарейские поля.
Вокруг него во весь напор
Работала Земля.
Вся до корней напряжена,
Вся в дымке голубой...

Однако это лишь начало темы Земли. Зачин. Наметка. Эмоциональная подготовка к будущему форсированному ее звучанию. Вместе с тем уже сразу стихи эти включают нас в раздумья о судьбах всеобщих. В пятой главе образ Земли превращается по существу в действующий, как бы одушевленный образ поэмы.

Летит Земля
С восхода до восхода,

Из года в год,
 Со скоростью мгновенной,—
 Великая! —
 В ногах у пешехода
 И капельная точка
 Во Вселенной.
 Единая!
 С пятью материками
 И с выводами разных островов,
 Спеленатая мягко облаками.
 Овеянная тысячью ветров,
 Летит Земля.

Тема Земли стала совершенно необходимой, обязательной в этой поэме, объединила конкретные события и устремила к высокой цели революционно-гуманистические идеи суда над реакцией, фашизмом, человеконенавистничеством.

Поэма «Суд памяти» стала одним из ярких и принципиально важных достижений советской поэзии за последние годы. Это достижение и в развитии гражданско-политических и новаторско-художественных традиций поэзии, несущей знамя света, социалистического гуманизма.

3

Подобно тому, как в прозе память войны все вновь и вновь отзывается в художественных произведениях, она сохраняет свою власть, свое гражданско-политическое звучание и в поэзии. Героическую поэму «Кровь и пепел» издал в прошлом году литовский поэт Юстинас Марцинкявичюс. По фактам это напоминание еще об одной народной трагедии — о том, как фашисты с диким изуверством уничтожили деревню Памеркис. Однако сила и современная значимость поэмы — в глубине художественного осмысления героизма, в раскрытии тех социально-исторических конфликтов, которые формируют у одних психологию мужества, стойкости, у других психологию смирения, собственнической индивидуализма, в утверждении борьбы.

Я обвиняю всех, вину во всем
 всех, кто учил литовцев покоряться,
 и прежде всех —
 костел, за то, что он
 учил народ коленопреклонению,
 а на коленях можно умирать,
 а не бороться.

(Перевод А. Межирова)

В искусстве многих стран, переживших муки и зверства фашизма, часты возвращения к трагическим событиям в Освенциме, Лидице, Орадуре, в фашистских лагерях смерти. Не иссякла необходимость в напоминаниях и предостережениях. Но социалистическое искусство не ограничивается темой страдания, оно мобилизует память для усиления революционной солидарности народов, зовет не к выжиданию, а к наступлению на империалистическую реакцию, к предотвращению нового разгула фашизма.

Поэма Ю. Марцинкявичюса не только памятник жертвам гитлеризма, но и оружие против реакции.

Вообще следует подробнее сказать о распространенных в литературе мотивах предостережения — они тем сильнее, тем действенней, чем отчетливей в них беском-

промисные позиции борьбы с социально и психологически определенным противником. Воспроизвести лишь горести, муки, страдания недавнего былого — это лишь часть художественной задачи. Такие изображения способны потрясать, леденить кровь в жилах. Но они становятся истинно гуманистичными лишь тогда, когда заостряют волю к борьбе. Пусть это не новые слова, но их нельзя забывать. И тем более невозможно предавать забвению мотивы стойкости, революционной бдительности, отваги и наступления на врага. Борьба продолжается — в разных формах, с иными тактическими и психологическими тонкостями, — но продолжается. Поэтому память неизменно сливается с делами и целями дней современных. Память служит и должна служить воспитанию человека — борца, гражданина, творца жизни.

Верность этой теме живет в советской поэзии. И эта плодотворная верность расширяет горизонты художественных открытий. Стихи поэтов «шли вперед», обогащались и мужали за последние годы в значительной мере благодаря глубокому чувству верности активным гуманистическим идеалам.

В одном из стихотворений Н. Грибачев задумался над грустной песней о «видениях могил», о «медленных тенях предков», что «приходят к родникам и рекам...». Поэт не отрещивается от печали, но не ищет в ней сладостного, примиряющего утешения. Он пишет в стихотворении «Песня Имы Сумак»:

Ужель и мы когда-то сами
 Уйдем в немьслимую даль,
 Став облаками и лесами,
 В грядущем дне родим печаль,

Натосковавшись в запустенье
 Могилок под травой седой,
 Пройдем, как медленные тени,
 Неразличимой чередой?

Нет, не поверю! Нет, не нашим
 В печали исходить сердцам —
 Грозой, зовущим к бою маршем
 Мы будем слышаться и там,

И там, в той дали самой дальней,
 Над той росой, над той ливной
 Живыми встанем из преданий,
 Чтоб небу бросить вызов свой!

Строки эти смыслом своим переключаются с последними стихами С. Маршака на ту же тему о смертности и бессмертии, о полноте и пафосе жизни человека:

Все умирает на земле и в море,
 Но человек суровой осужден:
 Он должен знать о смертном приговоре,
 Подписанном, когда он был рожден.
 Но, сознавая жизни быстротечность,
 Он так живет — наперекор всему,—
 Как будто жить рассчитывает вечность
 И этот мир принадлежит ему.

Оптимистическое мироощущение, органически свойственное советской поэзии, не означает для нее ухода от конфликтов, драм, противоречий века, не превращается, как говорят противники советской литературы, в бравадные марши веселых ребят. По большому историческому счету именно социальный оптимизм насыщает поэзию и аналитической и эмоциональной силой, по-

могает полной раскрывать духовное богатство человека-гуманиста, человека, борющегося за право, чтобы «мир принадлежал ему».

Вернувшись в поэме «Иди, сержант!» также к памяти войны, Н. Грибачев ведет публицистический спор о том, чему посвящать жизнь, как жить.

**Жизнь одна
и себе до зарезу нужна,
и к исходу, к концу
покатилась война...**

**Ну, а если одна —
для того ли она,
чтоб скулить
и дрожать
от темна дотемна?**

**Да и жизнь ли она,
если славой бедна,
если
жаждой творить
до краев не полна?..**

Поэма «Иди, сержант!» полемизирует и с пацифизмом и с ингиллизмом.

Автор наиболее развернутой рецензии на эту поэму Ал. Михайлов правильно отметил широкие и необходимые «границы условности» в ней, своеобразии монологов майора и сержанта Алексеева, насыщение стихов «полемикой самого современного содержания».

Трудное искусство — соединить в стихах подробности сражений, армейского быта, правду психологии в исключительных обстоятельствах, оправданную условность «спрессованных воспоминаний» воинов. Н. Грибачев справился со сложной композицией — стихи поэмы и «вещны» и эмоциональны. Местами в них сказываются небрежности, возникают приблизительные строки — «тут шастает смерть и всех ее родичей сброд», «не та колгота на виду», в патетическом финале к глаголу «визжат» (правомерно по отношению к пулям) подверстываются «турбины, хлеба, дожди»...

Поэма «Иди, сержант!» тесно связана с лирикой Н. Грибачева, в особенности с лирикой его последних лет, с духом и направлением сборников «Прямой свет», «Полдень», «Сталь и моль». Более того, поэма как бы соединяет в целое публицистические и полемические мотивы и главную тему поэта, которую автор критико-биографического очерка о нем Б. Привалов определил: «Величие и красота героических дел советского человека — ведущая тема в творчестве Грибачева».

Эта формулировка может показаться слишком общей и легко приложимой к творчеству многих других поэтов. Но при всем том, что поэты интересны своеобразием, художественными различиями, не приходится игнорировать их общие социально-политические особенности.

4

Установление общих связей в поэзии определенного времени помогает глубже, многооттеночнее понять своеобразные голоса и поэтические характеры: личное обретает подлинную ценность в неразрывности с

передовыми общественными идеями, настроениями, устремлениями.

Тема красоты советского человека очевидна в таких поэмах, как «Мать» Сергея Острового, «Любава» Бориса Ручьева, «Окнами на зарю» Сергея Викулова. Но именно своеобразие художественных решений придает полифоничность столь широкой, всегда открытой для новаторских исканий теме. Сюжетное повествование у С. Викулова, лирический монолог у С. Острового...

Заздравной одой назвал Сергей Смирнов свои стихи, посвященные Валентине Терешковой, — «Сердце на орбите». Ода — жанр, ставший редкостью в современной поэзии. Правомерен ли он сегодня? Но ведь это все равно, что спросить — правомерны ли гордость народными свершениями, восхищение подвигами, прославление героев?! Можно сказать больше: когда сердце поэта не чутко к прекрасному, героическому, возвышенному в реальной жизни, оно утрачивает нормальный, настоящий пульс.

Самими стихами С. Смирнов фактически защищает права оды — оды «без трескотни, без панибрательства».

К тому же это не реставрация старинных одических приемов. Только почитаемое архаичным слово «вежды» пригодилось автору и без натяжки стало в стих.

В остальном строй стиха С. Смирнова внешне не одичен, а лирически задушевен и сохраняет характерные «смирновские интонации» с шуткой, парадоксом, с переходами от живого юмора к открытому пафосу:

**Реальность
выше и смелее
Наивных сказок-небылиц.
Я видел Вас на Мавзолее,
Среди
особых штатских лиц.**

**Перед Вами — нашей Ярославной —
Они сошлись в полуюльцо
И, может быть,
Конструктор Главный
Сказал Вам
Красное словцо.**

**Как их зовут? — гадать не будем.
Они удар
по силам зла.
Вы поклонитесь этим людям —
За всех за нас,
За их дела.**

**За их особые устои,
За крылья, зримые кругом,
За их
инкогнито святое
Для превосходства
Над врагом.**

Конечно, по одной оде трудно делать выводы о характерных чертах этого жанра в современной поэзии. Однако если вспомнить, что за последнее десятилетие одическое начало явно ощущалось в поэмах и стихах В. Луговского, Н. Асеева, М. Светлова, Э. Межелайтиса, А. Твардовского и других поэтов, можно говорить о его новой жизнеспособности и действительности. Оно не сводится к хвалу, заздравному чествованию той или иной личности, а вбирает в себя раздумья о веке, о революции, о родине, народе, человеке, гражданственности, геро-

изме. Разумеется, вопрос об одических началах и о развитии их в современной поэзии требует особого исследования. Здесь мне хочется подчеркнуть важность этих начал и глубокую их связь с поэтической публицистикой.

Ода «Сердце на орбите» лишний раз доказывает, какой богатый резерв многообразия поэзии заключен и в этом жанре.

Под многообразием нередко понимают преимущественно широкий диапазон поэтических индивидуальностей. Да, это верно. Вместе с тем, многообразие реально выявляется и в том, какими художественными формами пользуется конкретный поэт, как ими овладевает, как их развивает.

К форме, не часто привлекающей ныне внимание поэтов, обратился Б. Ручьев: его поэма «Любава» — повесть в стихах. Рассказчиком выступает главный герой, строитель Магнитогорска рабочий Егор. В 30-е годы повести такого рода занимали заметное место в поэзии, особенно повести о больших социалистических стройках, об Арктике, о новой колхозной деревне. Повествовательно-драматичные сюжеты притягивали А. Безыменского, П. Васильева, А. Твардовского, И. Сельвинского, Э. Багрицкого, В. Луговского, Н. Тихонова, Г. Леонидзе, Я. Смелякова, М. Турсуназаде и других поэтов. За последнее десятилетие в поэзии много говорилось о повышении, даже лидерстве лирических начал, и могло создаться впечатление, будто сюжетно-драматическая поэма уступает место поэме лирической, подчас даже чисто «исповедальной».

Речь может идти о более прочном соединении эпики, лирики, публицистики, о большей сконцентрированности сюжетной формы, о «краткой емкости» событийных конструкций. Во всяком случае, об этом заставляют думать многие поэмы последних лет, не дающие оснований противопоставлять повествовательность и лиризм, сюжетность и раскрытие внутреннего мира лирического героя.

Б. Ручьев питает склонность к сюжетному стиху, что сказалось в поэме «Любава», первоначально носившей заглавие «Индустриальная история». Но это не внешняя история Магнитостроя. Это история времени, грандиозной стройки, поэтизированная как расцвет людей «на штурмах бетонного века».

Отдельные недостатки поэмы объясняются не установкой на сюжетность, а не всегда действенным применением ее. У автора случаются затяжки в рассказе, появляется перегрузка бытовой и производственной информацией, из-за чего теряется тема поэтической речи. Поэту стоило подумать над большим разнообразием ритмики, ибо в различных событийных и психологических ситуациях ждешь и особо найденного поэтического строя речи.

Некоторые поэмы и стихотворные циклы Б. Ручьева имеют две даты. «Невидимка» — 1942—1957, «Прощание с юностью» — 1943—1959... Годы несправедливого заключения, когда Б. Ручьев на Крайнем

Севере работал забойщиком на золотых приисках, строил дороги, был фельдшером, не оторвали его от поэзии, хотя ему приходилось не записывать, а запоминать свои стихи. При подготовке их к печати они вновь дорабатывались. Строгому отбору и перелелке подвергал поэт и стихи 30-х годов.

Творческая биография Б. Ручьева — один из ярких примеров глубокой преданности поэту своему призванию, верности теме героизма и нового человека. О силе оружия партийной коммунистической правды говорят его стихи:

С ним — яд не травит, горе не калечит,
Огонь бессилен, стужа ничтожна,
Не страшно с ним идти врагам навстречу,
Друзей надежных чувствуя плечом.

5

Знаменательным явлением в современной советской поэзии нужно считать тот факт, что к жанру поэмы все смелее обращаются молодые поэты. Дело, конечно, не в преимуществах лирического или «поэзного» вступления в поэзию. Возможны тот и другой пути. Но в движущейся картине современной поэзии примечательно стремление многих авторов дать поэтический синтез времени в одном произведении или внутреннем единстве стихотворных циклов.

Лиро-патетика привлекает сегодня многих поэтов и старшего и молодого поколения — мы слышим ее у П. Антокольского и А. Прокофьева, М. Бажана и П. Бровки, в поэмах В. Цыбина «Богатырь» и А. Поперечного «Царь-Токарь».

Стремлением к обобщенному разговору о времени интересны также многие стихи и поэмы Роберта Рождественского.

В наше время разговорная поэтическая интонация стала широко распространена. Указанием только на нее ныне трудно определить индивидуальность очерка того или иного поэта. И все же разговорность, «собеседность» особенно очевидно выделяется у Р. Рождественского. Чаще всего лирический герой автора прямо обращается к кому-либо из воображаемых собеседников.

У Р. Рождественского много стихов-обращений, посланий: «Людам, чьих фамилий я не знаю», «Пшните о главном...» «Аркадию Райкину...» Однако, разумеется, дело не в названиях, а в самом строе стихов, в манере обращения, убеждения, спора, доказательства.

Критик А. Бочаров подметил в статье «Сквозь ветер века»: «Поэт старается вдумчиво, отыскивая аргумент за аргументом, убедить вас, а его стих превосходно передает в самой интонации это ощущение доверительности, когда поэт не возглашает, а убеждает, или, правильное сказать, уговаривает». Вместе с верными наблюдениями последние слова не точны. Из контекста ясно, что слово «уговаривает» нужно понимать не буквально. И все же характерен у Р. Рождественского не тон уговаривания. В разных стихах сказываются

различные оттенки разговора, беседы, полемики, причем нюансы зависят от того, с кем и о каких вещах идет речь. Вот эту конкретность адреса стоит отметить, чтобы яснее видеть разнообразие разговорных интонаций. Диалог и монолог строятся с учетом идейного и нравственного облика персонажей — собеседников. Это дает автору возможность обращаться и к драматически напряженным моментам («Пятнадцать минут до старта»), и к открытому спору («Париж, Франсуазе Саган»), и к прямому обличению. Заметим, что работа над американским циклом усилила обличительный тон в стихах Р. Рождественского.

Наиболее слитно различные оттенки разговорной интонации ощутимы в поэме Р. Рождественского «Письмо в тридцатый век». Это снова письмо, на этот раз обращение к потомкам, попытка увидеть наше время с той высоты, к которой мы стремимся.

Эта поэма — как бы итоговое произведение Р. Рождественского за первое десятилетие его поэтической работы. Многие раздумья по-новому объединены здесь в общий разговор о нашем времени и его перспективах.

Уже приходилось отмечать, как трудны «общие темы», «обобщенные стихи». Но как важны они и для жизни современников и для поэзии! Р. Рождественскому не всегда удается преодолеть риторичность, тяжеловатые и замедленные повторы. Автор порой не спрессовывает художественное слово, а растягивает его, грешит описательностью тогда, когда нужны емкие образы. В поэме эскизны некоторые картины наших лет, есть перечисляемость, неэкономность деталей, что встречается и в других стихах Р. Рождественского. Ему захотелось даже ответить на распространенный упрек в дидактизме: «Знаю, будут мне кричать: „Опять в дидактику ты, как прежде, с головою залез!“» Автор отстаивает другое, положительное понимание дидактики:

Я спокойно отвечаю:
Мне
лично
очень нравятся
высокие
слова!..

Но это уже другая проблема. С ней прежде всего связаны сильные стороны стихов Р. Рождественского. Тема «высоких слов» стала ведущей в поэме. Автор возвращается к ней в разных сюжетных связях:

Для меня
за высокими
словами —
настоящее,
кровное,
мое!

...Я
высокие слова,
как сына
вырастил.
Я их
с собственной судьбою
связал.

Я их,

каждое в отдельности,
выстрадал!
Даже больше —
я придумал их
сам!
Выше исповеди они,
выше
лирики...

Тема «высоких слов» одухотворяет поэму «Письмо в тридцатый век», приобретает усиленное звучание в заключительных — десятой и одиннадцатой главах — в главах о Ленине и о потомках, которым мы «доверим свою Революцию».

«Письмо в тридцатый век» — не сюжетная (хотя в ней выделены определенные событийные главы), а лирическая поэма. Автору удалось создать образ лирического героя-современника, размышляющего о настоящем и будущем, волнующегося главными заботами нынешнего мира и ощущающего красоту, высокий смысл устремленной к коммунизму жизни.

Еще раз вернусь к мысли о поэтическом синтезе времени. Это та высокая цель, которая требует от поэта полного осознания своей ответственности перед страной, перед эпохой. Тут не только не следует обходить высокие слова, а нужно глубже, насыщенней их постигать. Как повышается это значимость творчества, видно на примере «параболически» движущегося поэта Андрея Вознесенского.

Помимо лирических стихов, поэмой «Мастера» начинал свой путь Андрей Вознесенский. Она прежде всего привлекла интерес к нему, и это позволяет говорить о его «поэтном» вступлении в поэзию. После сборника «Парабола» (1960 г.) он снова берется за поэмы — «Треугольная груша», «Лонжюмо». Стремление к этому жанру выражено у поэта весьма отчетливо.

На первый взгляд может казаться, будто «Треугольная груша» не собственно поэма — автор представил ее в журнальной публикации как тридцатый, а в книжном издании как сорок отступлений из поэмы. Большая часть стихотворных дополнений, не связанных с Америкой, включена в книжное издание.

Поэма в форме отступлений правомерна так же, как и другие типы архитектуры в этом жанре. Но плодотворней использовать отступления не для внешнего соединения «всего разного», а для более глубокого развития основной темы и раскрытия многосторонности духовного облика героя. Другими словами, забота о цельности звучания книги не исключается, а в сущности — усложняется. А. Вознесенский далеко не до конца использовал возможности «поэмы отступлений». Но дело здесь не сводится к слабостям стихотворной техники: слабости и странности формальных увлечений поэта как раз особенно очевидны тогда, когда его стихи словно нарочито обесмысливаются. В «Треугольной груше» есть поэтические находки, есть образы, доносящие до нас внутреннюю тревогу, обнаженную противоречивость, «конвульсивность» американской жизни.

Но вместе с тем мы ощущаем, как много не хватает в этой картине, насколько часто «звучковой орнамент», будто бы самый модернизированный, случаен, порой лишь «шумлив». Нередко демонстрация приема, литературной технологии подавляет смысл, создает запутанные словесные ребусы.

Довольно скоро после «Треугольной груши» Вознесенский выступил с большим циклом «Почта со стихами», который открывает поэма «Лонжюмо».

Сам факт создания поэмы о В. И. Ленине не является неожиданностью на поэтическом пути А. Вознесенского. К ленинской теме он подходил и раньше, особенно в стихотворении «Секвойя Ленина». Правильно воспринять поэму «Лонжюмо» — значит прежде всего верно понять ее тему. Мне приходилось слышать, как недоумевали некоторые читатели: Ленин изображен мало, эскизно, взяты эпизоды из его жизни, схвачены, а иногда только названы отдельные черты его характера.

Да, это так. Но автор и не собирался во всей многогранности обрисовать облик Владимира Ильича. Не говоря о том, что это задача исключительной сложности, следует учитывать особенности конкретных произведений. Главное, чтобы в тех обстоятельствах, которые избирает тот или иной автор для изображения, выступал исторически правдивый образ Ленина.

Тема поэмы А. Вознесенского сразу «просматривается» в заглавии: Лонжюмо для нас не просто название парижского пригорода, а прежде всего обозначение школы революционеров, партийной школы. Не в том суть, что в ней было лишь восемнадцать слушателей, а в том, что это была школа ленинской мысли, ленинских принципов. Поэтому название «Лонжюмо» насыщается богатыми идейными и этическими ассоциациями, собственное имя пригорода становится нарицательным образом.

Поэма «Лонжюмо» связана с художественными традициями советской поэтической Ленинианы. Но у нее свой ракурс, своя внутренняя нить, свои оттенки в обрисовке характера Владимира Ильича.

В композиции есть некоторое сходство со свободным монтажом «поэмы отступлений», но здесь взаимообусловленной сочетание лирических стихотворений-глав.

«Авиавступление» — это объяснение с читателем, и «просвечивание» самого себя, и настройка на позывные школы Ленина: «Вступаю в поэму, как в новую пору вступаю». Много значит, что лирический герой здесь сосредоточен, серьезен, строг по отношению к самому себе. И строг также в стихе, сгущенном, ассоциативном, смело-образном, огражденном от самоцельной «звукотряски».

В стихотворениях-главах автор применяет прием, можно сказать, дальнего подхода к основной мысли — за развернутой картиной следует лаконичная идейно-психологическая кульминация.

**В Лонжюмо сейчас лесопилня.
В школе Ленина? В Лонжюмо?**

**Нас распилами ослепили
бревна, бурые, как аскимо.**

Постепенно от прозаичного факта автор переводит строй образов в политико-этическую сферу и завершает главу ударными строками:

**Ленин был
из породы
распиливающих,
обнажающих суть
вещей.**

Конечно, если бы автор держался только за этот прием, он впал бы в однообразие. А. Вознесенский передвигает ударные строки и в середине и в начало глав. Вторая глава сразу открывается мыслью-кульминацией:

**Разве Ленин был в эмиграции?
(Кто в не родины — эмигрант.)
Всю Россию,
речную, горячую,
он носил в себе, как талант!**

Этот и другие приемы в «Лонжюмо» не формалистичны, а целенаправленны. Главное — авторская мысль выходит на простор поэтических обобщений, передавая человеческую многогранность Ленина, революционную действенность его мысли и школы.

**Он отсюда
мыслил ракетно.
Его мысль, описав дугу,
разворачивала парашюты
возле Зимнего на снегу!**

Очень важную роль в «Лонжюмо» играет эпилог. Фактически его можно считать кульминацией поэмы: здесь средоточие всех основных ее идей.

Обычно А. Вознесенский редко отваживается создавать лирико-публицистические стихи, несущие в себе поэтически обобщенное выражение мыслей и чувств. Чаще он бывает прикован к отдельным предметам или явлениям, к натуре с необычными деталями. Обобщающая мысль нередко остается у него в намеке, философское заслоняется живописным.

В «Лонжюмо» вместе с развернуто-метафоричными картинами органично сочетаются философско-публицистические раздумья, отчетливей всего в «Авиавступлении», в седьмой главе («Однажды став зрелей, из спешной повседневности мы входим в Мавзолей, как в кабинет рентгеновский»), в «Эпилоге». В лиро-публицистических тонах «форсирована» тема «школы Ленина»:

**В лонжюмовское помещение
умещалась тогда она.
Школа Ленина,
школа Ленина —
ей планета теперь тесна!**

Хочется верить, что опыт работы над поэмой «Лонжюмо» позволит автору еще смелей, уверенней выступать в философско-публицистических жанрах. Вообще надо отметить, этот опыт во многом по-новому обрисовал перед читателем А. Вознесенского, его развитие и перспективы.

При всем успехе «Лонжюмо» тем более важно выявить природу недостатков

поэмы. В некоторых случаях автор еще остается на поводу внешнего «звукоряда» и допускает в стихи неработающие ассоциации:

**Словно соты, прозрачны доски.
Может, солнце и сосны тезки?**

Сколь ни изощренно обыграл здесь автор переливы звуков в словах «соты», «солнце», «сосны», эффект от этого невелик — строки эти не помогают движению мысли в первой главе, где звучит тема «диалектики познания».

Вполне естественно стремление поэта обрисовать Ленина как вдохновенного, поэтически страстного и увлеченного революционера. Сама мысль о родстве поэтичности и революционности не нова. Но А. Вознесенский преподнес ее без психологических тонкостей, прямолинейно. Проблема эта весьма важна, и я процитирую весь отрывок:

**Его скульптор лепил. Вернее,
умолял попозиловать он,
перед этим, сваяв Верлена,
их похожестью потрясен,**

**бормotal он оцепенело:
«Символическая черта!
У поэтов и революционеров
одинаковые черепа!»**

**Поэтично кроить Вселенную!
И за то, что он был поэт,
как когда-то в Пушкина —
в Ленина
бил отравленный пистолет!**

А. Дымшиц в благожелательной рецензии на «Лонжюмо» отмечал, что эти строфы остались у А. Вознесенского от «поэты», от искусственной экзальтации. Это верное наблюдение, но дело тут еще сложнее: имя Верлена, весьма условно и случайно для сравнения, может быть, подсказано рифмой («вернее»). В свое время М. Горький стремился найти более глубокие и обоснованные сопоставления, обращаясь к именам Петра Великого, Михаила Ломоносова, Льва Толстого, но в конечном итоге, при переработке очерка «В. И. Ленин» отказался (сократил весь абзац) от заманчивых, однако все-таки искусственных сопоставлений.

В «Лонжюмо» автору не удалось развернуть, сделать глубокой ассоциацию «поэт — революционер». Дело свелось к называнию качеств и к восклицанию: «Поэтично кроить Вселенную!» Мало, схематично, негочно. Не движение ради движения, а цель его — вот что первостепенно в Ленине. Тема поэтичности, вдохновенности революционера по существу гораздо полнокровней выражена в других строфах, когда автор не прибегает к внешним параллелям:

**Не какие-то «винтики»,
а мыслители,
он любил ваши митинги,
слесаря, динамитчики.
Заряжая ораторски
философией вас,
сам,
как аккумулятор,
заряжался от масс.**

Хочется верить, что по такому хорошему маяку, как поэма «Лонжюмо», А. Вознесенский будет ориентироваться в своей дальнейшей творческой работе.

6

Разбирая поэмы, постоянно сталкиваешься с проблемой живого многообразия поэзии. Оно сказывается не только в тематике, но и в настрое, облике лирических героев, в композиционном, жанровом, ритмическом своеобразии. К тому же интересно видеть многосторонность в работе уже сложившихся писателей.

В 1960 году читатель познакомился с завершенной лиро-эпической поэмой А. Твардовского «За далью — даль». Вскоре он выступил с сатирической поэмой-сказкой «Теркин на том свете» (1963). Правда, первый вариант этой аллегории создан на девять лет раньше. Сам автор обозначил даты: 1954—1963. Кроме того, возвращение к Теркину заставляет прежде всего связывать сказку со знаменитой «Книгой про бойца». И тем не менее, «Теркин на том свете», можно думать, окончательно вызрел именно в процессе работы над поэмой «За далью — даль»: звучавшие в ней отдельные сатирические мотивы особо выдвинуты на первый план в аллегории.

Твардовский — сатирик: каков он, что ему удалось, в чем спорны его приемы? Вопросы эти не случайно возникли перед критикой, читателями, ибо речь идет и об оценке конкретного произведения и о принципиальных проблемах поэтической сатиры.

Как известно, «старый» Василий Теркин уже встречался со смертью и не сдался ей (глава «Смерть и воин»). В условно-сказочной манере автор как бы продолжает эту главу, однако ставит перед «новым» Теркиным другие «боевые задачи» — Василий сталкивается с отрицательными явлениями, которым не место «на этом свете», в нашей жизни. Сталкивается — и не просто наблюдает их, а не мирится с ними, они чужеродны для живой советской действительности.

Позицию Теркина непременно нужно отметить в первую очередь, чтобы верно оценить силу его шутки, иронии, сарказма и видеть в нем не стороннего наблюдателя, а неутомимого бойца. Сильны в поэме именно те страницы, на которых «сказочное путешествие» Теркина затрагивает реальные ситуации и конфликты: автор нападает на бюрократизм, безответственность, чиновничье бездушие периода культа личности... Это сатира на призрачную деятельность, на людей, потерявших ощущение живого чувства, дела, идеала. Острая сатира. Персонажи-призраки: генерал-покойник, доктор прахнаук, пустобрех-циятчик, редактор-перестраховщик очерчены резко и ядовито. В поэму включены не одни типы «призрачных деятелей», но и «омертвелые явления», противостоящие живой жизни.

А. Твардовский пристально вглядывается в привычное, примелькавшееся, умеет насторожить против инерции «примиренности» и заставить увидеть (здесь можно прибегнуть к словам одного из персонажей поэмы) «неизжиток пережитка». Вполне естественно завершение поэмы: Теркин возвращается

**В этот мир живых, где ныне
Нашу службу мы несем...**

«Теркин на том свете» — свидетельство развития в нашей литературе смелой, острой поэтической сатиры.

Поэт призвал читателя поэмы «прочитать ее сперва», то есть охватить и воспринять ее в целом, а затем судить о ней:

**Не держи теперь в секрете
Ту ли, эту к делу речь.
Мы с тобой на этом свете:
Хлеб-соль ешь, а правду режь.**

В интересах поэзии необходимо прямо высказать и те замечания, которые поэма вызывает. Я люблю у А. Твардовского поэтические размышления, отступления от сюжета, подключающие в конкретные картины жизни воспоминания или мечты, «общие мысли» или личные признания. Так строились его предыдущие поэмы, особенно «Василий Теркин» и «За далью — даль».

Все это есть и в сатирической аллегории. Но здесь отступления стали растянутыми, мосты между «существенными эпизодами» длинны, не обязательны.

И особенно бросается в глаза: автор слишком много затратил сил на оправдание условного сюжета, на выписывание подробностей загроможденного мира. Между тем подробности эти далеко не всегда нужны, писатель как бы теряет основную нить, не привязывает «ту ли, эту к делу речь». И тогда появляются пустые строки. Очень затянута изображена, например, проверка Теркина. Здесь много растянутых описательных стихов о том, как Теркин наследил валенками у двери, как ему захотелось пить, как «прибывают поезда изо мглы предвечной», как посылают Василия на медсанобработку и т. д.

Не получилась у поэта обрисовка «буржуазного» того света. Здесь много «смертных подробностей», но затем автор просто оставляет этот кусок сюжета: «Ладно, шут с ним, с зарубежным, говори про наш тот свет».

В конце поэмы разбух эпизод возвращения Теркина.

Поезд, тормозная площадка, тоннель, подъем в гору, медленное пробуждение — десятки «холостых стихов».

При обращении к сказочным, аллегорическим ситуациям всегда особенно остро встает вопрос о соотношении двух планов — условного и реального. Художественный

опыт сатириков, прибегающих к «фантастическим сюжетам» (в русской литературе наиболее ярко этот опыт представлен у Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Горького), убеждает: оправдание приема не должно уводить к чрезмерной детализации внешнего «условного мира». Прием этот нужен лишь как служебный, чтобы резче обнажать основную сатирический смысл. Сошлось на памфлет М. Горького «Хозяева жизни».

«— Пойдем со мной к источникам истины,— смеясь сказал мне Дьявол и привел меня на кладбище».

Дьявол знакомит автора с типами хозяев жизни — буржуазными философами, учеными, «гуманистами», «законниками», «честными и мудрыми людьми»... Галерея типов. Условная встреча с ними происходит на кладбище. Но у Горького «кладбищенские детали» не преобладают, а лишь помогают обнажить лживость буржуазной морали.

Заостряю внимание на умении использовать условность в искусстве, потому что на этом нередко происходят осечки.

Мне думается, что сатирический жанр труднее дается А. Твардовскому, потому что его поэтическому дару ближе не изоляция жанров, а их объединение. В самом деле, «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За далью — даль» интересны органическим сочетанием драматизма, лирики, раздумий, иронии, юмора, сарказма. Разумеется, старый опыт не закрывает дороги к работе в каком-то одном ключе, в данном случае — в сатирическом. Однако в «Теркине на том свете» автор не достиг той цельности в воплощении замысла, той композиционной стройности, что были свойственны прежним его поэмам.

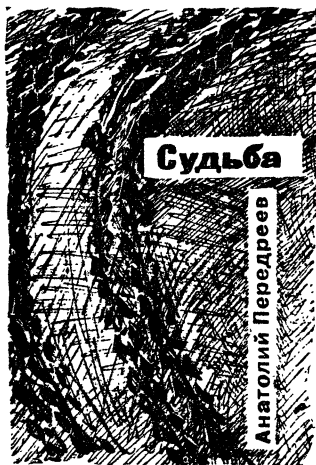
Перед нами прошел целый ряд поэм 60-х годов. Не требуется оговорки, что это далеко не все поэмы последнего времени. Но не будет преувеличением сказать — это поэмы примечательные, не случайно оказавшиеся на стержне современного поэтического потока. При всем большом значении лирики мы видим, как развиваются эпические начала в советской поэзии.

Поэмы последних лет актуальны по темам, современны по раздумьям, по строю мыслей и чувств. В поэмах сильно звучат политические, идейные проблемы времени, явно ощущается полемика. Полемика развертывается по широкому фронту борьбы с буржуазной идеологией. Захватывает эта полемика и острые проблемы нашего бытия — борьбу с мешанством, нигилизмом, с капитулянтскими идеями мирного сосуществования идеологий, с беспочвенными противопоставлениями поколений отцов и детей...

Почти все поэмы, о которых шла здесь речь, впитывают в себя лирику, придают ей новое наполнение, обогащают лирические начала. Но обогащают потому, что наполняют лирику гражданской страстью.

Год рождения 1964

Продолжаем нашу традицию. В этой рубрике «Москвы» мы предлагаем вниманию читателей книги, с появлением которых можно связать рождение писателя.



Анатолий Передреев. Судьба. Книга стихов. М. «Советский писатель». 1964. 62 стр. Цена 7 коп.

РИТМ И ПУЛЬС

одна фактура. «Я еду в город Севастополь в морскую школу поступать...» Передреев биографию в стихах пишет — словно анкету заполняет: по этапам, деловито, экономно, лишь главное и существенное говоря, лишь то, что к делу идет. Читателю ничего не стоит по стихам Передреева восстановить достаточно полно его послужной список, внешний биографический ряд событий в его жизни. Труднее уловить, откуда берется в этой точной, лаконической поэзии ощущение силы и гармонии. Мало цветовых пятен. Мало звуковых ритмических ударов, прямо поражающих наш слух. Одним словом, мало всего того, что должно давить на наши органы чувств непосредственно. С другой стороны, нет и головоломных логических красот, которые могли бы увлечь нас помимо пяти непосредственных чувств. Ничего вроде нет! И при этом — удивительное, полное, отчетливейшее ощущение живого существа. Вы узнаете это живое существо словно шестым чувством, каким-то комплексным ощущением организма. «И слышно — в щель протискивает корни наш сад, забытый нами наверху», — говорит поэт, и это протискивает мгновенно вызывает в вашем сознании образ худого мальчишки, от голода шатающегося за партою и упрямо пищащего свои палочки, и другой образ, другое ощущение — зарывшегося в теплую кровать, свернувшегося калачиком, уставшего за день рабочего парня, и еще вот это полушутливое, обращенное к кондуктору: «Ни разу я не увернулся, ни разу я не прошмыгнул». Везде у Передреева вот это органическое, моторное, почти телесное ощущение растущего, доверчивого и упрямого, беззащитного и протискивающегося, дышащего живого существа, — не глазами увиденного, не ушами услышанного и не постигнутого в раздумье, — а именно кончиками нервов уловленного, нащупанного в стихе.

Передреев не живописует и не рефлектирует. Он чувствует живое по пульсации крови, он ритмы улавливает.

И тут мы подходим к главному секрету его поэтичности и обаяния.

Перечитайте хотя бы те стихи Передреева, которые я выше цитировал. Главный

Поэтическая судьба Анатолия Передреева началась легко. Замечен был сразу и самим Николаем Асеевым в «Литературной газете» горячо напутствован. Журнальными публикациями — еще до книги — вызвал интерес критики и читателя. Выпустил первую книгу — а уж книгу ждут, потому что у ее автора есть имя и он — поэт.

Жизненная судьба Анатолия Передреева началась трудно. «Я учился писать, и хрустящие хлебные карточки от себя отрывала по клеточке мать, чтоб меня не тошнило, чтоб меня не шатало за партою... Я учился писать!» Все это — точно, документально, почти дневниково. «Три старших брата было у меня... От них остались только имена»... Вы узнаете это послевоенное, тяжелое, это полуголодное сиротство. Вы узнаете этого человека. И те места, откуда вышел он, — вы легко узнаете. «Околица — ни город, ни деревня, окраина — заборы и деревья, и дом родной, и матери лицо...» Никакой выдуманности, никакой условно поэтической жизни, никаких спецкрасот —

прием и основное средство выразительности у Передреева — повтор.

Шагают,
Шагают,
Шагают,
Послушные звонкому горну...
А я
Пустыри вспоминаю
И старую лысую гору...

Это — звонкий ритм марша в белоснежное одетых пионеров, а рядом — в ином ритме — воспоминание твоей окрестности...

Памятники,
Памятники,
Памятники...
В бурях, в ливнях, в солнечных лучах —
Гимнастерки,
Плащ-палатки,
Ватники
Бронзовые,
На бронзовых плечах...

Это — тяжелый свинцовый ритм войны, тяжкое дыхание солдата.

И день и ночь
Грохочут поезда.
И день и ночь
Хрустят у рельс суставы,
И день и ночь
Зеленая звезда
Притягивает грузные составы...

Это — чугуно бегущий по рельсам ритм работы, ритм неостановимых колес, ритм машины, несущейся со всеокрушающей инерцией.

А живое — мы узнаем по вздоху. Везде у Передреева за разнообразнейшими этими ритмами времени — размеренно-тяжкими или бравурно-торжественными, деловито-четкими или торопливо-веселыми — везде ощущаем мы существо, живо отзывающееся на каждый удар ритма, чутко вздрагивающее при каждом ударе, никак не умеющее ни к чему привыкнуть, вписаться, притерпеться... В одном из слабейших вариантов этой коллизии Передреев прибегнет к красивому, так сказать, сравнению, он напишет о парке, об «организованных огнях» увеселений, он скажет: «кружусь на карусели, кружусь, кружусь на неживых конях!» И сразу запахнет плохо усвоенным Есениным. Ибо неживые эти кони у Передреева — как раз красивость, дань пресловутой поэтичности, попытка украсить правду. В лучших и неповторимо передреевских стихах ощущение живого героя возникает помимо и без участия этой самой специальной образности — от самого пульса стиха возникает. «И на одном глухом вокзале заснул, как мертвый, среди дня, и среди дня ботинки сняли, ботинки новые с меня...» Слово закликает окружающих этот попавший в беду мальчишка, что ехал в город Севастополь в морскую школу поступать... Вся правда — именно в этой изумленной его наивности, в том, как доверчиво он спрашивает: «Ну как я в город Севастополь таким поеду босяком?!» — в том, как упрямо твердит, повторяет свое, в силах успокоиться, привыкнуть, притерпеться. А вот его взволнованное дыхание, когда ведет он мысленный разговор с шофером, который его подвозит: «А я закуриваю веско, я — будь спокоен, заплачу! А он дает на всю железку, а

я, откинувшись, молчу. А он поглядывает косо, а я поглядываю вдаль, а я кусаю папироску, соображаю — что же дать...» В этом-то повторении и воссоздается упрямый пульс живого существа, которое на каждый удар ритма упрямо отвечает своим «а я...».

Это вот взаимопроникновение и взаимодействие внешнего ритма и внутреннего пульса составляет драматическую суть и неповторимый рисунок книжки Передреева. Это и сообщает его стихам ощущение подлинности — и в фактах, и в чувствах. Это и делает поэзией рассказанную им простецкую биографию рабочего паренька с окраины, который помнит еще и деревню, где остались, наверное, деды, дядьки и прочие многочисленные родственники, который побывал наверняка и в Братске, и на Севере, и на целине — везде, куда бросала его молодость в наше стремительное время, который работал и шофером, и бетонщиком, и по химическому делу, и по крестьянскому, и в солдатах, а оставался всюду человеком, вечно удивленным, вечно беспокойным, вечно непримиримым и живым.

Л. Аннинский

ЕСЛИ
ТЫ
ЧЕЛОВЕК



В. Анчишкин. Арктический роман.
«Нева». № 4, 5, 6. 1964.

За последние годы мы привыкли находить на страницах журналов новые имена. Стали обычаем и критические статьи о первых книгах: непосредственность восприятия, лиризм (как правило, мягкий и задушевный), романтическая устремленность автора, честный поиск героя (ищет человек свое место в жизни), некоторая замкнутость и локальность темы и, естественно, просчеты от неумения — композиционные, сюжетные, языковые...

Но все чаще в нашу литературу приходят не юноши с лирическими дневниками, а люди, мускулы которых уже окрепли от столкновений с жизнью. Эти люди не мечутся в поисках сферы применения своих сил — они уже нашли ее, они пишут о виденном, заново обдумывают пройденное, в их первых произведениях привлекает, как правило, глубина вспашки, жизненная достоверность ситуаций и характеров, современность авторской позиции.

Именно это побудило нас обратиться к творчеству Владлена Анчишкина, первое крупное произведение которого — «Арктический роман» — появилось в 1964 году в журнале «Нева».

Как это бывает всегда, в первую большую работу В. Анчишкин постарался уместить самый разнообразный материал, и далеко не все об угольщиках Арктики органически вошло в ткань повествования, но автор романа настойчиво ищет современного героя, не облегчает себе поиски, уверенный, что наш современник — молод он или стар — теснейшим образом связан с временем, в которое живет, с делом, которому служит, что сила героя и слабость его ярче всех деталей быта отражает явления общественной жизни, перемены в жизни нашей страны.

В «Арктическом романе» живут люди разных поколений — один начал путь в гражданскую войну, юноша другого взяла Отечественная, третий счастливее — мирно окончил институт и приехал на Шпицберген, добывать в Арктике уголь, всерьез делаться инженером. Этих троих роднит многое, то, что передается как эстафета от поколения к поколению советских людей, что составляет главное, стержневое в нашей жизни, что определяет самое понятие «советский» и в романе обозначено: «если ты человек». Этих троих различает немало — каждый из них впитал в себя сложность пережитого страной, ведь все трое — граждане всерьез, не чиновники — строители...

Вероятно, каждому из нас, читателей, не придется думать долго, чтобы вспомнить, сколько сильных героев, умных, властных, уверенных в себе руководителей создала наша литература в первые послевоенные годы, скольким из этих героев мы прощали их деспотизм, неуважение к людям, преувеличенную непогрешимость — прощали за страсть в работе, за талант, за умение не щадить себя ради дела, за целеустремленность и силу характера. Батурин в романе В. Анчишкина — тоже сильная личность, руководитель, наделенный немалой властью: «Начальник рудника здесь (на острове Грумант, Шпицберген) — единственный начальник... шахтер номер один. Он вам и отец, и мать, и Верховный Совет и Совет Министров. Усвоили?.. Стало быть, все, что начальник делает и говорит, — закон. Для всех закон!» Вот какая ответственность лежала на этом человеке.

Батурин не потому только «шахтер № 1», что власть такая ему «дадена», — всю шахтерскую науку изучил он с азав, работает, не жалея ни себя, ни людей, сам не спит и людям спать не дает, задал такой темп строительству, что люди путают ночь с днем, механизмы не выдерживают нагрузки, моторы горят. Батурина под силу начать строить шахту без рабочих чертежей, ему хватает смелости изменить генеральный график строительства; он масштабный человек, руководитель с размахом, он передовой, он уверен в этом и всерьез озабочен тем, чтобы внушить эту веру и остальным, и внушает, пользуясь и полнотой своей власти.

Условия жизни на острове вложили в руки Батурина безраздельную власть над людьми, правда, власть недолговечную — на несколько лет зимовки, но Батурин хочет успеть — рвет, крошит все, что осмели-

вается подняться вровень, он явно из тех, кто, утверждая, что человек нам дороже любой машины, все-таки почитает этого до-рогостоящего человека малым винтиком, исполняющим волю великого. Батурин живет и работает после XX съезда партии, он вынужден даже для себя искать оправдания. «Мы делаем жизнь, строим новые шахты. Однако и она делает нас. Жизнь-то. Пройдут годки... А годы — не обушки: мозоли от них остаются в душе: потом донимают — сам спохватишься, не заметишь, как выкрутил кому-то руку, разбил голову палкой». И любит, ох как любит Батурин, чтобы перед ним на полусогнутых ходили. Значителен с людьми Батурин, категоричен, груб, порой нечуток. И не прощают теперь ему люди. Ничто не заставит теперешних советских людей закрыть глаза на самодурство, превращение власти, пренебрежение.

В. Анчишкин живет вместе со своими героями. Ему, как и всем его современникам, очевидна невозможность возрождения любого культа личности в любом масштабе, — мысль о такой возможности противна самому духу теперешнего нашего общества. Но писатель слухавил бы, если бы не показал и творческую, созидательную силу Батурина, то, чем был жив человек во все периоды истории страны Советов, что передается из поколения в поколение как эстафета. И отважный противник Батурина-деспота и страстный помощник Батурина-строителя — молодой инженер Владимир Афанасьев принял эстафету.

Сын зам. министра-угольщика, он отказался от аспирантуры, поехал на Шпицберген — туда, где трудно, потому что сам хочет проверить, чего он стоит как человек, хочет жить самостоятельно, стать инженером, уважающим себя. Он и живет на полную мощь, безраздельно отдается делу, не потому, что должен (государство на инженера выучило...), а потому, что хочет жить и дело делать.

Афанасьев не уступает «шахтеру № 1» — тоже с азав начинает, рядовым рабочим в шахте. Он тоже строит всерьез, не завидуя тем, кто «социализм горбом поднял», как говорит Батурин. Достижения прошлого теперешние молодые принимают по-деловому: это не подарок, а жизненная основа, на которой каждое новое поколение строит следующий этаж. Мечтательный, мягкий, добрый человек, Афанасьев умеет быть непримиримым, требуя уважения к человеку, не позволяет начальнику забывать, что Конституция для всех одна, что равные права и обязанности граждан — не фраза, а закон нашей жизни. Начав рабочим, Афанасьев только тогда соглашается принять назначение инженером-механиком, когда Батурин изменяет свою обязательную по отношению к молодым формулировку: «Назначить исполняющим обязанности...» Ему не нужна начальственная подачка, он заработал свое право быть инженером и не хочет, как Лешка Гаевой, надрываться, чтобы заставить Батурина снять это неуверенное «исполняющий обязанности», не хочет помогать Батурину разделять и властвовать.

И, главное, Афанасьев владеет тем, чего начисто лишен Батури́н,— верой в бескорыстную товарищескую деловую помощь. Эта вера помогает молодому инженеру раздобыть так необходимый Груманту угольный комбайн «Донбасс», заставляет его выступить на производственно-техническом совещании, обратиться за помощью в ЦК ВЛКСМ. И то, что перед нами не герой-одиночка, а человек, мнение которого разделяют люди самого разного возраста, характера, опыта — и Гаевой, и Шестаков, и Остин, и многие другие, то, что перед нами наш молодой современник, сознающий свою ответственность за происходящее не только на узком участке работы,— еще одно свидетельство зрелости писателя. И хотя с Афанасьевым, кроме доброго, происходит масса нелепых вещей (и среди них прежде всего стычка с Дудником из-за Ольги), и хотя волею автора герой исчезает из последних глав повествования, молодой инженер Анчишкина — характер сильный, емкий, значительный. Нам не приходится ломать голову над тем, в какое время он живет,— Афанасьев наш современник и складом характера, и направлением мысли, и реакцией на происходящее.

Своим поведением он доказывает, что если его непосредственно не задел ни 1937, ни 1953 год, то 1956 год — год XX съезда партии — очень глубоко залег в его сознание, значит, герою, как и всем нам, пришлось, пусть отраженно, но пережить прошлое. И, пережив, стать тем убежденным и полезным обществу гражданином, каким сумел стать Афанасьев.

Памятуя, что труднее всего искоренить пережитки периода культа личности в психологии людей, В. Анчишкин знакомит нас еще с одним героем — Романовым, который занимает как бы промежуточное положение между Батуриным и Афанасьевым. Сын шахтера и сам шахтер, Романов не уступает в работе ни Батури́ну, ни Афанасьеву: он и из Москвы уехал, едва не рассорившись с женой, с министерством распрощался, чтобы уголь своими руками добывать, он тоже знает в работе увлеченность, тоже умеет сутками не уходить из забоя и при этом не чувствовать себя жертвой. Он отважно воюет — танкист, офицер; полюбил женщину — раз и на всю жизнь; нашел в себе силы после демобилизации кончить институт. Словом, биография довольно типичная, жизнь нелегкая, но мужественная.

И вот оказывается, что этот человек, прошедший нелегкий путь, не может противостоять Батури́ну, хотя и ясно видит слабые стороны начальника. Романов много слабее Батурина, слабее и Афанасьева, хотя первое время Афанасьев, любя, подражает Романову во всем. Автор уверяет нас, что это Романов отдал свои крылья Афанасьеву, а сам не смог взлететь, а мы не верим. Не верим прежде всего потому, что Романовым постоянно движет неудовлетворенное самолюбие, честолюбие, даже его ненависть к Батури́ну очень похожа на зависть. Ведь и Афанасьеву он завидует — его прямоте, вере в людей, откровенности,

любви к нему окружающих. Автор награждает этого своего героя таким количеством комплексов, так стремился утвердить жизненную достоверность героя, что характер выглядит сконструированным. Да и пошло-важное описание семейной жизни Романова, мягко говоря, не согласуется с понятиями хорошего вкуса. Желание доказать себе и окружающим свою значительность, утвердить свой инженерный престиж делает Романова интриганом. Нет, не верится, что на крыльях этого «сокола» поднялся Афанасьев. И когда писатель настойчиво вбивает нам в голову, что обидя 1952 года сделала столь противоречивым характер этого героя, мы отказываемся этому верить. Честолюбивые и неталантливые люди во все века отравляли мнимыми сложностями жизнь себе и окружающим, и вовсе не обиды тридцать седьмого и пятьдесят второго года делают таких людей неудачниками, тем более что и обидато Романова, когда его, производственника, не взяли на работу в министерство, выглядит в романе явно преувеличенной. И столь же преувеличенным кажется стремление автора объяснить половинчатость своего героя только обстоятельствами. Романов душевно старомоден — вероятно поэтому в голове никак не укладывается, что к концу романа герою всего тридцать семь лет, что он в сыновья годится Батури́ну. Но все же само противодействие Романова Батури́ну, его постоянная тяга к нормам жизни, ставшим естественными для Афанасьева,— все это продиктовано писателю нашей действительностью, осмыслить которую во всей глубине современнику не так-то просто.

Мы остановились в романе В. Анчишкина только на том, что безусловно не оставит равнодушным читателя. «Арктический роман» представляется нам произведением серьезным, в котором бьется сердце далеко не равнодушного писателя.

Д. Тевекелян

ОЩУЩЕНИЕ

ЗЕМЛИ



Татьяна Кузовлева. Волга. Стихи. М. «Молодая гвардия». 1964. 96 стр. Цена 12 коп.

Совсем еще недавно их называли «подлеском». Ломающиеся голоса их и в самом деле гудели, как молодые неокрепшие де-

ревья. Печатали их щедро. Чаще всего под рубрикой «стихи молодых». И с предисловием, в котором неизменно указывался возраст. Возраст интриговал. Поэтам этим едва перевалило за двадцать. Да они и сами не прочь были козырнуть возрастом: «Да, ровесники! В нашем паспорте год рождения — сороковой»... «Мы с вами родились в сырых бомбоубежищах под свисты зажигалок и фугасов»... Игорь Волгин, Алексей Заурих, Владимир Дагуров, Инна Кашежева, Татьяна Кузовлева, Владимир Леванский, Роман Солнцев, Борис Примеров, Владимир Луговой. «Тишиною лишь затишь условно называется у нас», — декларировали они. И развивали эту мысль: «ветром, как веком, задыхаясь, дышать», «шальной, от радости орущий», «о, реактивный свист полета», «скорей, скорей, скорей». «Как и следует нам, молодым», — добавляли они. Цитаты подобраны из разных поэтов, но в сущности они могли бы принадлежать и одному. Потому-то и — «подлесок». Обидного в этом названии ничего нет, но нет и особенного мажора. Критики не спешили с конкретными выводами. Ждали.

И вот одна за другой стали выходить первые книги. «Мое поколение» В. Дагурова, «Синевои разбуженное слово» Б. Примерова, «Считайте годы по веснам» Ю. Андрианова, «Стихи» Р. Солнцева. И оказалось, что, оставшись один на один со сборником, мы наконец-то можем различить ускользавший ранее контур личности поэта, его индивидуальности. А это уже значит, что речь может идти о рождении писателя. Именно таким образом мы рассматриваем появление первой книжки поэтессы Татьяны Кузовлевой «Волга».

**Бежать, бежать — есть скорость бега,
похожая на скорость крыл!**

Пожалуй, что во всем сборнике вот только эти две строки — дань общему стилю «подлеска». Стиль же Т. Кузовлевой иной, и само движение — область минимальной компетенции поэтессы, несмотря на то, что ей очень хотелось бы восполнить этот пробел:

**Все поезда уходят без меня...
Я догону зеленые составы,
я поручи холодные схвачу,
меня подсадут тоненькие травы,
я полечу,
я тоже полечу.**

Да, Т. Кузовлева стремится к движению, стремится передать то, что относительно легко дается иным ее сверстникам. Но... «как стремленья бесконечны и как свершенья тяжелы». Хорошо, что поэтесса сама осознает это.

Свершенья тяжелы... Хотите или не хотите, но придется довольствоваться тем, что дано именно вам, крепкой привязанностью к вашей земле, к вашей реке, к вашей улице, к вашему дому. «Я прошу под крохотной звездой мучительное чувство притяженья». Мучительное — это от не до конца осознанных возможностей. Я вовсе не хочу сказать этим, что возможности Кузовлевой ограничены, но мне понятно, насколько искренне пожелание поэтессы, «чтоб было в

ощущении полета еще и ощущение Земли». Это чистая правда, потому что излюбленный поэтический рисунок Т. Кузовлевой — проекция на плоскость: «его конструкция конкретна, как пара скрещенных прямых», — о башенном кране.

Да, съемки с движущейся точки не характерны для поэтического видения поэтессы. Ее поэтическое видение оригинально в другом.

Известно, что чем уже оптическая диафрагма, тем резче изображение.

**Белые вихри дымятся, вздыхают,
белые руки на воздух взлетают,
крыльями бьются на том берегу:
женщина чистит ковер на снегу.**

**И выступает на лбу разогретом
яркое зимнее бабье лето.**

Вы видите, как постепенно суживается оптическая диафрагма видения поэтессы, как четко ведется ею настройка на резкость. А сфокусировав изображение, Кузовлева пытается его поэтически осмыслить: «сквозь миллионы разбуженных лет — белое облако, солнечный свет, запах брусники и взвихренность тела, руки взлетают, как лебеди белые».

«Взлетают, как лебеди белые». Увидев это, поэтесса завершенно следит за движением. Мы уже заранее предчувствуем ее просьбу, предвидим ее желание: «радость движенья, пройди сквозь меня красным лучом среди белого дня». А дальше — движение в будущем времени: «руки мои упадут до земли, к солнцу взметнутся — и я полечу по наклонному к солнцу лучу». И снова, в который раз, — «облаком белым ударюсь» — об землю. Перетягивает ощущение Земли!

Поэтесса накрепко связана с родной землей, с родной рекой (книжка-то называется «Волга!»), с родной улицей, с родным домом. И речь здесь идет не о приземленности поэзии Т. Кузовлевой. Речь идет о пристальном внимании поэтессы к природе и ее творцу — человеку.

**И по какому нареченью,
когда стихает спор и смех,
мы ощущаем назначенье
большого слова: Человек!**

По какому нареченью? По какому праву? По праву общественно-полезной, гуманной, целенаправленной деятельности, — отвечает Кузовлева. Летчик, «тот самый, сильно обгоревший, но не сторевший до конца, что был затынут, как орешек, в бинты до самого лица», нянечка, ухаживающая за ранеными в госпитале («и если было надо бы и выпало бы мне — в убежище под надолбы спесла б их на спине»), народный умелец-горшечник («вот он повяжет фартук грязный и схватит волосы тесьмой, и выступает пот седьмой на лбу его, как глина, красном») — вот кто наречен поэтессой большим словом — Человек, вот кто собирательно обозначен ею словом Мастер, вот чей суд признает она: «Неверием своим меня казни и верой незаслуженно измучай».

Человек — властелин Земли, властелин ее природы.

Эта мысль проходит через большинство

стихотворений Кузовлевой. «О, как природа своевольна», — начинается одно из стихотворений сборника. Но вот «проходит девочка худая с паролем простеньким: — Пусти!»

— Пусти! — и сосны расступаются.
— Пусти! — и горы раздвигаются.

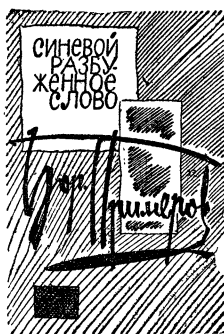
Маленькая девочка преодолевает своевольность природы, потому что она — человек, и своевольная природа подчиняется ей, потому что ощущает предназначенье человека. Больше того, природа равняется на человека, подражает ему. Отсюда — щедрая метафоризация природы в стихах Т. Кузовлевой, одушевление природы, а порой и пантеистическое слияние с ней («я засыпала возле Волги, как продолжение реки»).

Метафора — вообще одна из нагляднейших примет поэзии Т. Кузовлевой, при этом она очень емка у нее. Это говорит о мастерстве молодой писательницы, о ее серьезной работе в литературе.

Тем скорее надо избавиться Кузовлевой от всего, что мешает такой работе. И прежде всего от навязчивых реминисценций из других поэтов, от некоторой скованности, что особенно ощущается в ее так называемой «женской» лирике. Вспоминается стихотворение Т. Кузовлевой «Аленушка», то самое, где сквозь лес продиралась девочка с требовательным «пусти!», и в первую очередь стихотворение «Где мне тебя понять?». Здесь поэтесса сама себя держит за руки.

Татьяна Кузовлева напишет еще не одну книгу. От души хочется пожелать, чтобы и в будущем сохранился лейтмотив ее поэзии, так искренне прозвучавший в «Волге»: «Что я смогла, какую помощь, какую правду я несу?».

Г. Красухин



Борис Примеров. Синево́й разбу́женное сло́во. Ростовское книжное издательство. 1964. 56 стр. Цена 6 коп.

В жизни почти каждого человека рано или поздно наступает ответственное время осознания и утверждения собственной личности.

Кто я, в чем мое призвание, что я могу дать людям?

Никогда не избегают этих раздумий поэты. Мы невольно становимся молчаливыми свидетелями их поисков: ведь они сулят открытия и нам самим, потому что каждое яркое самобытное видение мира — еще один ключ к познанию действительности.

Автор первой книжки стихов «Синево́й разбу́женное сло́во» Борис Примеров владеет таким ключом к окружающему миру, ему знакомо волшебное заклинание: «Сезам, откройся!» В его стихах распахнулись тяжелые свинцовые двери словесной немоты, за которыми неожиданно засияли поэтические самоцветы, бунтующие, романтические краски. Процесс становления самосознания вызвал у Бориса Примерова упорное, мучительное стремительно родившееся желание поэтически мыслить. «Его стих хочет стать мудрым, сильным, чтобы свое, свое сказать». И поэт с каким-то удивлением замечает: «И прорезаются впервые в моих глазах его глаза...» Рождается человек, рождается поэт. Мы приобщены к этому чуду, причастны ему.

Лирический герой Бориса Примерова — романтик. Духовный мир его современен и целен. Герой поэта уверенно стоит на земле, чувствует себя ее неотъемлемой частью. Романтика его земная, горячая.

Я дождями обласкан,
солнцем, тысячу трав.
Я не сказка, не сказка —
настоящая явь!

Я — не робкий, я — ярый,
я в простор голубой,
как бунтующий парус,
дерзко поднят землей!

«Синево́й разбу́женное сло́во» переполнено тревожным и часто напряженно-яростным ощущением жизни. Это, пожалуй, самая яркая определяющая черта книжки. Поэт устремляется навстречу огнетушным ликующим потокам, пронизанным солнечным светом. В его поэтическом мире «бунтует избыток настоящей крестьянской земли», снег насквозь проламывает землю, гремят травы — зеленые литавры, лохмато пылают поле, стонут колосья ржи, трубят солнечный свет, поет лето... На читателя обрушивается крутой поток чувств. Правда, в стихах Примерова пока всего чересчур, они перенасыщены образностью. (Впрочем, кто и когда установил норматив поэзии?)

Растерянность перед чудом бытия, удаль молодости и иногда совсем мальчишеское озорство («И у земного шара, и у земного шара, и у земного шара закружится голова!») — рождают буйную образность поэзии Примерова. Образы у него стремительно обгоняют друг друга, спешат стать явью, закричать о себе.

Бьют ветра голубыми копытами,
Вьется пыли космический хвост,
Замирает ветрами омытое
Королевство заоблачных звезд.
И Луна, как девчонка, наряжена,
Будто ей восемнадцати нет.
Начинаем концерт Шалпиня
По заявкам далеких планет.
Метеорные падают глыбы,
Налетает крутой ветром,
Марсианки глотают, как рыбы,

Воздух.
Сердце идет ходуном.
Звуки кружат, как снежные хлопья,
И рокочут, как в шторм океан.
И ресницы, как руки, хлопают
От восторга у всех марсиан.
Бас несется в космической дали...
...Я стою.

Я смотрю в небеса:
Там на цыпочки звезды привстали
И на Землю таращат глаза.

Поэт пишет ярко и темпераментно обо всем, что попадает в его поле зрения. Муза его еще не стала особенно взыскательной и избирательной. Она — сумасшедшая девчонка с разлетевшейся косой и сияющими глазами, стремительно бегущая наперегонки с временем.

Сознание проснувшейся, становящейся личности выливается у Примерова в яростное самоутверждение. Лирический герой этого сборника — эмоционально одаренная натура. Он чувствует глубоко, сильно, интересно. Это само по себе уже огромный дар, без которого нет поэта. Еще очень ощутимо в стихах Бориса Примерова влияние таких поэтов, как Б. Корнилов и П. Васильев. Это в какой-то мере осознается и самим поэтом, который в первом же стихотворении, открывающем сборник, заявляет:

Мой стих пока еще мальчишка,
Одетый в дедовский тулуп.

И в этих недавно родившихся стихах бьется два девятых вала: листопад — переливающаяся через край жизнь и... молодость.

Молодость связана с трудом. Борис Примеров — рабочий. Вырос он в степном городке зернограде, а потом работал в Ростове-на-Дону на Ростсельмаше. Такие теплые, по-настоящему гуманные стихи о рабочем труде, как «Кулаки», «Таскают тачки», «Ладони», «Подсобный», могли быть написаны человеком, который сам все пережил и перечувствовал, который знает жизнь не по рассказам и путешествиям. И это самый верный путь в поэзию.

Именно поэтому Примерову близки такие добрые и человеческие чувства.

Кулаки не для драки — послушай.
Ведь, по-моему, это здорово —
Положить вместо мягких подушек
Кулаки под тяжелую голову.

...Чтоб на травах зеленых
После сна у гудящей реки
Вновь раскрылись, как будто бутоны,
Наши жесткие кулаки.

Борис Примеров пришел в поэзию с доверчивостью к людям и с горячим стремлением подарить им сияющий многоцветный мир. Охотнее всего он пишет о рабочем труде, о природе и музыке. Любовь к музыке заставила его заговорить поэтически.

Конечно, можно с бухгалтерской точностью подсчитать в книжке искусственные образы, примеры неудачного развития поэтической мысли. Издержки производства есть у всех. И поэтическому голосу Бориса Примерова предстоит еще закалиться и окрепнуть. Но это уже вопрос времени.

Е. Ветрова

ПЕРВЫЙ

ШАГ



Юрий Васильев. Твой шаг на земле. Магадан. 1964. 320 стр. Цена 41 коп.

О чем эта книга? О большой нелегкой любви, когда двое едва не потеряли друг друга на всю жизнь, а потом все-таки нашли, потому что смогли победить многое, даже разлуку... О северном крае, о людях, в руках которых золото бывает действительно благородным металлом, и о других, чье сознание так медленно, так неохотно перестраивается на новый лад, о тех, что превыше всего боятся очистительного ваяния времени... Об этом и еще многом другом написан первый роман Юрия Васильева, выпущенный недавно Магаданским издательством.

Роман неровен. Наряду с несомненными удачами в нем есть ошибки, проистекающие от неопытности автора, но есть достоинство, на которое сразу хочется обратить внимание читателя. Автор не внимает равнодушно добру и злу, роман его полон горячего интереса к жизни, к становлению нового. В нем много добрых, хороших людей, которые по-хозяйски считают себя за все в ответе, отнюдь не пребывая в безопасной позе сторонних скептиков-наблюдателей. Очень точно говорит секретарь райкома партии газетчику Левашову:

«...Я предлагаю вам, лично вам и Важнину взять шефство над коллективом драги... Отдел пропаганды и агитации вместе с газетой смогут сделать многое, если будут работать, а не разоблачать... То есть и разоблачать, конечно, — улыбнулся Чуловец, — но больше работать».

А люди на присках работать умеют. Рабочих рук здесь не хватает, золото надо дать, и общежитие, случается, тоже самим надо выстроить. Подлатали оставшийся от разведбазы деревянный сарай, «заново настелили полы, починили крышу и даже повесили на дверях почтовый ящик. А Петя Самовал догадался изобразить на дверной филенке множество электрических звонков с пространным указанием, кому сколько «звонить».

— Как в коммунальной квартире, — с гордостью говорил он».

С юмором, опять-таки по-хозяйски, относится молодежь к своей временной «ком-

мунальной квартире», потому что на ее глазах и ее руками благоустраивается край, образуются новые городки, открываются новые приiski.

Желание мерить жизнь большой мерой, найти творческое в подчас нелегкой работе, оставить свой добрый след на земле и в душах людей — чувства эти роднят и кормового машиниста драги Ваню Зяблика, и Семена с веселой фамилией Рислинг, который может спокойно лечиться на «материке», потому что бригада работает и за него, и художницу Марианну Кареву, спокойно идущую навстречу опасности, когда нужно по разрушенной дороге доставить человека в больницу, а вертолет опаздывает, и газетчика Левашова, и партработника Важеннина.

Юрий Васильев долго жил и учился на Колыме, а закончив в Москве академию имени Тимирязева, вернулся на Север. Роман насыщен множеством жизненных подробностей, какие трудно найти во время творческих командировок, не потому, что командировки эти вообще не нужны, а потому, что они обезоруживающе коротки.

Знание труда и быта героев дает автору возможность писать Север без псевдоэкзотики, таким, каков он есть, — и все равно красивым, многих к себе влекущим. Да, старый колымчанин, молодой парень Яша Дубасов, показался при первой встрече восторженному Зяблику олицетворением полудетского его идеала: голуч, хорош, и толстый синий свитер, и, главное, огромные собачьи сапоги выше колен.

Приехав за Яшей на Колыму, «с первой же полочки Ваня купил себе меховые сапоги, но уже через несколько дней засунул их под кровать: весили они каждый по пуду, да и тот же Яша Дубасов ходил по поселку в замасленной телогрейке и дважды подшитых валенках». Но рабочий, дружный, подлинный Север стал для Вани Зяблика родным.

Думается, этот Север и есть главный герой произведения.

Ничего, что у старого драгера Гулова кожа на руках стала, как наждак: проведи, кажется, ладонью по железу, и железо заблестит. Зяблик теперь тоже из тех, кому на работе семеро сложат, а он один несет: «Под комель берет, не под вершину».

С горячей заинтересованностью пишет Юрий Васильев и о новом бурении, и о большом человеческом конфликте, возникшем на драге, да и о теплицах иных рачительных «огородников по совместительству», которые, прикрываясь званием коллектива коммунистического труда, по баснословным ценам продают овощи на частном рынке.

Многие сцены, относящиеся и к личной драме Левашова, и к истории бригады, и к прошлому многих героев, нельзя читать без волнения. Роман не книжный — живой. Именно поэтому так ощущаются допущенные автором промахи, и надо о них говорить — ни к первой книге Юрия Васильева, ни к дальнейшей литературной его судьбе нельзя остаться равнодушным.

Известно, что недостатки наши нередко

суть продолжение наших достоинств. Автор знает край, но еще не умеет ограничивать себя, роман его перенасыщен людьми, перегружен проблемами и событиями... Чрезвычайно однообразными ретроспекциями вводятся биографии главных и неглавных персонажей, из коих и действующими лицами не всех назывешь, — не стоило бы выводить их пока за пределы записных книжек. О многих, очень многих людях стремится автор сказать как можно больше, и в результате, читая роман, нередко попадаешь в тупички, из которых не знаешь, как вернуться на магистральный путь повествования.

Если в какой-то степени можно оправдать введение в роман истории несправедливо репрессированных и потом реабилитированных родителей Левашова (она объясняет и его временами излишнюю горячность, и решение вернуться именно на Север), то длинная сходная биография Сомова уже раздражает как ненужный повтор. Думаешь: а если дать Сомову другое прошлое — благополучное, придется ли менять что-либо в его образе, характере, поступках? И отвечаешь: нет, не придется. А если так, значит случайно оно, и надо бы поискать для Сомова другую судьбу.

Слова Феликса Дзержинского о чекистах, думается, могут быть адресованы и писателю: писатель тоже должен обладать холодным умом, горячим сердцем и чистыми руками.

Чистота, точная целенаправленность «Твоего шага...» не вызывает сомнений. Писатель борется за то, что и нам дорого в жизни и в людях, против всего, что и мы хотим изжить. С героями, которых он любит, можно дружить, они обладают надежным запасом прочности.

Никак не откажешь Юрию Васильеву и в горячности, с которой ведет он нужную борьбу, но вот в борьбе-то временами не хватает ему необходимой холодной выдержки.

Основной конфликт романа разворачивается на линии Левашов — Кочегура. Полярно противостоят друг другу эти люди — молодой газетный работник, смелый, искренний враг показухи, и второй секретарь райкома партии (ох, и везет же в литературе именно этим «вторым»!).

Горное дело знает. Спросить может. Организатор хороший. Так оценивает Кочегуру уезжающий на лечение первый секретарь. А потом одно за другим тяжелейшие обвинения предъявляет автор, а за ним и все почти действующие лица Кочегуре. Все оказывается в этом человеке плохим. Он создает дутый авторитет коллективу драги, он удивительно откровенно шантажирует нового коммуниста в районе Левашова, он... даже плащ брезентовый носит не потому, что это удобно, а потому, что так «демократичнее».

А ведь во многих сценах Кочегура написан как умный, действительно опытный человек, и там, где он действует «от себя», мы можем поверить и в жизненность этого образа, и в его опасность.

Но, к сожалению, автор не надеется ни

на созданный им персонаж, ни на читательскую понятливость и со всем присутствующим ему полемическим темпераментом старается уничтожить Кочегуру решительно при каждом его появлении авторскими репликами, а то и длиннейшими разъяснительными комментариями по его адресу.

И, вполне обоснованная по целенаправленности, на практике горячность эта нередко подводит Юрия Васильева.

Ведь вот, например, Левашов не может знать о Кочегуре всего, что знает о нем Юрий Васильев, а значит он не должен чуть ли не с первых шагов относиться к Кочегуре с откровенной ненавистью, а к каждому его слову с недоверием стопроцентным.

Не доверяя своим героям (и зачастую напрасно!), автор все время неудержимо вмешивается в их дела, комментирует, характеризует, разъясняет. А насколько бы выиграл, к примеру, образ маленького помощничка Кочегуры Енютина, если бы он предстал перед читателем только во всеоружии своих поступков, лишенный никому не нужных авторских комментариев!

Автор вправе все сделать со своим ге-

роем, он вправе уничтожить его в глазах читателя. Он только не вправе на трудных поворотах сюжета лишать его жизненной плоти и превращать в схему, покорную лишь авторскому замыслу.

Это отлично, что Левашов, и Зяблик, и друзья их борются с кочегуровщиной, но пусть они побеждают без мощной авторской поддержки, и пусть Кочегура будет до конца живым. В действительности-то кочегуры — живые.

В романе немало стилистических погрешностей, но о них в короткой рецензии не скажешь. Роман неровен, но, думается, и в начале и в конце любого творческого пути самое страшное — незавидная ровность посредственности. Юрию Васильеву предстоит большая работа, но он имеет к ней данные и право на нее.

И хочется сказать доброе слово в адрес Магаданского издательства, которое одну за другой выпускает книги совсем молодых, начинающих писателей, помогает им сделать первый шаг.

Первый-то шаг всегда труден.

Евг. Леваковская



Герман Черемушкин



Текст Ник. Нечаева

Стихи Вал. Тура

ДЕНЬ, ОДИН ИЗ МНОГИХ.



... А потом — проходная. Проходная твоего завода... Это — тоже мир. И он — тоже твой. Сейчас ты войдешь в него. Хозяином. Властелином. Мастером. И исчезнет все, что порой мешает тебе: ненужная суета, неуверенность и тысячи мелочей, которые иногда могут казаться непреодолимыми. Здесь только ты и твое дело. Один на один. «Есть на земле бессонный бог — работа. Не работа работа, а творца. И нету для меня другого бога. А этот, он со мною до конца...»

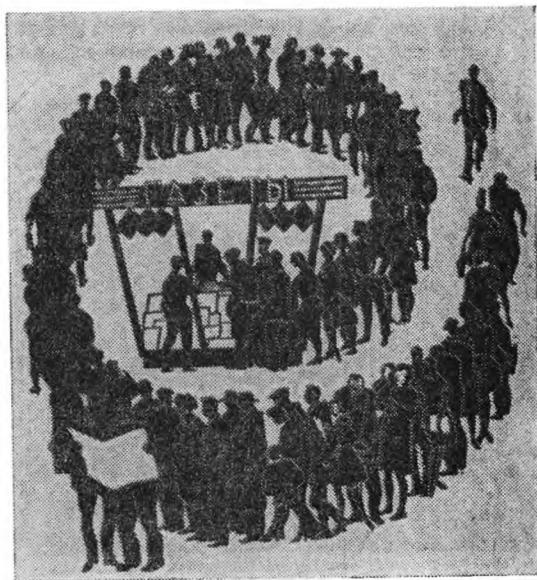
...Двигается часовая стрелка. И вот он наступает, этот час тишины, когда кажется,

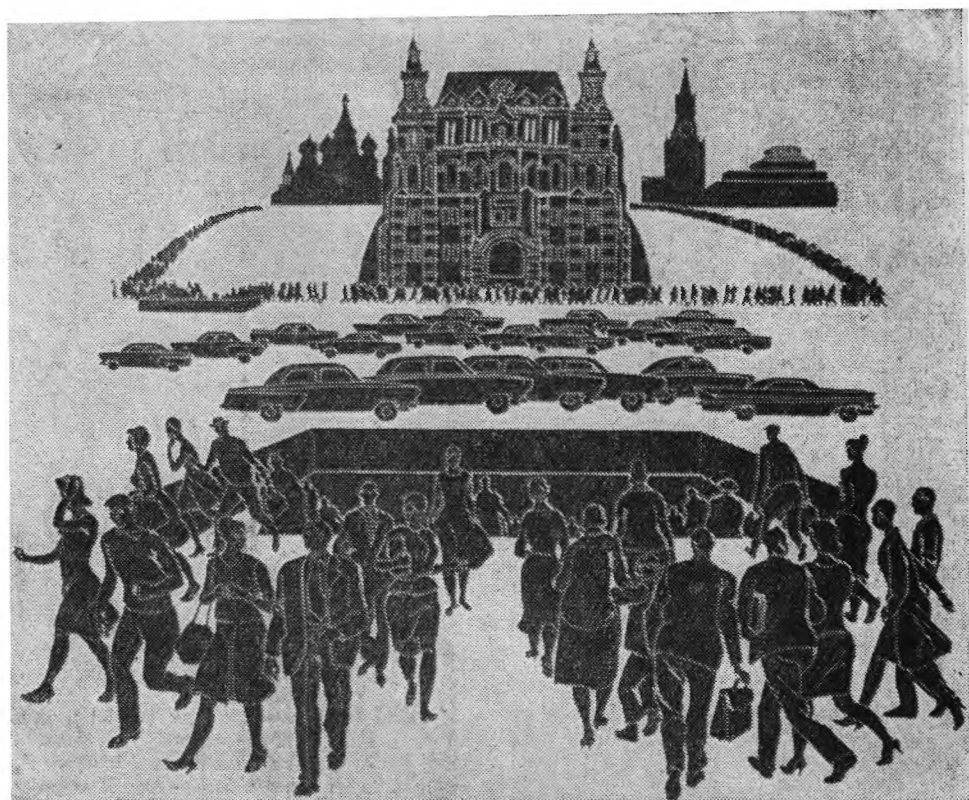
Московское утро... То солнечное, то чуть грустное, пасмурное. Зимнее утро города. Начало дня. Начало работы...

Ты выходишь из дому, поеживаешься. Утренний холодок чист и безобиден, но ты все равно спешешь: ведь утром грешно медлить, день ждет тебя, твоих дел, твоей работы. У газетного киоска ты обязательно остановишься: радостный и тревожный мир газетных полос, он необходим тебе, потому что это как утверждение на земле вот этого утра, людей, которые и рядом и совсем далеко, наконец, самого себя во всем этом мире...

Кружит неспешно тихий снег,
Как и в любом другом столетье.
Но на дворе двадцатый век,
И знать желает человек,
Что происходит в целом свете.

И не смыкает сонных век
Наборщик в бане типографской,
И время ускоряет бег,
И город ждет, и пахнет снег
Тревожащей печатной краской.

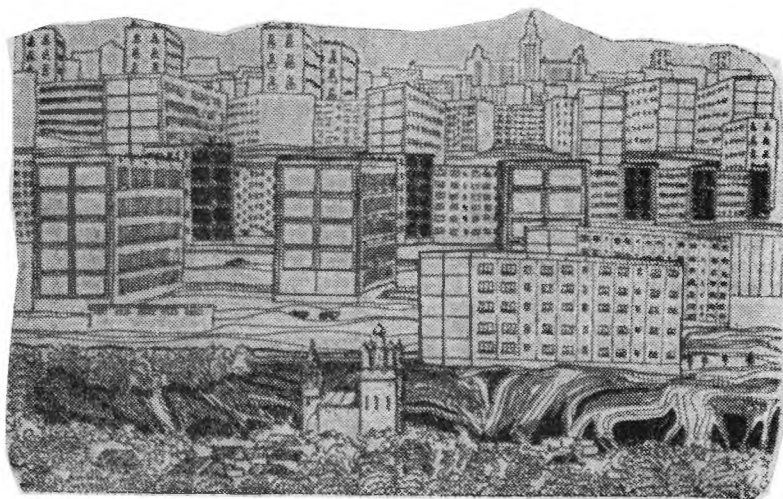


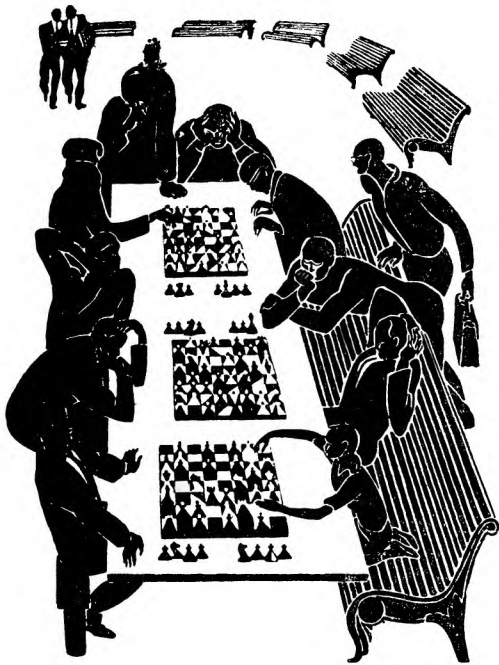


будто Москва опустела ненадолго. Еще не начали свои деловые путешествия по гастрономам и булочным домашние хозяйки, еще не видно на бульварах беспокойных бабушек с детскими колясками, — но на заводах, фабриках, в институтах уже гудят станки, шелестят новые и новые метры тканей, щелкают вычислительные устройства. Это — как второе пробуждение города. Он пробуждается теперь для самых что ни на есть житейских дел и забот, для мирного мира. И этот мир — тоже для тех, кто сейчас выступает на планерках, сдает

в серийное производство новую сложную деталь, напряженно сосредоточился в бешено мчащейся «скорой помощи...»

Идет, идет время. И вот уж «полдень, суматохой пропахший, звон трамваев и людской водоворот». Теперь — все. Теперь ритм обретен повсюду. Четкий, частый ритм дела. И ты почувствуешь его в такой — и в самом деле суматошной, но веселой и хорошей — людской сутолоке на Кузнецком, в магазинах Петровки и Столешникова, где приезжие с авоськами покупают что-нибудь «чисто кровно» московское, на широченных





площадях и в движениях регулировщика-милиционера, что стоит на невысокой внушительной тумбе, даже на бульварах, где серьезные пенсионеры, которым и зима не страшна, играют в шахматы. Город живет, широко и раскованно...

Но вот уже нет шумного Кузнецкого моста, бесчисленных машин на проспекте Маркса, окончился асфальт подземных переходов...

Красная площадь. Тысячи, тысячи всё идут и идут сюда, к этому вечному месту на земле...

Шумит народ в преддверье ГУМа,
Но вдруг я в сторону шагну —
И в тишину вступлю из шума,
Как в заповедную страну.

Ступать приятно по брусчатке.
На Красной площади — покой...
Коснусь рукой кирпичной кладки,
Исполнюсь тяжести земной.

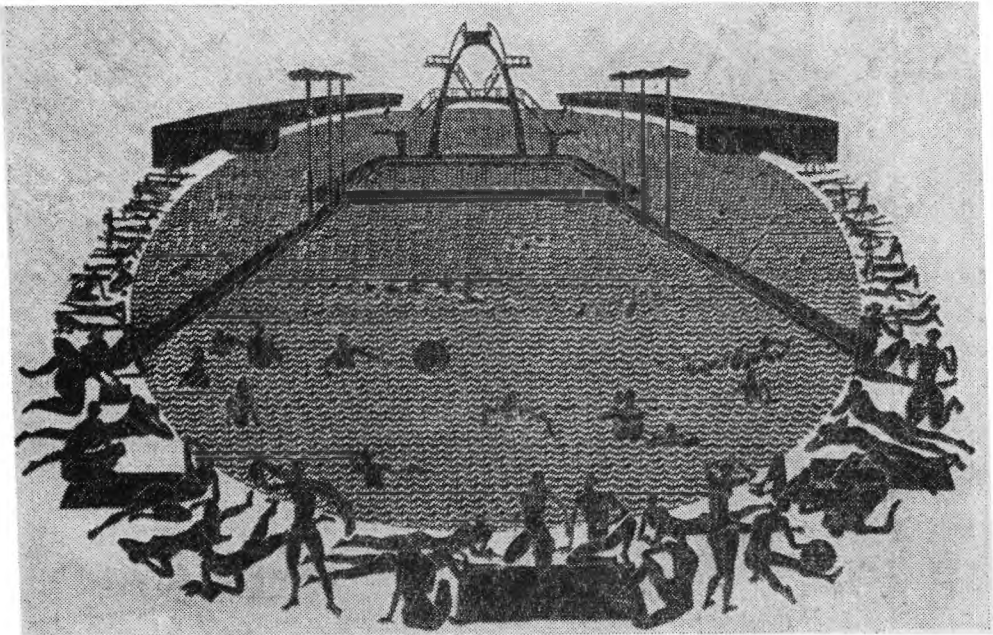
А за стеной, как вечность, вечной,
Над склоном теплит купола
Собор, похожий на подсвечник,
Забывший на краю стола.

Москва! Прости меня, разницу!
Остановлюсь и обомру —
Тытячетелною Россию
Единым взором обойму.

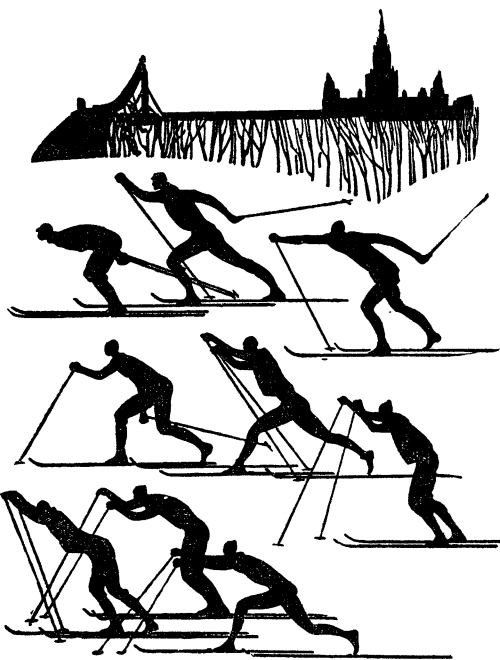
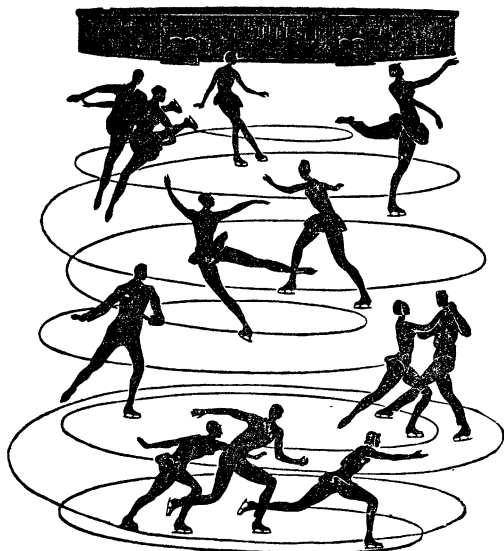
...Двигается часовая стрелка. И снова шум улиц. Сегодня работа окончена. Ты вышел в этот шум из проходной. Ты остановился на минуту и слушаешь его. Ну да, что-то новое появилось в нем, то, чего не было утром, — приглушенность какая-то, наверное, от усталости это. А может, так только кажется, оттого, что уже сумерки, и густыми расплывчатыми пятнами горят лампы дневного света, и снег уже не поскрипывает под ногами — размесили его люди, да и некогда вроде прислушиваться к этому скрипу...

Но — нет! Это и в самом деле лишь кажется. Только не надо спешить. Надо подождать немножко, когда пройдет это минутное оцепенение: ведь оно же так естественно, ты же только что окончил дело, но расстаться с ним еще не успел... Вот ты уже смотришь на часы. Ты вошел в этот шум. Москва. Вечер...

Светятся окна гостиницы «Юность», грохочут поезда метро, заканчиваются вторые акты театральные спектаклей. А здесь — здесь «музыка и лед... и свист



холодной стали». И высокие чистые голоса. И все сразу. Все вместе. Но — слышен каждый голос, потому что он сильный и молодой и потому что воздух здесь, на катке, тоже сильный и легкий, упругий и ласковый, и ты в этом воздухе, и он врывается в тебя, очищая нежно и требовательно. Так и на катке, и в плавательном бассейне, открытом всем ветрам, в этом вроде бы совсем «не зимнем», но никогда не пустующем месте. Голова ясная, руки сильные... «О, были б помыслы чисты, а остальное все приложится...»



И ты знаешь, что это так, что они чисты, твои помыслы, знаешь и о себе, и о друзьях своих, и от этого еще радостней и уверенней. И таким ты и возвращаешься домой. Не нужны троллейбусы. Не нужно метро. Ты приветственно машешь рукой лыжникам на Ленинских горах, улыбаешься девушкам в кафе на Комсомольском... Твой город. Твои улицы. Они засыпают.

Настоящим, рабочим был день. По-настоящему, по-рабочему прожили его люди...
Ночь...

МОСКВА СТО ЛЕТ НАЗАД

Черта города



Городской чертой Москвы сто лет тому назад был Камер-коллежский вал, то есть замкнутая линия улиц, до сих пор содержащих в своих названиях слово «вал» — Преображенский, Бутырский, Серпуховской и другие. Все, что находилось за валами и заставами, было уже не Москвой, а пригородами, на которые власть городской думы не распространялась. Территория Москвы 1865 года составляла 7 400

гектаров — в двенадцать с лишним раз меньше площади современной Москвы. Населяло Москву около 400 тысяч человек, в шестнадцать раз меньше, чем сегодня. По числу жителей это соответствовало, примерно, современному Ярославлю или Караганде.

После отмены крепостного права Москва усиленно заселялась крестьянами, оставшимися без земельного надела. Росло число промышленных предприятий, рос и пролетариат. Промышленность, в основном текстильная, была еще мануфактурной, использовался ручной труд. Уже тогда в Москве было 750 крупных и мелких заводов и фабрик.

«Указатель города Москвы» того времени свидетельствует: «Наибольшее население Москвы составляют временнообязанные крестьяне, занимающиеся работами на фабриках, заводах, а также извозом, разносом предметов пищи, плодов и пр. и в должностях кучеров, дворников и т. п.». Население росло за счет притока извне. Антисанитария и плохое поставленное здравоохранение вели к тому, что смертность в городе намного превышала рождаемость. Так, в 1865 году на двадцать с половиной тысяч умерших приходилось тринадцать тысяч новорожденных.

Городской транспорт



Городской рейсовый транспорт в 1865 году был представлен только «линейкой» — широкой доской, поставленной на колеса и впряженной в тройку лошадей. Пассажиры сидели по обе стороны ее спиной друг к другу, трясясь и подпрыгивая на неровностях мостовой.

Известный откупщик миллионер Кокорев просил у городской думы субсидию для устройства тринадцати линий конной железной до-

роги протяженностью в 56 верст. Он обещал через пятьдесят лет эксплуатации передать эту конку в собственность города. Предложение горячо обсуждалось; большинство гласных думы высказалось против, ссылаясь на то, что введение ее приведет «к упадку извозничьего промысла, а это, в свою очередь, приведет в упадок торговлю на постоянных дворах и в трактирах, поддерживаемых этим промыслом». Противники конки указывали также на узость московских улиц.

Конка все же появилась в Москве — в 1872 году и прослужила городу до 1912 года, когда окончатель-

но была вытеснена электрическим трамваем.

«Извозчичий промысел» был широко распространен в тогдашней Москве, однако памятных москвичам извозчичьих пролеток тогда не существовало. Их заменял «калибер» — «неуклюжий беспокойный экипаж, после поездки на котором кости суток трое болят». В оперетте Оффенбаха «Орфей в аду», впервые поставленной в Москве в конце 1865 года и переименованной на русский лад, один из героев пел о том, как он «в Москве не раз бывал, но там ужаснейший калибер чуть-чуть мне шею не сломал...»

Как застраивался город



Сто лет назад всю Москву можно было разглядеть даже с крыши четырехэтажного дома. Они тогда насчитывались единицами и на фоне одно- и двухэтажной застройки выглядели чуть ли не небоскребами. Москва была в ту пору не только гораздо меньше, но и как бы намного ниже ростом. Силуэт малоэтажного города обогащали церковные колокольни — в Москве было 237 церквей. Фабричные трубы виднелись только на окраинах.

Строилось ли что-нибудь в Москве 1865 года? «Строительная горячка», вызвавшая резкий рост стоимости земельных участков, спекуляция и злоупотребления, вспыхнула несколько позднее, когда московский капитал набрал уже больше сил. Но и в 1865 году можно было увидеть леса; строились при этом уже не дворяне, а

купцы и фабриканты. Менялся облик деловой части города, московского «сити» — Китай-города. На месте ветхих рядов и подвожий возникали модернизированные конторские помещения и торговые дома. Архитектура их отличалась крайней безвкусицей. Русский капитал, придя к власти, так и не выработал, как известно, своего стиля. Но если на рубеже XIX и XX веков московские зодчие все же блеснули отдельными интересными сооружениями, то 1860-е годы не отмечены буквально ничем выдающимся. Не случайно в трудах по истории московской архитектуры это десятилетие обычно даже не упоминается.

Назовем несколько зданий, возведенных в то время. На Софийской набережной (ныне набережная Тореза) воздвигалась по проекту архитектора Козловского колокольня церкви Софии — весьма претенциозное, но совершенно эклектическое сооружение.

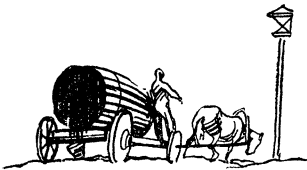
Близ Солянки архитектор Быковский перестраивал в псевдовизантийском стиле Ивановский монастырь — стены, башни и здания его стоят до сих пор. На Ильинке (ныне ул. Куй-

бышева, 3) архитектор Никитин построил «Теплые ряды». Сейчас здесь помещается Метрострой, и фасад сохраняет дату «1865». На улице Разина современник может увидеть громоздкий дом № 5, построенный в 1865 году архитектором Каминским для купца Баранова. Неподалеку (ул. Разина, 12) ровно сто лет тому назад купец Спиридонов построил для себя богатый дом, ныне занимаемый Библиотекой иностранной литературы (архитектор Зыков). Тот же Зыков построил в 1865 году известный всем москвичам дом на углу Трубной площади и Неглинной, где аптека. Одновременно на Большой Никитской вырос двухэтажный особняк Позднякова, безвкусно украшенный лепниной и кариатидами (улица Герцена, 51, рядом с Домом литераторов).

Пожалуй, единственным интересным произведением московской архитектуры 1865 года можно считать главное здание Петровской (ныне Тимирязевской) академии (архитектор Н. Бунуа).

О том, что застройка Москвы происходила без всякого плана, говорить не приходится.

Водоснабжение и канализация



Воды в Москве в 1865 году не хватало. Мытищинский водопровод, построенный еще при Екатерине Второй, не мог обеспечить население чистой питьевой водой. Водоразборы, подобные фонтану на Театральной площади, стояли на нескольких московских площадях, в других местах были доща-

тые водоразборные будки. Только некоторые, самые богатые дома были присоединены к водопроводу.

Недостаток мытищинской воды заставлял население пользоваться мутной водой прямо из Москвы-реки.

Инженер Бабин выступил инициатором использования артезианских колодезцев, но эта идея, требовавшая значительных средств без гарантии успеха, не получила поддержки.

Воду из городских водоразборов водовозы переливали в свои бочки дырявыми черпаками или через жестяные трубы; много дра-

гоценной влаги переливалось прямо на мостовую. Краны на ночь забывали закрывать, и вода утекала. Это служило постоянной темой газетных заметок 1865 года.

Канализации в Москве не было до самого конца XIX века. Нечистоты из выгребных ям вывозились ассенизаторами на загородные поля.

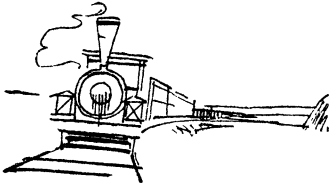
Встреча с подобной зловонной бочкой, иногда расплескивавшей свое содержимое, не сулила радости ни зрению, ни обонянию. Правда, разъезжать ассенизаторам разрешалось только ночью...

Гостиниц в Москве того времени было несколько десятков, но в основном это были устроенные на бойких местах «мебляшки» в 20—30 номеров. Самой крупной была гостиница Чельшева,

стоявшая на месте современного «Метрополя»,— 182 номера. Любопытно, что три московские гостиницы того времени, разумеется, в измененном и улучшенном виде, служат и теперь.

Это «Армения» на Неглинной (в тот год — Кузнецова, а позднее «Европа»), «Урал» на Пушкинской (тогда — «Гризель») и «Балчуг» (в 1865 году — «Серпуховское подворье»).

Пути-дороги



В 1865 году Москва была связана «чугункой» с Петербургом, Нижним и Рязанью. Была доведена до Сергиева Посада (Загорска) и строилась далее Ярославская линия, началось строительство дороги Москва — Орел.

Железнодорожное строительство привлекало огромные капиталы. Меж акционерами шли распри. Землевладельцы, торговцы, промышленники были заинтересованы, чтобы новые линии прошли рядом с их владениями и предприятиями — только это давало возможность опередить конкурентов, обогатиться, удержаться на поверхности. Бурно обсуждались проекты железной дороги между

Москвой и Одессой. Киевляне настаивали на том, чтобы дорога шла через Киев, а харьковчане хотели, чтобы она проходила через их город.

Железные дороги стали все больше перевозить хлеб и пеньку, лес и строительный камень. «Чугунку» любило и население.

Нашему современнику трудно представить себе, какие неудобства испытывал в 1865 году путешественник. Поезда систематически опаздывали, аварии и поломки то и дело удлинляли путешествие, особенно зимой. «То в локомотиве недоставало силы, то ломалось колесо, то колесо и ось вместе» («Московские ведомости», 27. I. 1865). Нередко вагоны сходили с рельс. «Эпидемия ломки колес и осей» была неизменным предметом насмешек юмористического журнала «Будильник».

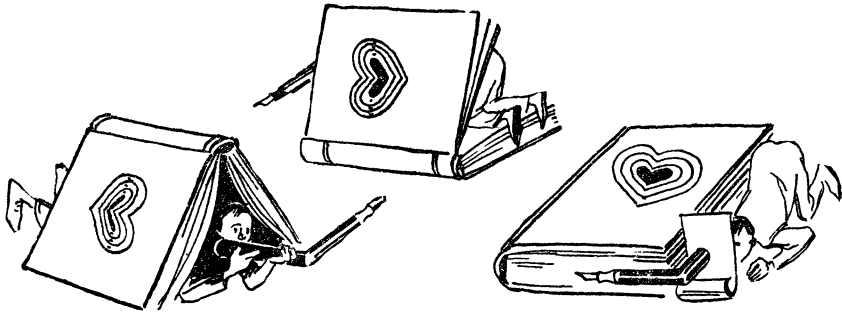
Вагоны были маленькие, тряские, едва освещенные сальными свечами. Зимой они отапливались железными печурками. Французский

писатель Александр Дюма, посетивший Россию в 1858 году, писал: «Русские железные дороги плохо организованы, но в одном отношении решительно превосходят наши: они снабжены ватерклозетами».

Ехать и ночью приходилось сидя: первые шесть вагонов со спальными местами на линии Москва — Нижний были пущены в эксплуатацию лишь осенью 1865 года.

Но еще хуже приходилось пассажирам дилижансов, ходивших между пунктами, не связанными железными дорогами. Почтовые дилижансы отправлялись с Мясницкой (улица Кирова), от дома № 21. Неслучайно счет километров по шоссе, исходящих от Москвы, ведется до сих пор не от центра, а от Кировских ворот. Можно было купить место внутри кареты, были и более дешевые места — снаружи, не особенно приятные в холод и непогоду. Езда в дилижансах даже современнику представлялась «мучительной пыткой».

Творческая полемика



В книжных магазинах появилась новая книга Альбина Поктшняка. Долгое время вокруг нее царил понятная тишина, пока однажды в одном Ежедельнике не появилась рецензия. Критик А. написал о Поктшняке довольно тепло: «...Роман «В середине сердца» — это позиция автора, заслуживающая внимание читателей. Весомая тема, вполне правильная стиль...»

Критик В. лечился дома после затяжного гриппа. Как раз в тот момент, когда он с решимостью глотал витамины, послышался голос жены:

— В сегодняшнем Ежедельнике напечатана рецензия этого идиота А.

— Вот уж действительно приходит конец света! — крикнул В. — О ком эта рецензия?

— Он хвалит Поктшняка за роман «В середине сердца».

— Поктшняк? Я ничего о нем не слышал, но это, должно быть, колоссальная графомания, если хвалит этот болван...

Спустя три недели в Ежемесячнике была напечатана рецензия на книгу «В середине сердца». Автором рецензии являлся В. Между прочим он писал: «Я понимаю отеческое отношение коллеги А. ко всем посредственным писательским попыткам нашего молодого поколения. Когда коллега А. был молодым человеком, он сам пробовал свои силы в прозе. Ничего из этого не вышло, но чувствительность к графоманам осталась...»

Рецензия В. не понравилась критику С. По правде сказать, он не читал романа Поктшняка, но он даже представить себе не мог, чтобы коллега В., который перед войной посещал костел, теперь имеет право на беспощадную критику молодежи.

Еще через четыре недели в Двухнедельнике появилась рецензия критика С.: «...Плохи, значит, у нас дела, если глубоко религиозные люди берут слово по вопросам воспитания молодого творческого поколения».

Рецензию С. прочитал коллега Д., питавший к коллеге С. особую и вполне уважительную неприязнь. В 1949 году С. был редактором издательства и позволил себе оценить повесть Д. как бред.

Поэтому теперь критик Д. применил то же самое слово «бред!» и поместил свою рецензию в Ежеквартальнике.

Потом были напечатаны рецензии, в которых критик Е. напоминал о довоенных грехах коллеги Д., а критик Ф. всенародно объявил, что коллега Е. руководствуется принципом «и богу свеча и черту огарок».

Но вот в газете как-то появилось письмо отчаявшегося Поктшняка. «Я внимательно прочитал все рецензии и все еще жду окончательного суждения, хороший ли роман «В середине сердца», или он плохой?»

— Это уже наглость! — в один голос воскликнули вышеупомянутые и еще некоторые другие критики. — Мы его защищали, мы даже сами нападали, а он еще требует, чтобы мы прочитали его книгу.

Перевел с польского П. Бугорков

Басни с прописными моральями

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Когда-то улитки рождались без домиков. Домики строились отдельно и распределялись по справедливости. Но одна улитка оказалась чересчур уж медлительной. Ползла она, ползла по инстанциям, глядь, а в домике уже сидит... пивка.

— Пролезло-таки жулье!.. Нашлоходы-выходы!..

Стали улитки возмущаться: как от него избавиться, от жулья?!

Призадумались, поднаружились и начали рождаться вместе с домиками. Вот тут уж жулью не пролезть.



Конечно, это крайняя мера, но зато у улиток теперь решены сразу две проблемы: проблема жилья и проблема жулья.

ВОПРОКИ ЗАКОНУ ПРИРОДЫ

Собрали зайцы совещание и вынесли решение: упразднить должность волка. Упразднили. Но надо же его трудоустроить. Назначили лисой... И больше никогда не собирали совещаний.

Мораль: ничего в природе не исчезает бесследно, кроме зайцев.



НА ЧЕЙ ВКУС...

— Ух, и вредная была у меня зайчиха! — сказал заяц.

— А по-моему, ничего, — возразил волк, — нежна и приятна...

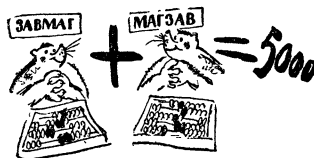
О вкусах не спорят.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

У хомяка обнаружили недостачу в пять тысяч рублей. Предложили сложить полномочия, перебросили на другое место.

Там снова недостача — и снова на сумму пять тысяч рублей.

Простая арифметика: от перемены мест слагаемых сумма не изменяется.



◆ ◆ ◆

Чайник

Кипел,
вздыхался,
фыркал Чайник,
Как расходившийся начальник.
А сняли,
смотришь: то-то, брат,
Уж и за ручку можно брать.



Перестраховщик

Расчетливый знакомый мой
Завету следует такому:
Семь раз отмерь,

один — восьмой —
Не трись,
отрезать дай другому.

Д. Демин. г. Воронеж

Весь в прошлом

Окурок старой козырял
анкетой:
— И я был тоже
сигаретой!

О вкусах

Сказала Цапля Журавлю:
— Я длинноногих
не люблю!

Писатели-приятели

Они друг друга
почитали,
Хотя друг друга
не читали.
В. Нырко.
Магаданская область

...И не оспоривай глупца

(Изречения, пословицы, поговорки)

Дуракам закон не писан;
если писан, то не читан; если
читан, то не понят; если понят,
то не так.

(Русская шуточная песня)

Будь ты поумнее, я бы ска-
зал, что ты дурак.

(Русская поговорка)

В умники попал, а из дура-
ков не вышел.

(Русская поговорка)

Лучше быть одному, чем с
дураком.

(Французская пословица)

Дружба глупца утомительна.

(Арабская пословица)

Молчание — лучший ответ,
который ты можешь дать ду-
раку.

(Арабская пословица)

Прежде чем умный свое
дело обдумает, дурак свое уже
кончит.

(Армянская пословица)

Глупость — дар божий, но
не следует злоупотреблять этим
даром.

(О. Бисмарк)

Обидно, что ум человеческий
имеет свои пределы, тогда как
глупость — беспредельна.

(А. Дюма-сын)

Одно из величайших бедст-
вий цивилизации — ученый ду-
рак.

(К. Чапек)

Не унизишь оскорблением
мудреца, не возвысишь восхва-
лением глупца.

(Индийская мудрость)

Как только дурак похвалит
нас, он уже не кажется нам
таким глупым.

(Ф. Ларошфуко)

Встретив дурака, сделай вид,
что ты занят.

(Испанская пословица)

Когда два осла учат друг
друга, ни один из них не ста-
новится доктором.

(Немецкая пословица)

Если умело обращаться, то
и дурак и тупые ножницы могут
пригодиться.

(Японская пословица)

Собрал **А. Фюрстенберг**

Технический редактор Г. Ю. ДУБМАН. Корректоры Н. А. АКимова, М. В. Аксенова

Подписано к печати 24/XII 1964 г. А 10425. Тираж 156 800 экз. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆.
Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 21,606 + 4 вкл. = 22,477 уч.-изд. л. Заказ № 2644. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата, Москва, Краснопролетарская, 16.

50 коп.

И н д е к с
73 253.